

В.Э.Вацуро М.И.Гиллельсон



Сквозь "умственные плотины"



В.Э.Вацуро М.И.Гиллельсон



Сквозь "умственные плотины"



*Очерки о книгах и прессе
пушкинской поры*

*Москва
«Книга»
1986*

Главы «Подвиг честного человека», «Между Сциллой и Харибдой», «Вокруг «Современника» (за исключением подглавки «Хроника русского») и подглавка «Чиновник следственной комиссии» в главе «Люди без имени» написаны В. Э. Вацура.

Главы «Судьба «Европейца», «Рука всевышнего отечество спасла», «Славная смерть «Телескопа», «Не родившиеся на свет» и подглавки «Хроника русского» в главе «Вокруг «Современника» и «Под небом гранитным и в каторжных норах» в главе «Люди без имени» написаны М. И. Гиллельсоном.

Издание второе, дополненное



Вместо предисловия



Перед нами комплект «Литературной газеты», изданной поэтом Дельвигом при ближайшем участии Пушкина и Вяземского.

Если перелистать его лист за листом, читать и вчитываться, можно поймать издателей на странных небрежностях и несоответствиях.

В № 8 от 5 февраля 1830 года помещено начало статьи «О московских журналах», а продолжения ее так и не было: в следующем номере редакция почему-то поспешила предложить подписчикам статью из серии «О системе Жакото»; стихи, известные каждому с детства — как, например, пушкинский «Арион» — не подписаны; в пушкинском же послании к Языкову со словом «счастье» неожиданно рифмуется слово «непогода».

Мало этого — начиная с № 65 за 1830 год газета систематически опаздывала на три недели, а потом на месяц.

На первый взгляд кажется, что среди литераторов пушкинской поры свирепствовала эпидемия недоделок, недосмотров, неувязок... Но это только на первый взгляд. На самом деле книги и журналы того времени несут на себе следы чужой воли. Незримая рука вычеркнула слово «самовластье» из пушкинского стихотворения, и Пушкин поставил «непогода», дабы читатель почувствовал,

*

что на этом месте было другое слово, рифмующееся со «счастьем». Та же рука выбросила из газеты вторую часть статьи «О московских журналах», вместо которой и вставлена статья «О системе Жакото». И она же задерживала номера газеты. Она стирала имена, или авторы сами поступались своим именем, чтобы спасти произведение.

Безжалостно уродовали царские чиновники лучшие произведения русской литературы. Все передовое и революционное встречало бесчисленные придирки. Понадобилась многолетняя кропотливая работа советских историков литературы, чтобы очистить тексты классических произведений от искажений; многое могло быть напечатано лишь после победы Великой Октябрьской революции.

Время после 14 декабря 1825 года, которому посвящена наша книга, было трудным для литературы. Русская общественная мысль набирала силы для грядущей схватки с царизмом. Исполдволь ширился фронт антикрепостнической оппозиции. Правительство спешило воздвигать «умственные плотины»: так называл министр народного просвещения Уваров всевозможные инструкции и указания, направленные против отечественного просвещения, книгопечатания, литературы.

Русская классическая литература и общественная мысль XIX столетия — колоссальное богатство, унаследованное нашим временем, богатство идейное, художественное, нравственное. Но пользоваться им можно по-разному.

Мы можем читать произведения Пушкина, декабристов, Белинского, не представляя себе в полной мере, как они создавались и как издавались, мы можем отвлечься от условий творчества их авторов и борьбы, которую им приходилось вести. Тогда русская литература XIX века предстанет перед нами более бесстрашной, чем она была на самом деле. Многие в ней останутся для нас непонятным или понятным не до конца.

Но мы можем представить себе условия феодальнокрепостнической России, при которых книгоиздательская деятельность постоянно наталкивалась на всевозможные препятствия, на многочисленные проявления жестокого самодержавного гнета. Хрестоматийно знакомые вещи будут прочитаны заново с большей глубиной, за ними встанет породившая их живая действительность;

мы будем захвачены заключенной в них энергией борьбы за социальную справедливость, за раскрепощение страны от царского самодержавия. Но чтоб так прочесть литературу, надо знать историю.

Судьба некоторых книг бывает интереснее их самих. Но книги скрытны, они исповедуются неохотно. Чтобы заставить их говорить, нужны улики; их-то мы и будем искать.

У американского писателя Натаниэля Готорна есть рассказ о деревенском мальчике Дэвиде Суоне, уснувшем в полдень в тени деревьев. Три раза, пока он спал, над ним проходила его судьба, не оставив никаких следов. Так бывает и с книгами. Кто знает, какое сплетение человеческих судеб, какая борьба воль потребовались, чтобы книга лежала теперь перед нами — именно такая, а не иная.

Мы расскажем о судьбе некоторых книг, журналов, статей, попытаемся разгадать их потаенную историю. За каждой из них стоят человеческие судьбы, и нам неизбежно придется больше всего говорить о них.

Пусть читатель не ищет здесь полного и связного повествования: это рассказы об «умственных плотинах», которые русское самодержавие ставило на пути просвещения, и о том, что из этого получалось.

На страницах нашей книги пройдут великие и малые деятели книжного дела — от Пушкина до безвестных издателей газет и журналов, мелькнут тени изданий, канувших в Лету еще до своего рождения.

Это сказалось на композиции нашей книги, на ее жанровой «полифонии». Каждый сюжет подсказывал свое композиционное и стилистическое решение; в повествование, построенное по типу документальной хроники, вклиниваются главы с острой сюжетной линией.

И, наконец, еще об одной особенности нашей книги: добрая половина ее посвящена Пушкину. Говоря по правде, мы не стремились к этому, так получилось само собой: Пушкин был центральной фигурой литературного движения того времени, и стоит ли удивляться, что его отношениям с царской администрацией отведены целые главы.

Первое издание этой книги вышло в 1972 году. За десять с лишним лет, прошедших с тех пор, затронутые в ней вопросы неоднократно привлекали к себе внима-

ние; обнаружались и новые фактические данные. Для настоящего издания текст был пересмотрен, дополнен и уточнен, заново написаны некоторые главы и части глав в разделах «Подвиг честного человека», «Между Сциллой и Харибдой», «Вокруг „Современника“»; потребовалась и новая глава о цензурной истории «Телескопа». В примечаниях учтена литература, появившаяся после 1972 года; с другой стороны, из них исключены французские оригиналы текстов, цитируемые в книге в русском переводе.



Люди без имени



В послании к декабристам в Сибирь Пушкин писал: «И братья меч вам отдадут». Перед взором Пушкина возникал обряд гражданской казни, когда преломлением шпаги над головой участников выступления на Сенатской площади лишили прав и состояний, лишили дворянского звания. Поэт мечтал о тех днях, когда восторжествует свобода и каторжникам будет возвращено их человеческое достоинство, их словесные права. Представители независимого старинного дворянства, они должны были, по мысли Пушкина, составить костяк той реальной силы, которая обузда бы деспотию и повела бы страну по пути прогресса и просвещения.

Однако поэтические формулировки не однозначны: они, как правило (конечно, если иметь в виду истинную поэзию, а не ее суррогаты и подделки), несут в себе различные смысловые ассоциации. Пророчество Пушкина «И братья меч вам отдадут» было емкой формулой, которая подразумевала возвращение «друзьям, братьям, товарищам» всего многообразия гражданских прав. Не последним в этом ряду было и право быть писателем. Да, не только меч, но и перо надо было вернуть подвижникам 14 декабря.)

Вспомним, что среди декабристов была целая плеяда литераторов: Александр Одоевский и Вильгельм Кюхельбекер, братья Бестужевы, историки Н. М. Муравьев, А. О. Корнилович, И. Г. Бурцев, автор записок об Отечественной войне 1812 года В. С. Норов, очеркисты П. А. Муханов, Н. А. Чижов и многие другие. Всем им был отныне закрыт путь в литературу. С этим нельзя было мириться.

Начинается глухая многолетняя борьба, потаенный поединок за право декабристов участвовать в умственной жизни страны.

На стороне правительства — огромный аппарат тюремной администрации и жандармерии, разветвленная система цензуры.

На стороне каторжников — неистребимая жажда творчества и друзья.

Пушкин и Вяземский, Дельвиг и Сомов, издатель «Московского телеграфа» Полевой, чиновник следственной комиссии Ивановский, редактор «Библиотеки для чтения» Сенковский и даже издатели «Северной пчелы» Булгарин и Греч — все они, в разной мере, по разным мотивам, помогали проталкивать в печать произведения присланные из «каторжных нор».

Что же побуждало писателей и литераторов, враждовавших между собой, быть едиными в помощи декабристам?

На Сенатской площади верноподданные Российской империи превратились в граждан России. Несмотря на поражение, декабристы одержали нравственную победу над царизмом. И никакая официальная ложь не в силах была вытравить из сознания людей эту истину. Именно поэтому Николай I до конца своих дней смертельно боялся закованных в кандалы мятежников; именно поэтому наиболее проникательные современники писали, что на помощь бунтовщикам спешит целое поколение. Конечно, подобные утверждения не могли попасть на страницы печати: они были уделом частных писем, посылаемых с оказией, и записных книжек. Однако именно эти крамольные мысли, сконцентрировавшие в своей категоричности то, что носилось в воздухе, что беспокоило шевелилось в умах и душах людей, свидетельствовали о моральной победе декабристов над самодержавием.

Наиболее чутко воспринимали эти новые веяния писатели и журналисты. Общественное мнение страны (ко-

нечно, речь идет не о великосветских гостинях!) сочувствовало осужденным и незримо предписывало свою волю журналистам. Вот поэтому-то они — вне зависимости от общественной позиции и литературной ориентации — способствовали возвращению декабристов в литературу. А возвращение это было нелегким, тернистым.

Без имени, анонимно, порой с чужими инициалами или с псевдонимной подписью прорывались произведения «государственных преступников» в столичные журналы и отдельные издания.

О нескольких «раундах», выигранных декабристами и их друзьями в этом неравном единоборстве, мы сейчас расскажем.



Чиновник следственной комиссии

В конце 1825 года по высочайшему повелению чиновник канцелярии военного министра, титулярный советник Андрей Андреевич Ивановский назначается делопроизводителем в следственную комиссию о злоумышленниках 14 декабря.

Впереди была прочная бюрократическая карьера. Ивановский был человеком деловым, исполнительным и пунктуальным: он оказался вполне на месте. Военный министр, отлучаясь из Петербурга с правителем дел комиссии, поручает Ивановскому попечение над ней¹. В это время он уже надворный советник и кавалер. Труды его признаны «отличными», и он получает пожизненную пенсию в две тысячи рублей. Он выполняет самые разнообразные поручения — от разговора с Пушкиным, которому он объясняет виды высшего начальства, по которым сочтена нежелательной поездка поэта в действующую армию², — и вплоть до секретных следствий по высочайшему повелению. Так продолжается до 1829 года, когда преуспевающий чиновник увольняется со службы в чине статского советника и предается полностью литературным занятиям.

Когда-то Ивановский был членом-корреспондентом Вольного общества любителей российской словесности, где познакомился с некоторыми из будущих декабристов. Но благонадежность его прошла испытания и снижала ему благоволение и даже нечто вроде дружбы все-сильного начальника III Отделения. Когда он покидал службу, Бенкендорф написал ему письмо с выражением своего крайнего сожаления. «Приятным долгом поставлю поблагодарить Вас, милостивый государь, — писал Бенкендорф, — за усердие и ревность, с коими Вы исполняли все возлагаемые на Вас поручения, и весьма сожалею, что слабое здоровье Ваше заставило Вас оставить службу и лишило меня столь отличного чиновника»³. Бенкендорф заключал свое письмо уверениями в своей готовности быть полезным Ивановскому и просил «и впредь» адресоваться к нему в случае надобности. Через два года он столь же официально, отношением за № 3309 поздравляет Ивановского с рождением ребенка и выражает согласие быть приемником новорожденного. «Желаю, чтоб оно послужило Вам новым свидетельством, что я помню Ваши прежние заслуги»⁴.

* * *

В 1827 году Ивановский решил издать альманах.

У него было достаточно связей, чтобы обеспечить будущую книжку произведениями самых известных литераторов того времени. Пушкин дал ему «Талисман». Он получил стихи и прозу от Вяземского, Козлова, Языкова, Подолинского, Сенковского, Булгарина; кое-что написал и сам. Федор Глинка прислал из Петрозаводска целый «запас». Альманах получался хороший.

Нужно было подобрать название. У Ивановского была мысль: назвать альманах «Зарюю какою-нибудь». Федор Глинка в письме предложил ему «Северную зарю», разумея под этим начало нового царствования⁵. Наконец Ивановский останавливается на названии «Северная звездочка». Глинка ждет известий о печатании, но Ивановский молчит. Наконец приходит его письмо от 23 января 1828 года, которое разъясняет причину молчания. Глинка был поражен и встревожен. «Странные похождения были со *статьей прозаической!*»⁶

«Странные похождения» были не только со статьей, но и со всем альманахом.

Записка Фона Фока Бенкендорфу

«Альманах на 1828 год *Северная звездочка* есть книжечка в 10 печатных листов, малого формата, содержащая в себе *повести, литературные статейки* и стихотворения, нигде поныне не напечатанные, разных *ныне существующих* в России авторов и поэтов. Издатель сего альманаха есть Андрей Андреевич Ивановский, чиновник 7-го класса, служащий в министерстве военном. Человек он отличной нравственности и преданный правительству. Название своему альманасу дал он случайно.

Рылеев и Бестужев издавали альманах *Полярная звезда* и предполагали издать прибавление в начале 1826 года под именем *Звездочка*, вот почему, вероятно, и обращено внимание на название *Северной звездочки*. Но в публике эти частности и местности литературные мало известны, и нет сомнения, что Ивановский не помышлял пользоваться сходством названий с каким-либо дерзким намерением. Впрочем, альманах сей еще не издан, и ничего нет легче, как переменить заглавие, без всякого шума и переписки, что произведет соблазн в публике. Одно слово на ушко Ивановскому и дело кончено — сие и будет сделано сегодня же»⁷.

Ивановскому «сказали на ушко», и он назвал альманах «Зарница». В последнюю минуту он изменил название еще раз, и книжка благополучно вышла в свет как «Альбом северных муз».

Это ничтожное происшествие, конечно, не сказалось на репутации Ивановского. Неприятности могли бы возникнуть в том случае, если бы руководителям III Отделения пришлось в голову предпринять специальные изыскания. Тогда они, вероятно, посмотрели бы другими глазами на альманах, а заодно обнаружили бы, что служебный формуляр обрисовывает лишь одну сторону деятельности их чиновника и что значительно больший интерес представляет для них его вторая биография.

Ивановский стал заниматься литературой в ранней юности и с 29 апреля 1818 года, как мы уже говорили, был членом-корреспондентом санктпетербургского Вольного общества любителей российской словесности⁸, где познакомился с Грибоедовым, Рылеевым, Бестужевым, Корниловичем; едва ли не ближе других он был знаком с председателем — Федором Глинкой, активным

участником ранних декабристских обществ. Все это, правда, не было подозрительным в глазах властей; участие в «ученой республике» в вину не ставилось; знакомства могли быть чисто литературные, а не вполне легальная деятельность Ивановского развернулась позже, когда он был уже секретарем следственной комиссии.

В феврале 1826 года из крепости Грозной в Петербург был доставлен на перекладных арестованный Грибоедов. Его держали в ордонансгаузе Главного штаба, пока шло следствие по его делу. Здесь его встретил Ивановский; секретарь комиссии был очень любезен и старался успокоить встревоженного арестанта; о невинности его Ивановский заявлял во всеуслышание⁹. Это было довольно смело, потому что дело Грибоедова не было кончено: ему предстояло провести под арестом еще три с половиной месяца. В начале марта, уже теряя терпение, Грибоедов просит Булгарина навеститься стороной, чего нужно ожидать, и Булгарин, замирая от страха, но побуждаемый желанием помочь другу, обращается за сведениями к Ивановскому. А сведения через него просачивались. «Бедный Искрицкий, его возьмут завтра», — сказал он как-то Булгарину. Искрицкий, родной племянник Булгарина, был замешан в заговоре. Впрочем, его скоро выпустили.

Однако за Ивановским был и более тяжкий грех, — и если бы он обнаружился, ему пришлось бы немедленно покинуть службу и в самом лучшем случае до конца жизни носить на себе печать подозрительного. Трудно представить себе, что могло ждать его в худшем случае.

Когда в полночь 14 декабря 1825 года флигель-адъютант Дурново доставлял Николаю I арестованного Рылеева, он увозил с собой как вещественное доказательство и часть его бумаг — те, которые Рылеев не успел спрятать или уничтожить. Во время суда рылеевские бумаги были приобщены к делу. Здесь с ними познакомился Ивановский.

Перед давним любителем литературы лежала целая сокровищница — часть архива издателей «Полярной звезды»: наброски поэмы «Наливайко», стихи, письма — вольнодумные и острые. Когда следствие было окончено, Ивановский выкрал эти бумаги. Он показывал их только ближайшим друзьям, например, А. П. Бочкову, такому же, как он, восторженному поклоннику литературы, печатавшему под псевдонимом Л. С. свои повести и

стихи. Бочков был страстным почитателем Бестужева, и в его переписке с Ивановским все время проходит мысль о необходимости сохранить наследие этого писателя, казалось бы, навсегда вырванного из литературной жизни. В письмах Бочков и Ивановский допускали иной раз и непозволительные вольности, соглашаясь с мнениями, высказанными в крамольных бумагах.

И Ивановский начинает «воскрешение». Он печатает в альманахе, конечно, без подписи, отрывок из стихотворной повести Бестужева «Андрей, князь Переяславский».

Мы не знаем точно, как этот отрывок попал ему в руки. Перед отправкой в Сибирь из финской крепости «Форт Слава» в октябре 1827 года Бестужев передал «знакомой даме» черновики двух глав своей повести. В Москве о ней знали; журнал «Московский вестник» писал в начале 1828 года: «Нам обещают скоро национальную поэму неизвестного автора «Андрей Переяславский». В ней много мест живописных, красот истинно поэтических»¹⁰. Ивановский был связан с группой литераторов, издававших «Московский вестник»; некоторые из них поместили свои произведения в его «Альбоме северных муз». Быть может, из Москвы он и получил поэму. В 1828 году первая ее глава вышла отдельным изданием, тоже анонимно¹¹, а через четыре года прежний сотрудник «Московского вестника» В. Андроссов глухо упомянет в письме к нему: «Угадали ли, кто это Марлинский, в „Телеграфе“? Верно, знаете автора „Андрея Переяславского“»¹². Нет сомнения, что Ивановский понял этот намек.

Издание поэмы Бестужева было не вполне безопасно для издателя; но намного опаснее было помещать в альманахе другое стихотворение — «На смерть Байрона». Оно принадлежало казненному Рылееву и находилось как раз среди тех бумаг, которые Ивановский похитил из тайных архивов следственной комиссии.

Это был шаг уже совершенно героический, тем более что Ивановский послал в цензуру стихи без всяких переделок, с призывом к свободе и против рабства. Такие стихи неизбежно должны были привлечь к себе внимание.

И действительно, 13 декабря 1827 года цензор Сербинович представил их в Главный цензурный комитет «по причине одного намека на Россию и некоторых резких,

но не определительных выражений, в отношении к свободе и рабству».

«Намек на Россию» был в словах, посвященных Греции:

Как будто цепи вековые
Готовы вновь тягчить ее,
Как будто идут на нее
Султан и грозная Россия.

Строго говоря, «намек» был не намеком, а вызовом. Рылеев заканчивал так:

Друзья свободы и Эллады
Везде в слезах в укор судьбы;
Одни тираны и рабы
Его внезапной смерти рады.

Все это, конечно, было непозволительно. Комитет потребовал заменить «равным образом и еще некоторые выражения: *тиран* — говоря о султанах; *святой* — говоря о могиле Байрона и *свобода* в том неопределительном значении, которое дано сему слову в 5-й статье последнего куплета»¹³.

Ивановский не отказался от соблазна опубликовать стихи Рылеева. Он печатал их — с купюрами, но печатал, хотя, конечно, мог бы без них обойтись. Смелость чиновника следственной комиссии поистине была достойна удивления.

Неприятности надвигались, но это уже не останавливало Ивановского. Он переписывался с Федором Глинкой, который находился в Петрозаводске отнюдь не по своей воле. Свое первое письмо к Ивановскому, написанное перед ссылкой в Олонецкую губернию, Глинка кончил словами благодарности. За что? Какие услуги оказал ему Ивановский?

Глинка мог бы благодарить Ивановского еще и позже, когда этот чиновник пользовался случаем, чтобы замолвить за него словечко в высокопоставленных кругах, и потом, когда Ивановский печатал статьи и стихи «замешанного в деле 14 декабря»; это было не так просто, хотя Глинка формально и не был осужден.

Итак, Грибоедов, Федор Глинка, Рылеев, Бестужев. Это не все.

Среди декабристских историков-литераторов едва ли не самой заметной фигурой был Александр Осипович

Корнилович. Он был членом Южного общества и принимал непосредственное и, по-видимому, довольно активное участие в подготовке восстания; его лишили дворянства и приговорили к каторжным работам на 12 лет. Но судьба его сложилась иначе: проведя в крепости четыре с половиной года, побывав в Сибири, он в 1832 году был отправлен рядовым на Кавказ. Через два года он умирает там от лихорадки.

В 1831 году, когда Корнилович находился в крепости, Ивановский через третьих лиц передал ему, что собрал некоторую сумму за альманах и собирается передать эти деньги матери Корниловича. У Ивановского были повести Корниловича, и писатель решил, что Ивановскому удалось их напечатать. Нужно сказать, что Корнилович сумел добиться от Николая I разрешения «писать что хочет» и, сидя в крепости, работал над романом «Андрей Безыменный» и переводами из Ливия и Тацита. «Андрей Безыменный» был напечатан анонимно по личному ходатайству Бенкендорфа (шеф жандармов любил иногда выступить в роли покровителя литературы)¹⁴. Авторство Корниловича сохранялось в строжайшем секрете. Правительство тщательно следило, чтобы имена «государственных преступников» в печати не появлялись.

Уезжая на Кавказ, Корнилович пытался повидаться с Ивановским, но не успел и оставил ему ящик со своими книгами и рукописями. Он просил брата снести с Ивановским, взять у него деньги и обратиться к его содействию для издания написанных статей¹⁵. Однако М. О. Корнилович, приехав в Петербург, отыскать Ивановского не сумел.

Тогда Корнилович пишет Ивановскому сам; он посылает несколько писем — ответа нет. Корнилович уже не слишком рассчитывает на ответ: они не виделись семь лет; за это время многие разорвали связи с «государственным преступником», почитая связи эти для себя опасными; насколько же более опасны и беспокойны были они для облеченного доверием чиновника на секретной службе!

Но Ивановский молчал вовсе по другим причинам; по каким — об этом можно только гадать. В его личной жизни были перемены и потрясения; он успел за это время жениться и потерять жену, скончавшуюся от тяжелой болезни; может быть, это, а может быть, и отлучка из Петербурга помешали ему ответить своевременно.

Несомненно одно: Ивановский пытался издать сочинения Корниловича и натолкнулся при этом на серьезные трудности и даже неприятности. То, что можно было шефу жандармов Бенкендорфу, подававшему царю рапорт об «Андрее Безыменном», грозило беспокойствами и осложнениями чиновнику следственной комиссии.

* * *

Протоколы Главного цензурного комитета шаг за шагом раскрывают перед нами детали поистине примечательной истории.

11 ноября 1827.

«Г. цензор коллежский ассессор Сербинович внес на общее суждение Главного цензурного комитета повесть «Власть женщин», следующую к альманаху «Зарница», в коей описано покровительство Петра Великого сержанту Тиханову и его дочери, но по некоторым выражениям читатель может заключить, что государь принимал в сей девице участие более нежели отеческое и в то же время хотел устроить ее судьбу иначе, нежели как требовала того сердечная склонность ее.

Определено: Как еще в первый раз представляется сомнение в пропуске статьи сего рода, в коей действующее лицо — государь ныне царствующего в России дома — представлен с подобными страстями, и притом не приведены никакие доказательства, в подкрепление истины сего рассказа, то и представить о сем на разрешение г. министра народного просвещения, которое будет служить комитету руководством в подобных случаях».

На представлении — помета:

«Докладывано господину министру народного просвещения 18 ноября 1827. Его высокопревосходительство изволит находить неприличным печатание сей повести...»

18 ноября выписка была сообщена Сербиновичу; рукопись повести была отправлена в канцелярию министра; судьба ее ныне неизвестна.

13 декабря 1827.

«Г. цензор коллежский ассессор Сербинович представил на общее суждение Главного цензурного комитета повесть «Утро вечера мудренее», следующую к издаваемому г. Ивановским альманаху «Зарница». В пропуске сей повести г. Сербинович затрудняется потому, что

главный предмет ее есть намерение Петра Великого взять оклады с образов и церковные колокола, дабы иметь средства продолжить войну с Карлом XII после неудачи под Нарвою; от сего намерения отвращает Петра к[нязь] Ромодановский, отдав ему храненные до того времени в тайне сокровища родителя его, царя Алексея Михайловича. Автор объявляет в повести, что историческим основанием оной есть слышанное из уст Нартова, особы близкой к сему императору.

Определено: Как вышеписанная черта может подать повод к невыгодным заключениям читателей о Петре I-м, то не разрешая сомнений г. цензора на счет одобрения означенной повести к напечатанию, представить оную на благоусмотрение и разрешение его высокопревосходительства г. министра народного просвещения».

«Господин министр народного просвещения, находя совершенно основательными сомнения г-на цензора коллежского асессора Сербиновича и замечание Главного цензурного комитета, не приказал в сей повести пропускать к печатанию анекдота о приписываемом Петру Великому намерении взять оклады с образов и церковные колокола.

Декабря 19 дня 1827».

28 декабря 1827.

«Г. цензор коллежский асессор Сербинович представил Главному цензурному комитету, что г. Ивановский, сочинитель повести «Утро вечера мудренее», по объявлении ему резолюции г. министра относительно анекдота о намерении императора Петра Великого обобрать оклады с образов и колокола с церковью, представил вторично г. Сербиновичу помянутую рукопись с таковым против прежнего изменением, что в ней говорится уже только о намерении Петра Великого взять из церквей лишние колокола для переделания их в пушки; об окладах же образов умалчивается совершенно.

Определено: Как о вышеозначенном анекдоте было докладывано уже его высокопревосходительству г. министру народного просвещения и последовала уже по сему резолюция, то и о настоящей перемене означенной повести представить также на благоусмотрение и разрешение его высокопревосходительства г. министра».

10 января 1828 года министр дал разрешение печатать повесть «с сделанными г-ном цензором и сочините-

лем изменениями»¹⁶. Она вошла в «Альбом северных муз» за подписью «Старожилов».

21 февраля 1828 года Ивановский мог приступить к печатанию альманаха¹⁷.

Два месяца статьи альманаха, на котором уже оставалось неодобрительное внимание III Отделения, альманаха с сочинениями «государственных преступников», издаваемого чиновником следственной комиссии, — циркулировали от цензора в комитет, от комитета к министру и, может быть, даже выше, потому что дело касалось царствующего дома. Два месяца Ивановский ходил по острию ножа.

* * *

Часто бывает, что документы, разрешая одни загадки, создают новые.

Так произошло и на этот раз.

В альманахе есть две повести о времени Петра I. Это «Татьяна Болтова», подписанная «А. И.», и «Утро вечера мудренее», вышедшая за подписью «Старожилов». Третья повесть, без имени автора, «Власть женщин», как мы помним, была запрещена.

Существует мнение, что обе повести альманаха и есть те повести Корниловича, которые собирался печатать Ивановский¹⁸. Но «А. И.» — так подписывал свои статьи сам Ивановский; вторую же повесть он представлял в комитет как свое сочинение.

Таким образом, Корниловичу как будто принадлежит только одна — неизвестная нам — повесть «Власть женщин».

Но тогда откуда же явились «повести», о которых Корнилович говорит в своих письмах? Он повторяет это несколько раз и последний раз — в письме Ивановскому от 26 октября 1833 года.

«Много огорчают меня неприятности и хлопоты, — писал Корнилович, — понесенные Вами при издании моих повестей, особенно помыслию, что подвергались Вы им для меня. Как я узнаю в этом Вашу добрую, любящую душу! Впрочем, с того времени, как судьба на меня разгневалась, литература что-то не идет в прок: (.), за Безыменного выручил не более 200 рублей».

В этом письме Корниловича Ивановский сделал странные исправления: вычерки и приписки. Вместо

«огорчают меня неприятности и хлопоты, понесенные Вами при издании *моих повестей*» он написал «*Ваших статей*»; «подвергались Вы им *для меня*» исправил на «*для других*». Дальше густо вымарано несколько слов.

Напуганный Ивановский ожидал, что письмо вот-вот попадет в руки его коллегам по следственной комиссии.

Дело в том, что две другие повести — «Утро вечера мудренее» и «Татьяна Болтова», по-видимому, как и предполагали исследователи, принадлежали Корниловичу. Когда комитет потребовал существенных исправлений, даже переделки, возник вопрос об авторе, ибо только автор мог переделать свое сочинение. Тогда Ивановский назвал себя автором повести, чтобы спасти ее для печати, и сам внес требуемые поправки. Теперь ему пришлось играть роль до конца.

Действительно, странные похождения были со *статьей прозаической!*

И странные похождения были с самим альманахом, название которого вовсе не было случайностью.

Прямо пропагандировать строжайше запрещенный альманах «Звездочка» было бы намерением не только «дерзким», как писал Фон Фок, но и безнадежным и почти самоубийственным. Вряд ли Ивановский решился бы на это. Да и декабристом он вовсе не был, и революционные идеи издателей «Полярной звезды» оставались ему чуждыми. Но к своим старым друзьям — издателям знаменитого декабристского альманаха — он питал приязнь и литературной их деятельностью восхищался. Неудивительно, что «Полярная звезда» и «Звездочка» пришли ему в голову и соединились, быть может, подсознательно, когда он мучительно изобретал название для своей книжки. И уж наверняка не случайно он созвал в альманах тени ушедших своих друзей — погибшего Рылеева, заживо погребенных Бестужева и Корниловича — и с риском для себя проводил в печать их произведения.

Корнилович растроганно благодарил Ивановского, который сделал то, на что не многие бы решились.

«Я повторял было с Овидием, что люди — тень, не покидающая нас, пока сияет солнце, и исчезающая, едва оно заволочнется тучами. Обманутые надежды, долговременное несчастье и, наконец, горькая опытность охладили меня к людям: лица, от коих я имел право ожидать если не благодарности, по крайней мере участия,

чернили меня, уже убитого судьбою, для того лишь, чтобы не показать, что были некогда со мною в связи. Ваше письмо от 7 пр<ошедшего> месяца — я получил его вчерась только — согрело мне душу, пробудило во мне любовь к человечеству. Как не верить добру, имея друга, равно любящего тебя в счастье и непогоде! Спасибо Вам, тысячу раз спасибо за Ваш ответ, дорогой мой Андрей Андреевич! Сколько драгоценных воспоминаний оживил он в моей памяти!..

Спасибо Вам за то, что ссудили меня 50 рублями серебром; я догадываюсь, что они от Вас. Больно человеку с чувствами не низкими, чувствующему в себе и силу, и способность упрочить свою независимость, прибегать к помощи чужих, но положение мое таково, что я не стыжусь просить, особенно у Вас: Вы мне не чужой...

Прощайте, добрый, почтенный мой Андрей Андреевич! Берегите, бога ради, свое здоровье. Пишите ко мне чаще; как дороги мне Ваши письма в заточении! Не забывайте сиротеющего в изгнании. Благодарю Вас за предложение книг...

Ваш всею душою А. Корнилович.

Корнилович обращался к Ивановскому за содействием и в новых своих литературных планах, которым уже не суждено было осуществиться. В следующем году Корниловича не стало.

Ивановский больше ничего не издавал. Он печатал небольшие рассказы и статьи в «Северной пчеле» и «Библиотеке для чтения». В 1848 году на бельгийском курорте Спа он умирает.

После смерти Ивановского бумаги его достались саратовскому помещику А. А. Шахматову, а от дочери последнего они попали в руки известного историка литературы В. Е. Якушкина, который начал печатать их в «Вестнике Европы» и «Русской старине». По каким-то причинам Якушкин вынужден был оборвать публикацию. Автографы писем, не напечатанных Якушкиным, ушли из поля зрения исследователей.

По счастью, в архиве «Русской старины» остались копии писем, подготовленных Якушкиным к набору. Среди них мы находим и копии писем Корниловича к Ивановскому. Из них-то и становится известным, какие сердечные отношения сложились между ссылкой декабристом и чиновником следственной комиссии, причудливо совместившим со своей деятельностью сочувствие

и помощь русским литераторам, которых вешали, зато-
чали и ссылали его непосредственные начальники и по-
кровители.



*«Под небом гранитным
и в каторжных норах»*

Каторга в Чите была много легче, чем предварительное заключение в одиночных камерах Петропавловской крепости. Со временем уменьшилась тяжесть работ, и у декабристов образовался досуг для занятий. Вначале власти строго следили, чтобы заключенные ничего не писали; затем стали делать уступки, и в конце концов у каторжников появились бумага и карандаши. Жены декабристов вели оживленную переписку с родными и друзьями, и тюремному начальству приходилось просматривать сотни писем. В острог шли посылки с книгами и журналами.

Мария Волконская, оставившая на «большой земле» все, что было для нее когда-то привлекательным, и поселившаяся в маленькой сибирской деревушке на положении «жены государственного преступника», была в постоянной переписке с Москвою и Петербургом. К ней шли книги, посылаемые Екатериной Орловой, сестрой ее; в письме Софии Раевской, другой своей сестре, от 15 июня 1828 года она благодарит Екатерину за присылку «Северных цветов» и «Евгения Онегина». Она сообщает, что регулярно получает два русских журнала, и просит подписать ее еще на «Journal Encyclopédique» и «Quarterly Review»¹⁹. Однако посылки шли не только от родных: русскими журналами и книгами снабжала ее княгиня Вера Федоровна Вяземская, близкая приятельница Пушкина, жена Петра Андреевича Вяземского. 12 августа 1827 года Волконская пишет ей:

«Я с радостью узнала Ваш почерк, так же как и почерк нашего великого поэта на конверте, в котором Вы переслали мне книгу. Как я Вам благодарна за любез-

ное внимание с Вашей стороны. Какое удовольствие для меня перечитывать то, что восхищало Вас во времена более счастливые»²⁰. Это, вероятно, «Цыгане», вышедшие в мае 1827 года.

Вспоминая о том времени, декабрист Михаил Бестужев писал: «Но все-таки запас книг, и книг очень дельных, был очень велик. Он составил и был пущен в общее пользование из всего, что было привезено каждым из нас и что было получено нашими дамами по назначению их мужей»²¹.

В остроге создавалась «академия». Читались лекции, переводы, стихи. Неутомимый Петр Александрович Муханов, образованнейший человек, которого местное начальство аттестовало в своих рапортах как «нераскаившегося», стал душой литературного кружка. За тюремными замками рождается замысел декабристского альманаха. Быть может, через Волконскую, как раз в это время усердно обменивавшуюся письмами с В. Ф. Вяземской, Муханов переслал Вяземскому письмо, помеченное 12 июля 1829 года и подписанное инициалами «ZZ» — литературным псевдонимом Муханова. К письму была приложена небольшая тетрадь, которая заключала 14 стихотворений декабриста Александра Одоевского. Муханов писал Вяземскому:

«Вот стихи, писанные под небом гранитным и в каменных норах. Если вы их не засудите — отдайте в печать. Может быть, ваши журналисты Гарпагоны дадут хоть по гривенке за стих. Автору с друзьями хотелось бы выдать альманах «Зарница» в пользу невольных заключенных. Но одно легкое долетит до вас. Не знаю, достанется ли когда-нибудь подвода с прозой. Замолвьте слово на Парнасе: не подмогут ли ваши волшебники блеснуть нашей „Зарнице“»²².

Мы помним, что «Зарницей» хотел назвать свой альманах Ивановский. И это же название в замысле декабристов. Независимо друг от друга, на расстоянии многих тысяч верст, вспыхнул проект «Зарницы». «Бывают странные сближения», — писал Пушкин по другому поводу. В этом нечаянном совпадении мы, потомки, ощущаем масштаб популярности «Полярной звезды» Бестужева и Рылеева, ее власть над умами современников.

Тетрадка со стихами Одоевского благополучно дошла до Вяземского. Это было нелегким предприятием. Но и дальше было не легче. Как их опубликовать?

Можно было анонимно напечатать «нейтральное» лирическое стихотворение — одну из бесчисленных любовных элегий с сожалениями об утекшей младости или мадригал «NN, неведомой красе». В потоке подобных же стихов они терялись. Однако все значительно осложнялось, если стихотворение наводило на нежелательные размышления. Власти особенно тщательно следили за намеками, так как было известно, что публика научилась отлично читать между строк. Существовала официальная формула: «Мысль автора темна и может быть неправильно истолкована».

Не далее как в 1827 году цензор Гаевский подавал на общее суждение Главного цензурного управления свою записку о стихотворении Федора Глинки «Сон»:

«В сем стихотворении, — указывал Гаевский, — поэт представляет мать свою, явившеюся ему в сновидении и предсказывающею со слезами будущий бедственный жребий его. Главный цензурный комитет, не находя в самом стихотворении ничего противного уставу о цензуре, затруднялся только тем обстоятельством, что подписанное под стихотворением имя сочинителя, замешанного в происшествиях 1825 года, может подать повод к различным заключениям», — и вследствие вышеизложенного предоставлял решение вопроса усмотрению министра народного просвещения. «Приказано: не пропускать к напечатанию»²³.

При чтении этого документа должно помнить, что сам Федор Глинка был лишь «замешан» в заговоре и выслан в Олонецкую губернию, но не был лишен «прав чинов и состояния»; другими словами, под категорию «государственных преступников» никак не подходил. Здесь криминальным было уже самое напоминание о «бедственном жребии» участников движения.

Порой подозрение вызывали однофамильцы декабристов. В феврале 1828 года цензор Ветринский представил цензурному комитету сомнения свои в пропуске в журнале «Славянин» стихотворения Александра Глебова «Стансы в Северной пустыне»:

«В сей пьесе автор, называя себя *невольным* жителем пустыни, выражает сетования свои на *изгнание* в город, находящийся далеко на севере.

Хотя Автор пьесы, судя по подписанному имени, не тот Глебов, который находился в числе сужденных <так!> за участие в злоумышленных обществах; одна-

ко же, поелику неопределенность, какой именно город сочинитель разумеет, говоря о Северной пустыне, и чувства, выражаемые в стихотворении, могут подать повод к неуместным применениям; то стихотворение представлено на разрешение министра; Главный цензурный комитет не решился сам собою дозволить напечатание».

Резолюция гласила: «По рассмотрению сей записки и стихов г<осподина> Глебова господин министр изволил найти печатание оных неприличным и неуместным в журнале. Февраля 24 д<ня> 1828»²⁴.

Эти эпизоды — а их можно было бы умножить — характеризуют особую строгость к крамольным именам.

Каким же образом Вяземскому удалось провести стихотворения Одоевского в печать? Стоит ли говорить о том, что все они были напечатаны анонимно — это безусловно. Но этого мало: Вяземский разбросал стихи Одоевского по разным номерам «Литературной газеты» и, кроме того, три стихотворения поместил в альманах «Северные цветы на 1831 год». Только поэтому они не привлекли к себе внимания. Между тем стоило прочесть их подряд, чтобы перед глазами явственно возник образ узника, пострадавшего за дело свободы. На страницах «Северных цветов» и «Литературной газеты» разворачивалась потрясающая летопись дум и дней декабристской каторги.

Издатели «Северных цветов», воспитанные на поэзии аллюзий (намеков), не могли не знать, каков истинный смысл того, что они печатают. А печатали они «Тризну» — торжественный реквием норвежским ярлам, павшим в борьбе за независимость против короля Харальда Харфагра:

Утешьтесь! За павших ваш меч отомстит.
И где б ни потухнул наш пламенный жизни,
Пусть доблестный дух до могилы кипит,
Как чаша заздравная в память отчизны.

Это одно из самых мужественных и оптимистических стихотворений, созданных декабристами на каторге. По своему существу оно подлежало полному и безусловному запрещению. Но чтобы понять это, цензор должен был знать, кем и когда оно написано. А этого он не знал!

Павшим за свободу посвящено и второе стихотворение. Это — «Старица-пророчица». В Читинском остроге его часто пели как романс, после того как Ф. Ф. Вадков-

ский положил его на музыку. Тема его — битва новгородских дружин против первого самодержца русского Ивана III — одна из излюбленных у декабристских поэтов.

Скорбно и сурово развивается лирическая тема, проступающая сквозь эпическое бесстрашие зачина. Поэт стилизует его под фольклорную балладу. Отсутствие рифм, анафорические повторы, чередование женских и дактилических окончаний придают стихотворению тревожную монотонность, предчувствие беды постепенно нарастает.

На мосту через Волхов стоит старица. Молодец, идя на войну, просит ее загадать, вернется ли он обратно. За рекой каркают вороны. Невеста плачет в тереме. Пророчество безрадостно и зловеще.

Не однажды в стихах Одоевского повторяется мотив зловещего пророчества. Но сам прорицатель у него не бывает недобрый. Старица возвещает волю судьбы, но она же и побуждает бросить ей вызов во имя свободы.

Есть одна теперь невеста,
Есть одна — святая София...
Обручился ты с невестою:
За Шелонью ляжь костями.

Если ж ты мечом не выроешь
Сердцу вольному могилы,
Не на вече, не на родину,—
А придешь ты на неволю!

И здесь неожиданно прерывается медлительная плавность рассказа. Возникает резкий ритмический перебой: анапест сменяется энергичными дактилическими строчками, рифмы теснятся, как бы торопясь сменить друг друга, прихотливые аллитерации создают звуковые картины, тональность становится мажорной... Это картина битвы, пронизанная скрытыми лексическими, зрительными, звуковыми ассоциациями со «Словом о полку Игореве»:

Строй смешались, мечи загремели,
Искрятся молнии с звонких щитов,
С треском в куски разлетаются брони,
Кровь потекла... Разъяренные кони
Грудью сшибают и топчут врагов;

Как и в «Слове...», битва проиграна. Мажорная тема обрывается так же внезапно, как возникла. Мы вновь возвращаемся к зачину. На мосту через Волхов стоит старица. Пророчество исполнилось. Она вглядывается в толпу, как будто сама не в силах поверить в справедливость своего предсказания, — может быть, случилось чудо, может быть, вернется молодец через Волхов?

Что ж? прошел ли добрый молодец?..
Не прошел он через Волхов.

В тексте «Литературной газеты» стихотворение кончается вопросом: «Не пройдет ли он чрез Волхов?» Общий смысл стихотворения, конечно, от этого не меняется.

«Старица-пророчица» настолько явственно воскрешала традиции декабристской лирики, что можно только удивляться, как она не пробудила подозрительности цензора. Аллюзионность ее очевидна для мало-мальски внимательного читателя.

Вспомним, что за два года до этого, 2 февраля 1828 года, министр народного просвещения запретил «Новгород» Веневитинова. Здесь были стихи:

Молчи, мой друг; здесь место свято:
Здесь воздух чище и вольней!

Они-то и решили судьбу стихотворения²⁵.

Однако вернемся к стихотворениям Одоевского. В «Литературной газете» удалось напечатать еще два его стихотворения.

Одно из них называлось «Узница востока» и вуалировало тюремный мотив экзотической темой. Стоило подписать под ним «Чита, 1829», и оно было бы тотчас запрещено. Без этих указаний и без фамилии автора стихотворение становилось «лояльным» — придаться было не к чему.

Сложнее было с другим стихотворением — с «Элегией на смерть А. С. Грибоедова». Вторая часть элегии содержала тюремные реалии. Было ясно, что автор стихотворения, друг Грибоедова, — узник. И любой чиновник сразу бы догадался, что элегия написана кем-то из декабристов. Пришлось выкинуть из текста места, из которых явствовало, что автор в оковах, в темнице, в заточе-

нии. Прочтем вторую часть элегии, сопоставляя авторский текст с вынужденными заменами:

Но под иными небесами
Он и погиб, и погребен;
А я далеко!* Из-за стен
Напрасно рвуся я мечтами:
Они меня не унесут,
И капли слез с горячей вежды
К нему на дерн не упадут.
Я был далек;** — но тень надежды
Взглянуть на взор его очей,
Взглянуть, сжать руку, звук речей
Услышать на одно мгновенье —
Живило грудь, как вдохновенье,
Восторгом наполнило меня!
Не изменилось удаление;***
Но от надежд, как от огня,
Остались только — дым и тленье;
Они мне огонь: уже давно
Все жгут, к чему ни прикоснуться;
Что год, что день, то связи рвутся,
И мне, мне даже не дано
В сей жизни**** призраки лелеять,
Забиться миг веселым сном
И грусть сердечную развеять
Мечтанья радужным крылом.

Итак, анонимно и порой в искаженном виде появлялись на страницах «Литературной газеты» и в «Северных цветах» «стихи, писанные под небом гранитным и в каторжных норах». Об авторе стихотворений знали считанные лица. Невольно может возникнуть вопрос, была ли существенная польза в подобном «просачивании» в печать? Быть может, такие безымянные публикации имеют интерес лишь для историков литературы, тщательно регистрирующих для вящего порядка первое появление в печати того или иного произведения?

Нет! Библиографическая справка тут — дело десятое. Главное в другом: это был нравственный подвиг, который совершили Пушкин и его литературные соратники.

* В темнице.

** Я в узах был.

*** Заточенье.

**** В темнице.

В эпоху реакции верность друзьям, попавшим в беду, превращалась из обычного, ничем не примечательного поступка, из постоянной нормы поведения в гражданскую доблесть. Николай I называл Пушкина и Вяземского «сумасшедшими»: это был диагноз не психиатра, а жандарма на троне. И вот эти «сумасшедшие» (т. е. оппозиционеры), осведомленные о недоброжелательном, придиричливом внимании к ним властей, зная, что правительство подозревает их в связях с декабристами, не дрогнули в минуту опасности, не отступились от осужденных друзей. Получив тетрадку со стихами Одоевского, Вяземский не испугался, не запрятал под замок сибирскую «контрабанду», не бросил ее в горящий камин. Нет, при первой возможности он пустил стихи в печать. Нетрудно себе представить, как ликовали всякий раз Пушкин, Вяземский и Дельвиг, когда еще одно стихотворение Одоевского появлялось на страницах их изданий.

Их радость была тем значительнее, что, помимо сознания исполненного нравственного долга, они предвкушали минуту, когда листы «Литературной газеты» и томик «Северных цветов» попадут в руки Одоевского и других декабристов. Они понимали, с каким волнением и благодарностью прочтет закованный в кандалы поэт свои стихи, чудом появившиеся в печати. Они знали, что их мужественный поступок вселит бодрость в души каторжников. Стоило идти на риск, чтобы доказать «друзьям, братьям, товарищам» свою верность.



„Подвиг честного человека“



Мысли разных лиц

Перелистывая альманах «Северные цветы на 1828 год», мы на страницах 208—226 обнаружим неподписанное произведение, которое узнаем без труда. Это пушкинские «Отрывки из писем, мысли и замечания».

Нам памяты эти наблюдения и афоризмы — разрозненные, не связанные единой темой, внешне случайные и хаотичные, — как будто брошенные на бумагу в минуту досуга или под влиянием мимолетного впечатления. Здесь нашли себе место и рассуждение о женщинах — ценительницах искусства, и насмешка над нелепостью сравнения безукоризненного сонета с дурной поэмой, и невеселое размышление над младенческим состоянием русской словесности. Но внешняя свобода и даже небрежность таких отрывочных заметок обманчива.

В них нет ни сюжетной занимательности новеллы, ни завораживающего ритма стиха, ни блестящего и подчас парадоксального остроумия анекдота — ничего такого, что могло бы сразу остановить на себе рассеянное внимание. В них есть только мысль или частное наблюдение, заключенное в форму наброска, отрывка из написанного

или ненаписанного. Тем самым и мысль и словесное ее воплощение берут на себя двойную нагрузку. Если мысль лишена остроты, пронизательности и глубины, если небрежность формы есть просто небрежность, а не естественная непринужденность и изящество стиля, свойственные большому мастеру, — тогда сентенции и афоризмы становятся ложно значительными и смешными.

«Мысли и замечания» требуют особого искусства, они всегда — побежденная трудность, и не потому ли так любители их тонкие и изощренные философы-стилисты предшествовавших столетий, которым было что сказать и которые знали, как это сделать.

Нечто в подобном роде писывал и дядя Пушкина — Василий Львович, но у него не всегда получалось. Вяземский сказал однажды ему: «Вы должны быть вечно благодарны Шаликову; он вам подал *мысль* написать *мысли*»¹. Василий Львович не понял затаенной иронии. Шаликова подозревали в полном отсутствии мыслей; а в афоризмах Василия Львовича, кажется, была только одна мысль — написать их, — и та, внушенная Шаликовым. Шутка Вяземского, пожалуй, была слишком зла.

Пушкин хотел в предисловии с добродушной насмешкой сослаться на пример дяди. «Поутру сварили ему дурно кофе, и это его рассердило, теперь он философически рассудил, что его огорчила безделица, и написал: нас огорчают иногда сущие безделицы. <...> Дядя написал еще дюжины две подобных мыслей и лег в постелью. На другой день послал он их журналисту, который учтиво его благодарил, и дядя мой имел удовольствие перечитывать свои мысли напечатанные»².

От предисловия, впрочем, Пушкин отказался. Дядя его, без сомнения, узнал бы себя в портрете, а обижать старика было незачем. С предисловием вместе пропала для читателя и тонкость иронической игры, ибо Пушкин предлагал ему действительно мысли, причем такие, глубина которых не распознается с первого взгляда. Но об этом пойдет речь далее, а сейчас перевернем несколько страниц, пока в поле нашего зрения не попадет эпиграмма на старинного неприятеля Пушкина М. С. Воронцова «Не знаю где, но не у нас...», оборванная в конце в расчете, что знающий читатель, вспомнит окончание сам. Эпиграмма подписана: «А. Пушкин».

Это требует объяснения, ибо редок и необычен слу-

чай, когда автор статьи, не считая нужным подписывать весь текст, подписывает автоцитату.

Чтобы понять, зачем это понадобилось, нужно вспомнить, как печатались произведения Пушкина в конце 1820-х годов.

* * *

Нам известно, что после 1826 года Пушкин, освобожденный от общей цензуры, попадает под эгиду «высочайшего цензора». Помня об этом, обратимся к мемуарным источникам по истории «Северных цветов». Среди них есть один, который содержит сведения об анонимных статьях Пушкина. Это очень точные и авторитетные воспоминания барона Андрея Ивановича Дельвига. А. И. Дельвиг был двоюродным братом издателя альманаха — лицейского товарища Пушкина А. А. Дельвига — и имел близкое касательство к делам редакции. Автор мемуаров рассказывает, что «все стихотворения свои Пушкин доставлял Дельвигу, от которого они были отсылаемы шефу жандармов, генерал-адъютанту Бенкендорфу, а им представлялись на высочайшее усмотрение. Само собою разумеется, что старались посылать к Бенкендорфу по несколько стихотворений зараз, чтобы не часто утруждать августейшего цензора. Стихотворения, назначенные к напечатанию в «Северных цветах на 1828 год», были в октябре уже просмотрены императором, и находили неудобным посылать к нему на просмотр одно стихотворение «Череп», которое, однако же, непременно хотели напечатать в ближайшем выпуске «Северных цветов». Тогда Пушкин решил подписать под стихотворением «Череп» букву «Я», сказав: «Никто не усумнится, что Я—Я». Но между тем многие усомнились и приписывали это стихотворение поэту Языкову. Государь впоследствии узнал, что «Череп» написан Пушкиным, и заявил неудовольствие, что Пушкин печатает без его просмотра. Между тем, по нежеланию беспокоить часто государя просмотром мелких стихотворений, Пушкин многие из своих стихотворений печатал с подписью П. или Ал. П.»³.

В рассказе Дельвига есть несколько важных для нас свидетельств, которые можно подтвердить и другими документами. Первое — утверждение, что все, выходящее из-под пера Пушкина, вплоть до мелких стихотворений, проходило «высочайшую цензуру». Второе — что Нико-

лай I следил, чтобы Пушкин ничего не печатал без его ведома. Наконец, третье и, быть может, самое важное, — что Пушкин по тем или иным мотивам пытается в некоторых случаях ускользнуть из-под августейшей опеки, печатая стихи под анаграммой. Что заставляло Пушкина поступать таким образом — этот вопрос мы пока оставим в стороне, приняв на первый случай объяснение Дельвига.

Мемуары Дельвига вплотную подвели нас к анонимной статье Пушкина, но объяснения ее не дали. Не хватает какого-то одного, совсем небольшого промежуточного звена, чтобы цепь рассуждения замкнулась.

Таким звеном оказывается письмо О. М. Сомова к К. С. Сербиновичу от 1 декабря 1827 года.

К. С. Сербинович был цензором «Северных цветов». Его корреспондент, Орест Михайлович Сомов, известный в свое время критик, прозаик и поэт, близкий знакомый Дельвига, был в это время негласным секретарем дельвиговских изданий. Отправляя в цензуру статьи и стихи для альманахов, он сопровождал их деловыми записками; Сербинович же, человек крайне аккуратный, сохранял их. Так составила во многих отношениях небезынтересная коллекция писем, одно из которых непосредственно касается интересующей нас статьи.

«Милостивый государь Константин Степанович! — пишет Сомов. — Вчерашний день я два раза был у вас, но не имел удовольствия найти вас дома и потому решил оставить у вас статьи, мною привезенные: недоконченную мною повесть или отрывок «Гайдамак», которой окончание непременно доставлю вам дня через два, и «Мысли» разных лиц, без подписи, в коих с именем одни только стихи Пушкина. Стихи сии, равно как и самую сию статью, отдавал я г. фон Фоку, а он представлял их А. Х. Бенкендорфу, для рассмотрения кем все стихи Пушкина рассматриваются».

Если мы представим себе, о чем, собственно, идет речь, мы остановимся в недоумении перед странной фразеологией письма Сомова.

«Мысли» разных лиц, без подписи. Все это — истинная правда. Здесь есть афоризм Стерна, анекдот о Тредиаковском, цитаты из Паскаля, Вольтера, Шамфора, Карамзина, Байрона и ссылка на Ансело. Не хочет ли Сомов сказать, что эти «лица» и являются фактическими авторами статьи?

«В коих с именем одни только стихи Пушкина». С дипломатической тонкостью Сомов наводит своего корреспондента на мысль, что вся машина политической полиции приведена в действие из-за эпиграммы «Не знаю где, но не у нас...» — *единственного* пушкинского отрывка во всей статье. Читая письмо, невозможно понять его иначе, хотя Сомов не произносит ни одного слова лжи. «Стихи сии, равно как и самую сию статью» Сомов посылал в III Отделение, именно стихи и статью, стихи Пушкина и статью «разных лиц», в которую эти стихи включены как цитата, с полагающейся в таких случаях ссылкой на автора.

Именно так понял дело фон Фок, именно так понял его и Бенкендорф, которому предстояло отправить эпиграмму «Не знаю где, но не у нас...» на просмотр тому, кто в силу собственного соизволения являлся цензором стихов (опять стихов!) Пушкина.

И заметим, что Сомов в точности исполняет предписание, отправляя стихи *вместе со статьей*. Произведения Пушкина в руках у соответствующих высших должностных лиц. Они могут принимать эти сочинения за не-пушкинские, если им будет угодно.

Сохранилась рукопись этой статьи — та самая, которую посылал Бенкендорфу Сомов. Это — автограф Пушкина, белой, без помарок, написанный почти каллиграфически. Бенкендорф был, видимо, плохой текстолог и не уловил в этих ровных обезличенных строках характерных примет пушкинского почерка.

При взгляде на автограф разъясняется до конца и смысл несколько загадочных для нас слов Сомова: «отправлял стихи и статью». Дело в том, что в тексте статьи стихов Пушкина нет. Они были написаны на отдельном листке. В том месте статьи, где они должны были появиться, сделана карандашная помета, видимо, рукой Сомова: «след <уют> стихи»⁴.

Итак, стихи Пушкина и чужая статья.

«А. Х. Бенкендорф сказал, — заключает Сомов, — что для сих маленьких стишков не стоит утруждать г<осударя> и <мператора> и что они могут быть пропущены с одобрения цензуры»⁵.

С одобрения Сербиновича «стихи вместе со статьей» и появились в «Северных цветах на 1828 год».

Нам предстоит прочитать внимательно текст статьи и попытаться понять, зачем понадобился весь этот рис-

кованный маскарад. Но прежде вернемся к мемуарам Дельвига и внесем в них одно уточнение. «Нежелание беспокоить» Николая I из-за одного-двух стихотворений было естественным и хорошо объясняло, скажем, анаграмму под «Черепом». Но статья, о которой идет речь, была передана Бенкендорфу где-то в конце ноября; 30 ноября Сомов привозит ее Сербиновичу в первый раз. В октябре, если верить Дельвигу, Николай I просмотрел все стихи Пушкина для «Северных цветов».

Если неудобно было досылать дополнительно большое стихотворение, то вдвойне неудобно было беспокоить царя из-за одной эпитафии, к тому же оборванной посредине.

Очевидно, по каким-то причинам Пушкин настоятельно хотел увидеть свои «мысли» в печати.



Отрывок из уничтоженных записок

«Мысли и замечания» Пушкина хранят следы яростных журнальных полемик. Почти каждая фраза их имеет свою историю и предысторию. Это сгусток литературной и гражданской жизни пушкинского времени. Современники легко разгадывали намеки, где нужно — подставляли имена. Потом споры забылись, люди умерли, имена исчезли. «Мысли» окутаны легким холодком академического бесстрастия. Неискушенный читатель, не привыкший заглядывать в комментарий, быть может, пробежит иной из афоризмов со снисхождением, как неудачную, но простительную шутку гения.

«Милостивый государь! Вы не знаете правописания и пишете обыкновенно без смысла. Обращаюсь к Вам с покорнейшею просьбою: не выдавайте себя за представителя образованной публики и решителя споров трех литератур. С истинным почтением и проч.»

Это — не включенный в текст альманаха выпад против Н. А. Полевого, литературного врага Пушкина.

В замечании о путешественнике Ансело — намеки на роман Булгарина, второго врага Пушкина, и на запрещенную комедию «Горе от ума».

Фраза о хорошем сонете — отзвук давнего спора с Кюхельбекером.

Правительство не любило литературных споров: они легко приобретали нежелательный политический оттенок. Уже одно это могло побудить Пушкина соблюдать при напечатании статьи некоторую осторожность.

Но он сделал нечто большее. Он включил в статью отрывки из записок, начатых им еще в 1821 году, когда у него впервые явилась мысль написать автобиографию. С тех пор накопилось немало впечатлений и заметок о лицах и событиях; время от времени Пушкин набрасывал их начерно, а потом отвлекался надолго. В Михайловском невольный досуг располагал его собрать все воедино. Записки были историей — и не одного частного человека. Лица, с которыми виделся Пушкин, друзья его, короткие знакомые — уже стали или становились на глазах историческими личностями; других ждала, быть может, судьба необыкновенная.

Он пишет записки в течение всего ноября 1824 года и продолжает их еще и в 1825 году. К сентябрю уже какая-то часть вчерне готова; Пушкин сообщает Катенину: «...пишу свои *mémoires*, то есть переписываю набело скучную, сбивчивую черновую тетрадь»⁶.

В конце года он узнает о выступлении 14 декабря, об арестах причастных и подозреваемых в принадлежности к тайным обществам. О некоторых из этих людей он упоминал в своих мемуарах. Необходимо было уничтожить компрометирующие бумаги. Записки «могли замешать многих, и м<ожет> б<ыть>, умножить число жертв»⁷. Пушкин бросает их в огонь.

Он уничтожил, однако, не все, и в состав «Отрывков из писем, мыслей и замечаний» включил сохраненный им отрывок о Карамзине. Перечитаем его — так, как он напечатан в «Северных цветах».

«Появление Истории государства Российского (как и надлежало быть) наделало много шума и произвело сильное впечатление. 3000 экз. разошлись в один месяц, чего не ожидал и сам Карамзин. Светские люди бросились читать историю своего отечества. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка Колумбом. Несколько време-

ни нигде ни о чем ином не говорили. Признаюсь, ничего нельзя вообразить глупее светских суждений, которые удалось мне слышать; они были в состоянии отучить хоть кого от охоты к славе. Одна дама (впрочем, очень милая), при мне открыв вторую часть, прочла вслух: Владимир усыновил Святополка, однако ж не любил его... «*Однако! зачем не но? однако! чувствуете ли всю ничтожность вашего Карамзина?*» В журналах его не критиковали: у нас никто не в состоянии исследовать, оценить огромное создание Карамзина. К. ... бросился на предисловие. Н., молодой человек, умный и пылкий, разобрал предисловие (предисловие!). М. в письме к В. пенял Карамзину, зачем в начале своего творения не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян; т. е. требовал от историка не истории, а чего-то другого. Некоторые остряки за ужином переложили первые главы Тита Ливия слогом Карамзина; зато почти никто не сказал спасибо человеку, уединившемуся в ученый кабинет во время самых лестных успехов и посвятившему целых 12 лет жизни безмолвным и неутомимым трудам. Примечания к Русской истории свидетельствуют обширную ученость Карамзина, приобретенную им уже в тех годах, когда для обыкновенных людей круг образования и познаний давно заключен и хлопоты по службе заменяют усилия к просвещению. Многие забывали, что Карамзин печатал свою Историю в России. Повторяю, что История государства Российского есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека»⁸.

Таков этот отрывок. Прочитав его внимательно, мы можем заметить, что он содержит многое такое, о чем Пушкин не говорит прямо, предоставляя читателю догадываться самому. За инициалами имен и намеками скрываются какие-то не вполне понятные нынешнему читателю события и лица. И самый смысл отрывка, и желание Пушкина непременно его напечатать остаются не до конца ясными.

От кого и почему Пушкин защищает Карамзина? Что значат слова: «Карамзин печатал свою Историю в России»? Кто эти М., Н., В.? Какое отношение к ним имеет «дама», высказавшая суждение, приведенное в образец «глупости»? Почему все это нужно было печатать, и непременно в это время и в альманахе «Северные цветы»? Наконец, в чем был «подвиг честного человека»?

Мы попытаемся ответить на эти вопросы. Но для этого нужно, чтобы читатель запасся терпением для необходимых разысканий, отрешился от распространенного предубеждения против комментария и отважно спустился «в темные лабиринты истории».



*Первые читатели и критики
«Истории государства Российского»*

Воспоминания о Карамзине переносят нас в обстановку 1818 года. Второго февраля этого года на полках книжных лавок появляются первые восемь томов «Истории государства Российского».

Двенадцать лет назад прославленный автор чувствительных повестей, вызывавших слезы у экзальтированных читательниц, издатель журналов с невиданным по тому времени числом подписчиков, писатель, породивший бесконечную вереницу подражателей и ожесточенных противников, — Николай Михайлович Карамзин добровольно отказался от литературной деятельности во имя занятий русской историей и скрылся в уединенной тиши рабочего кабинета.

Все предшествующие его труды были лишь прологом, предуготовлением к этому последнему его труду, который он считал делом своей жизни.

Он читает десятки и сотни книг и манускриптов, сликает, делает выписки; дни его проходят в архивах, в университетской библиотеке, в сводчатых тесных комнатах монастырских книгохранилищ. Попечитель Московского университета Михаил Никитич Муравьев, тогда товарищ министра народного просвещения, исхлопотал ему звание придворного историографа. Меньше всего, впрочем, он бывал при дворе.

Несколько ближайших его друзей, несколько молодых энтузиастов, помогавших ему в занятиях, составляли его аудиторию. Карамзин охотно говорил о том, что

его занимало, — а занимала его в это время история, и только она. Рассказывая, он одушевлялся — глаза загорались, голос, громкий и звучный, становился взволнованным, герои русского средневековья оживали перед слушателями. Иногда по вечерам он читал друзьям отрывки (писал он утром). Слухи о рождавшейся «Истории» российской расходились по обеим столицам. Ее ждали.

Когда восемь томов ее вышли в свет, то, по словам Пушкина, 3000 экземпляров разошлись в один месяц. Это совершенно точно. К концу февраля уже нельзя было найти ни одного экземпляра. «Сбыл с рук последние экземпляры моей Истории, — сообщал Карамзин 28 февраля, — и дня через два буду свободен от книжных хлопот. Это у нас дело беспрецедентное, в 25 дней продано 3 тысячи экз.»⁹. 11 марта он пишет другу своему И. И. Дмитриеву, что сверх трех тысяч проданных у него требовали еще шестисот. «...Наша публика почтила меня выше моего достоинства»¹⁰.

Пушкин читает «Историю», медленно выздоравливая после долгой и тяжелой болезни. В марте он начинает выходить и сразу же попадает в атмосферу городских толков о новом творении Карамзина¹¹. Толки были самые различные.

Завсегдатаи Английского клуба в Петербурге высказывались в том смысле, что Карамзин не сказал ничего нового. «Странно слушать суждение клубистов о сем бессмертном и для русских неоцененном творении», — записывал в дневник 23 марта будущий декабрист Николай Тургенев¹².

В журнале «Сын отечества» появился фельетон «Московский бродяга», где рассказывалось о критиках Карамзина в салоне некоей московской дамы, под вымышленным именем «Евфразия» — «златоустая», «красноречивая». Здесь собрались ученые мужи и светские ветреники, друзья и враги талантов.

Разговор зашел об «Истории» — и страсти вспыхнули, все заговорили одновременно, осуждали печать, длинные выписки, подробности, посвящение. Один из самых жарких противников произнес речь, доказывая, что «славный писатель русский не умеет писать на русском языке, что самовольное перо его смешало старый язык с новым, книжный с разговорным, высокий с простым, что, наконец, книга, без искусства, порядка и ясности напи-

санная, недостойна имени Истории». Другие превозносили книгу как величайшее творение, единственное в мире. Рассказывали об одном скромном человеке, который объявил за тайну, что «наш историк защищает пользу деспотизма»: «несчастный принял *единовластие* в смысле *самовластия*, не поняв слова и не обдумав мысли автора». Наконец, «Клеант» заключил, что быстрый ход книги доказывает успехи просвещения и что истинный талант восторжествует в глазах общего мнения¹³.

Это хроника городских толков, написанная по свежим следам. Она совпадает во многом с пушкинскими воспоминаниями¹⁴.

Пушкин тоже рассказывает о салоне, где выносились вердикты «светских людей» «Истории государства Российского». Представителем грозного ареопага оказалась дама «впрочем, очень милая», осудившая своим нелепым приговором фразу о Владимире и Святополке.

Современники были уверены, что этот пушкинский пассаж почти памфлетен, и даже называли имя «дамы». Вяземский вспоминал, что это едва ли не передача слов княгини Евдокии Ивановны Голицыной, известной тогда красавицы, хозяйки салона, где бывали А. И. Тургенев, сам Вяземский и Пушкин — все трое увлеченные хозяйкой. В свое время Пушкин посвятил ей несколько стихотворений и даже послал оду «Вольность», хотя княгиня была известна своей строгой монархической ортодоксией. Княгиня жила свободно, была в разъезде с мужем, и вечера у нее продолжались до поздней ночи, отчего она и была прозвана «Princesse Minuit», «Princesse Nocturne» — полуночной княгиней. Она часто общалась с Карамзиными, но историограф ее не любил за безапелляционность суждений и называл «пифией». Пушкин познакомился с ней в декабре 1817 года в доме Карамзиных; «...Пушкин <...> у нас в доме смертельно влюбился в Пифию Голицыну и теперь уже проводит у нее вечера: лжет от любви, сердится от любви, только еще не пишет от любви, — писал Карамзин Вяземскому. — Признаюсь, что я не влюбился бы в Пифию: от ее трезубца пышет не огнем, а холодом»¹⁵.

Пушкин пародирует суждение «пифии» в своем отрывке. Но тогда, в 1818 году, он не склонен был относиться к ее суждениям пренебрежительно. Выйдя из своего невольного заточения, он всякий день посещал ее салон; она говорила о молодом поэте как о «малом предоб-

ром и преумном»¹⁶; лишь к концу года увлечение его начало проходить¹⁷. Затем оно сменится легким подтруниванием над политическими мнениями очаровательной хозяйки светского салона, но это произойдет только через пять или шесть лет¹⁸. Отзыв же княгини о Карамзине, странный сам по себе, отражал, хотя и в искаженном виде, очень серьезный литературный и общественный спор и потому не был столь уж «глуп», как могло бы показаться с первого взгляда.

Дело в том, что к моменту выхода «Истории» Карамзин в сознании читателей был еще автором «Бедной Лизы» и «Писем русского путешественника». Его литературные противники привыкли рисовать его «чувствительным путешественником», проливающим слезы без всякого на то повода, просто от полноты чувств. Вокруг стилистических новшеств Карамзина разгорались ожесточенные споры, памятные всякому, кто был так или иначе причастен к литературной жизни или просто читал русские журналы. Писателя упрекали в отказе от исконных форм русского языка, в злоупотреблении галлицизмами; проза его на слух ревнителей старины казалась изысканной и жеманной.

В этом была доля истины; но разные партии, ожесточенно сражавшиеся против реформ Карамзина, делали отсюда разные выводы. Одни боялись идей чуждых и крамольных, французской революционной заразы, которую принес с собой этот европейски образованный путешественник по чужим землям, посетивший Францию в ее предгрозовые дни в 1789 году. Другие, поднимая знамя патриотизма, национального духа, видели в литературной работе Карамзина отказ от высокой гражданственности поэзии, стремление удалиться от народной трибуны на площади «под сень струй», к домашнему камельку, к тесному кружку родных и друзей, так же, как и он, любящих интимные рассказы и склонных награждать рассказчика слезой умиления.

Когда в первой половине апреля 1816 года было объявлено о выходе «Истории государства Российского», многие не отнеслись к известию серьезно; в шутливой эпиграмме сам Пушкин рекомендовал тогда сочинителю лучше досказать «Илью-Богатыря», начатую, но не законченную им сказочную поэму. Были и более желчные прогнозы: С. Н. Марин, автор расхваливавшихся в списках сатир, замечал еще в 1811 году:

Пускай наш Ахалкин стремится в новый путь
И, вздохами свою наполни томну грудь,
Опишет, свойства плакс дав Игорю и Кию,
И добреньких славян, и милую Россию.

Этот памфлет был даже напечатан ¹⁹.

Когда же через несколько лет читатели получили в руки первые 8 томов карамзинской «Истории», они смогли воочию убедиться, что это вовсе не галантная безделка и не сентиментальная пастораль. Карамзин рассказывал события строгим и точным языком хрониста, даже чуть-чуть архаизируя; лишь в единичных случаях по излюбленным словам и оборотам можно было узнать автора «Бедной Лизы». Публика была несколько сбита с толку. Упрекать Карамзина за манерность и «чувствительность», конечно, не приходилось, но ощущение чужеродности языка оставалось. Так воспринимали «Историю» в салоне «Евфразии», так читала ее и петербургская «полуночная княгиня».

И так же подошли к ней «несколько остряков», за ужином написавших пародию на российского Ливия. Остряки же эти были люди весьма примечательные.



Неназванные пародисты

Некоторые остряки за ужином переложили начало истории Тита Ливия слогом Карамзина, — рассказывает Пушкин. В печатном тексте «Северных цветов» он более ничего не добавляет. В «Записках» он приводит отрывки из этой своеобразной пародии: «Римляне времен Тарквиния, не понимающие спасительной пользы самодержавия, и Брут, осуждающий на смерть своих сынов, ибо редко основатели республик славятся нежной чувствительностью, конечно, были очень смешны». Никаких других сведений об этой пародии у нас нет. Она не была записана и осталась глу-

хим намеком на устные дискуссии вокруг карамзинской «Истории».

Однако мы можем попытаться реконструировать если не самый текст пародии, то обстановку и среду, в которой она возникла. Вчитываясь в крошечные цитаты, сохраненные Пушкиным, мы обратим внимание на некоторые детали.

Во-первых, авторы, создавшие свою пародию на веселой литературной пирушке, иронизируют над «чувствительным стилем» Карамзина-писателя и явно принадлежат к его литературным противникам.

Во-вторых, они нападают на монархический дух «Истории».

В-третьих, это люди, читавшие «Историю» очень внимательно и, по-видимому, под определенным углом зрения. Дело в том, что фраза о Бруте — не пародия в точном смысле слова, а цитата, и взята она почти дословно из шестого тома «Истории» — тома очень важного, где речь идет о начале русского самодержавного государства. «Редко основатели монархий славятся нежною чувствительностию, — писал Карамзин об Иване III, — и твердость, необходимая для великих дел государственных, граничит с суровостию»²⁰.

Кто же эти «остряки»?

Так Пушкин называл своих друзей по литературному обществу «Зеленая лампа», где он часто бывал в 1818—1820 годах.

Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?
Кипишь ли ты, золотая чаша,
В руках веселых остряков?

Где дружбы знали мы блаженство,
Где в колпаке за круглый стол
Садилось милое равенство,
Где своенравный произвол
Менял бутылки, разговоры,
Рассказы, песни шалуна,
И разгорались наши споры
Огнем и шуток и вина?

«В кругу семей, в пирах счастливых», 1821.

Эти споры «между лафитом и клико», как потом скажет Пушкин в десятой главе «Онегина», нередко несли

с собой «мятежную науку» будущих декабристов. «Зеленая лампа» была связана с декабристским Союзом благоденствия. Мы знаем, что молодые вольнодумцы-«ламписты» серьезно интересовались историей²¹. Но мы не знаем ни одной пародии «лампистов» на Карамзина, и нам неизвестно, чтоб кто-нибудь из них выступал против историографа. Попытаемся поэтому подобрать другую, более вероятную кандидатуру.

Участникам общества была хорошо знакома фигура Павла Александровича Катенина. Молодой, но уже заслуженный офицер, прошедший сквозь кровопролитные сражения 1812 года, страстный театрал, как и «ламписты», редкий эрудит, знаток истории, театра, литературы, Катенин был сам поэтом и драматургом. Его собственные произведения и переводы вызвали полемику и насмешки: Катенин был литератором даровитым, но тяжелым и несколько архаичным. Катенин вспыхивал и грозил противникам дуэлью. Он был желчен и болезненно самолюбив. Это не мешало ему быть иной раз тонким и пронизательным критиком; в застольных беседах он поражал своих противников неожиданными и меткими сарказмами. Пушкин познакомился с ним летом 1817 года, а через год нанес ему первый визит. Они подружились, и Пушкин стал посещать Катенина запросто. Общество Катенина составляли люди, отнюдь не принадлежавшие к приверженцам Карамзина: Грибоедов, Бегичев, Жандр — близкие друзья и литературные соратники хозяина. Здесь царил культ острословия, шутки, пародии. Как раз в это время — в 1817 году — Грибоедов и Катенин написали совместно комедию «Студент»: провинциальный студент Беневольский, начитавшийся Карамзина, Жуковского и «молодых романтиков», является в столицу, преисполненный ложной и напыщенной чувствительности; глупость его превосходит пределы вероятия. Комедия была очень смешна и очень памфлетна; на сцену она поэтому не попала и расхищалась в списках. Своих литературных убеждений Катенин не скрывал; юный Пушкин прислушивался к ним не без пользы для себя: они отучали его от односторонней приверженности к литературной школе Карамзина и арзамасцев.

Правда, суждения Катенина были резки и безапелляционны, в них сквозила литературная нетерпимость и нередко уязвленное самолюбие. Пушкин скоро научился

это понимать. Пока же он прислушивался к веселым и ядовитым шуткам над карамзинским Ильей Муромцем, страдающим от язвительных стрел любви.

Накануне выхода «Истории» участники катенинского кружка уже знали, что не смогут принять ее «слог». Когда «История» появилась, они были удивлены и сразу же отметили, что историограф изменил своей прежней манере изложения²².

Вот что писал одному из деятельных участников кружка Н. И. Бахтину друг его П. П. Татаринов 25 февраля 1818 года:

«Правда, совершенная правда, что нынешний слог его не похож на прежний; но который из них лучше, — право, решить не умею. Слог ли самый, или то обстоятельство, что исторический рассказ, ни вздохами и никакими формально причудами не начиненный, а питанный, так сказать, какою-то естественностью и силою мыслей, — гораздо труднее романического, или еще и то, что сочинитель хотел быть кратким, — не знаю, а вижу, что нет, — читать как-то трудно, до того, что язык устает. Быть может, что привыкши читать гладкую, плавную прозу Карамзина-журналиста, — теперь думаешь тоже найти и в Истории те же достоинства и находя их не уверяешь себя. — Не нравится мне, однако, то, что все почти периоды его начинаются одинаково: сказуемым и весьма редко вводною речью»²³.

Татаринов лишь отчасти сближался в своих суждениях с Катениным и Бахтиным; через несколько лет он будет горячо спорить со своим другом, отстаивая достоинства «Истории» и оспаривая жесткий и непримиримый отзыв Бахтина. Пока нам важен лишь повышенный интерес всех без исключения членов этого маленького кружка к «слогу» истории. И совершенно естественно, что, найдя в шестом томе место, где они услышали интонации прежнего, глубокого чуждого им Карамзина, они должны были откликнуться резко и насмешливо. Так, вероятнее всего, и родилась фраза о чувствительном Бруте.

Но у Катенина и его друзей были и другие — более серьезные — причины упрекать историографа.



«Молодые якобинцы»

Незримые нити связывали воедино неназванных «остряков» — пародистов с таинственными «Н» и «М» — критиками Карамзина.

«Записки» рассказывают то, что было зашифровано и спрятано в печатном тексте.

«Молодые якобинцы негодовали, — стоит в рукописи. — Несколько отдельных размышлений в пользу самодержавия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий, казались им верхом варварства и унижения».

Вспомним неизвестного молодого человека, о котором упоминали в салоне «Евфразии» и который «сообщил за тайну, что историк защищает пользу деспотизма». Он — единомышленник тех, кто написал слова пародии: «римляне времен Тарквиния, не понимающие спасительной пользы самодержавия».

«История государства Российского» утверждала и отстаивала историческую необходимость монархического правления в России.

Монархизм Карамзина был явлением сложным.

Он был свидетелем грандиозных катаклизмов, потрясавших Европу в исходе столетия. В 1790 году он присутствовал в Национальном собрании, слышал голос Мирабо, гремевший с трибуны, видел толпы народа из предместий, собиравшиеся на улицах Парижа. Тогда он проникся уважением к человеку, одно имя которого вызывало взрывы ненависти у сторонников монархии, — Максимилиану Робеспьеру, и через несколько лет со слезами услышал трагическую весть о его гибели на эшафоте.

В середине 1790-х годов он с ужасом и отчаянием следит за событиями; потрясенный видом Европы, охваченной пожаром революционных войн, думая о разрушаемых городах и гибели людей, он приходит к убеждению о трагическом и неразрешимом заблуждении, в котором пребывает мир. Затем в России наступает время Пав-

ла — полубезумного обитателя Михайловского замка, деспота, Калигулы российского. А потом — дитя и убийца революции, Бонапарт, огнем и мечом прошедший по Европе, война 1812 года, восстание в Греции, восстание в Испании...

События разрушали — и с каждым годом все больше — когда-то усвоенную им на заре юности идею постепенного движения человечества к разуму, счастью и добродетели. Оптимистическая схема оказывалась ложной, золотой век на земле отодвигался дальше, куда-то в неизвестное будущее.

Там, там, за синим океаном,
Вдали, в мерцании багряном...

Летописи русского просвещения знают целое поколение людей, воспитавшихся в сумерках XVIII века, несших в своем сознании идеи великих французских просветителей, но уже отмеченных печатью неверия во всемогущество разума. Они могли быть историками и естествоиспытателями, социологами и политическими деятелями — но сладостной и недостижимой мечтой их оставался мир «уединения, молчания и любви», поэзии тихой и скорбной, мир чувств и нравственных размышлений. Таким был Карамзин, таким был и друг и учитель его поэтический — Михаил Никитич Муравьев, тот самый, которому он обязан был своим званием придворного историографа.

Это были люди, в сознании которых отпечатлелась мятущаяся неустроенность мира, скептики и меланхолики.

Незадолго до смерти Карамзин занес в записную книжку свой символ веры или, скорее, символ неверия:

«Аристократы! вы доказываете, что вам надобно быть сильными и богатыми в утешение слабых и бедных; но сделайте же для них слабость и бедность наслаждением! Ничего нельзя доказать против чувства, нельзя уверить голодного в пользе голода. Дайте нам чувство, а не теорию. — Речи и книги аристократов убеждают аристократов; а другие, смотря на их великолепие, скрежещут зубами, но молчат или не действуют, пока обузданы законом или силою: вот неоспоримое доказательство в пользу аристократии — палица, а не книга! <...>

Либералисты! Чего вы хотите? Счастья людей? Но

есть ли счастье там, где есть смерть, болезни, пороки, страсти?

Основание гражданских обществ неизменно: можете низ поставить наверху, но будет всегда низ и верх, воля и неволя, богатство и бедность, удовольствие и страдание»²⁴.

Но он остался в конце жизни тем же человеком XVIII века, каким был всегда, в нем жила еще надежда, что бурный водоворот страстей человеческих и гражданских может смирить лишь благотворная власть ума и добродетели, власть просвещенная и мудрая. Закон — вот что должно было бы поставить в основу правления. Но это невозможно. Тогда из всех зол нужно выбрать наименьшее — поставить над людьми единого правителя, но правителя, который бы действовал по предначертаниям этого закона и был бы справедлив, добродетелен и милосерд.

На протяжении последних томов Истории российской он искал такого правителя, взыскательно измеряя каждого самодержца избранной им мерой. Он делал последнюю отчаянную попытку спасти самые основы своего мировоззрения.

А оно колебалось, ибо стояло на основании шатком и непрочном. На склоне лет ему стало казаться, что он нашел человека, который мог бы воплотить в себе мечту об идеальном монархе. Это был Александр I. Он вкладывал теперь в него, как в драгоценный сосуд, всю свою философию, все свои этические искания, все свои упования на человеческий разум и благородство. И все больше и больше привязывался к Александру, как к своему собственному созданию.

Он посвятил ему свою «Историю», в предисловии к которой написал: «История народа принадлежит царю».

* * *

Посвящение и предисловие были едва ли не центром разгоревшихся споров.

«Посвящение его государю написано необыкновенно (без всякого иного прилагательного), — сообщал Татионов Бахтину. — Иной говорит, что он <Карамзин> хотел именем государя заставить молчать всех критиков, сказывая им, что ему угодно было похвалить такие-то места; другие утверждают, что он напоминает только о

бедствиях 1812 года. О других толках я молчу, довольствуясь сообщить Вам следующую мысль из посвящения: «Государь! если счастье В<аше>го добродетельного сердца равно Вашей славе, то Вы счастливее всех земнородных» — и просить Вас растолковать мне оную»²⁵.

Бахтин вряд ли склонен был заниматься подобными толкованиями. К «Истории» он был столь же непримирим, как и Катенин, который напишет ему через десять лет:

«Не о косе времени надо спорить, а о благодарности, которую все русские якобы обязаны Карамзину; вопрос: за что? История его подлая и педантическая, а все прочие его сочинения жалкое детство»²⁶. Тогда же, в 1828 году, Катенин отошлет Пушкину для напечатания свое стихотворение «Старая быль» с посвящением, где с нескрываемой насмешкой скажет о «почтенном», «прославленном», «пренагражденном» историографе. Политическая оценка «Истории» переплетется с литературной враждой — совершенно так же, как в анонимной пасторалии.

«Старая быль» Катенина была ядовитым и резким, хотя и скрытым, нападением на Пушкина²⁷. Быть может, обидчивый и нетерпимый Катенин счел себя уязвленным, прочитав строки в «Северных цветах», и это послужило ему одним из поводов пустить в Пушкина свою парфянскую стрелу, задев заодно и историографа? Мы не знаем, и предположению суждено, видимо, остаться только предположением.

Это отклики 1828 года. В 1818 году они были еще резче. Катенин был тесно связан с будущими декабристами. Переводчик тираноборческой трагедии «Цинна», автор знаменитого гимна, призывающего к свержению «трона и царей», Катенин, конечно, под «подлостью» разумел монархический дух «Истории». Так говорил о ней и другой декабрист, Матвей Муравьев-Апостол: «царедворная подлость»²⁸. Катенин и Муравьев-Апостол виделись нередко у вождя северных декабристов Никиты Муравьева; в конце 1817 года Никита писал матери: «Вчера у меня Катенин пил чай и был также Матюша. Мы в один вечер успели перебрать всю словесность от самого потопа до наших дней и истребили почти всех писателей»²⁹.

Никита же Муравьев был тем самым таинственным

«Н», молодым человеком, умным и пылким, который «разобрал предисловие» к «Истории» Карамзина.

Никита Муравьев был старшим сыном покровителя Карамзина — Михаила Никитича Муравьева, о котором нам уже приходилось говорить.

Михаил Никитич умер в 1807 году, оставив жену — Екатерину Федоровну и двоих сыновей — Никиту и Александра; он успел передать первенцу свой острый интерес к историческим и общественным наукам и за год до смерти начал читать одиннадцатилетнему мальчику лекции по истории, которые стоили любого университетского курса. У Муравьевых был литературный салон, и после смерти хозяина дом его так и остался «одним из роскошнейших и приятнейших в столице»³⁰. Здесь собирались и приверженцы Карамзина — будущие «арзамасцы», подолгу жил Батюшков — племянник хозяина, бывали Дмитриев и Гнедич, будущий переводчик «Илиады».

Карамзин был издавна связан с домом Муравьевых, и его дружеские отношения с Екатериной Федоровной не прерывались до самой смерти. На его глазах рос мальчик — будущий руководитель северных декабристов и главный критик его «Истории».

В октябре 1818 года Карамзин вновь поселяется на Фонтанке, под гостеприимным кровом Е. Ф. Муравьевой. Живет он довольно уединенно, проводя дни за корректурами «Истории» и читая переписку Гальяни. Изредка посещают его братья Тургеневы, Жуковский; ненадолго заглядывает Вяземский перед отъездом в Варшаву.

Между тем Никита Муравьев, бежавший в свое время из родительского дома, чтобы принять участие в борьбе с Наполеоном, Никита Муравьев, проделавший весь заграничный поход, вкусивший от бурной политической жизни послевоенного Парижа, возвращается в Петербург, полный новых впечатлений. Он захвачен проблемами военной истории и политики. Он никуда не выезжает; дни его протекают за письменным столом. Он пишет об истории Сибири, о жизнеописаниях Суворова... «Тревожный и беспокойный дух» его ищет выхода и деятельности. Его навещают дальние родственники и друзья детства — три брата Муравьевы, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы. Родственными узами связан он и с Михаилом Луниным, человеком необычайной целеустремленности и духовной силы. Кружок расширяется:

в политических спорах участвуют теперь уже И. Якушкин, С. Трубецкой, Пестель, братья Шиповы, Илья Долгуриков... Частым гостем был Николай Тургенев, поглощенный одной мыслью — уничтожения крепостного права, тот самый Тургенев, который побуждал Пушкина посвятить свою лиру свободе и о котором поэт вспоминал в десятой главе «Онегина».

В светском и литературном салоне Екатерины Федоровны Муравьевой начинают появляться новые лица. Квартира становится постепенно местом дружеских сходок, принимавших все более яркую политическую окраску.

Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты,
У осторожного Ильи.

.

Так писал Пушкин в «Евгении Онегине» — и писал по собственным впечатлениям. «Члены сей семьи» становились членами декабристских союзов.

Рядом с этими людьми живет историограф Российского государства, сторонник самодержавия, посвятивший свой труд императору Александру I. Давний друг семьи Муравьевых, на глазах которого рос «Никотинька» — будущий декабрист Никита Михайлович Муравьев, осужденный по первому разряду «государственных преступников». Близкий друг старшего из братьев Тургеневых — Александра Ивановича. Родственник Вяземского. И политический противник.

«Он жил у тетушки, мы его видели ежедневно, — вспоминал почти через пятьдесят лет М. Муравьев-Апостол, — входили в спор с ним насчет его взглядов на тогдашние события»³¹.

Это очень важно. «История» Карамзина не была книгой «с таинственных вершин». Она имела свой контекст, свой неписанный комментарий. Таким комментарием был сам Карамзин — его разговоры за обеденным столом с Муравьевым и Тургеневым, его отношение к событиям и людям.

Он писал; молодые любители отечественной истории ждали окончания труда — с тем большим нетерпением, что знали человека, который за него взялся.

В 1817 году Никита Муравьев пишет матери о своем

желании иметь «Историю» сразу же по выходе в свет³². В апреле 1818 года он уже садится за чтение труда Карамзина. 15 апреля он прочел первую часть. Через неделю четыре тома уже испещрены его замечаниями. К 16 мая прочитано уже семь томов. Молодой историк принимается за сверку источников³³. Он читает Ливия, Геродота, Страбона, Диодора, Иордана — по-латыни, по-гречески, по-французски... Он сличает, сопоставляет, отбирает свидетельства. Он привлекает тех историков, которых упустил Карамзин, — Полибия, Макробия. От этой гигантской работы двадцатичетырехлетнего ученого — ибо то, что он написал, было ученым трудом — до нас дошло лишь немного, а была довольно толстая тетрадь³⁴. Вероятно, осенью 1818 года он начинает показывать написанные части своим друзьям.

Они воспринимали этот труд с тем большим энтузиазмом, что устами Муравьева говорил не только историк, но и политик, и политик-республиканец. «История народа принадлежит царю», — так начинал Карамзин. «История принадлежит народам», — такова первая мысль Муравьева. Н. И. Тургенев записывает ее в свой дневник.

Удары «молодых якобинцев» направлены против самых основ труда Карамзина. Их дневники и письма наполнены возмущенными тирадами. Еще в 1816 году Н. И. Тургенев писал брату Сергею, что не ждет от Карамзина распространения либеральных идей: «Карамзин, сколько я заметил, думает и доказывает, что Россия стояла и возвеличилась деспотизмом, что здесь называют самодержавием»³⁵. Сергей был полностью согласен с братом: по мере чтения «Истории» его мнение осталось непоколебленным.

«В борьбе самодержавия со свободой где люди, коих примеру мы должны следовать? Я могу верить, что Риму, в тогдашнем его положении, нужен был король Ю. Кесарь; однако могу восхищаться Брутом»³⁶, — писал он в своем дневнике.

Никита Муравьев тоже восхищался Брутом, свободолюбом, цареубийцей. Бесстрастие почти летописного повествования Карамзина он противопоставляет строки, полные сдерживаемой страстности и гражданского одушевления. Он вспоминает о римском историке Таците, которого воодушевляло негодование.

Это был ярчайший случай чисто принципиального

спора, непримиримого столкновения двух людей, глубоко уважавших друг друга.

История мира для Карамзина — это история мятежных страстей, волновавших гражданское общество. Так было всегда, так и ныне. На земле нет совершенства.

Есть различия в этом несовершенстве, возражает Муравьев. Есть несовершенства неустрашимые, но есть и пороки времен Нерона и Гелиогабала, есть холодная жестокость Ивана III и ужасы Грозного. Есть эпохи, когда честь, жизнь, нравственность граждан волею самодержца подвергаются опасности. И кто поручится, что они не повторятся? «Можно ли любить притеснителей и клепы?»³⁷

Но есть эпохи русской государственности, не отмеченные пагубным клеймом самодержавного деспотизма. Это вольный Новгород, это древние славяне, не изнывавшие еще под властью Рюрика, — «народ великий, чуждый вероломства и честолюбия». Мысль декабристов постоянно обращалась к этим древним идеальным «республикам»; наряду с римлянами, новгородцы говорили в декабристских стихах и трагедиях языком политического трибуна. И следующий удар декабристские историки и публицисты наносят по тем главам «Истории», где речь идет о начале русского государства.

Никита Муравьев не успел обработать эту часть своих замечаний. Он сосредоточил свой пафос полемиста на предисловии — этом кредо Карамзина-историка и философа. Но мысли, зарожденные им, были подхвачены другими. Следующая критическая реплика, быть может, прямо навеянная изысканиями Муравьева, шла из Киева, где обосновался в это время друг Муравьева — блестящий военачальник Михаил Орлов.

Михаил Орлов был личностью далеко не заурядной. Он прошел всю наполеоновскую кампанию; участвовал в атаке кавалергардов при Аустерлице, был парламентом в ставке Наполеона, предводителем партизанского отряда в тылу французской армии и в 1814 году подписал акт о капитуляции Парижа. Едва ли не самый молодой генерал русской армии, он был еще и военным писателем, экономистом, социологом, историком и организатором одного из первых декабристских тайных обществ — «Ордена русских рыцарей». Литературные интересы Орлова привели его в «Арзамас» — и первым его шагом на этом поприще было предложение определить

обществу цель, достойнейшую его «дарований и теплой любви к стране русской». Он замышляет издание политического журнала, завязывает сношения с декабристским Союзом спасения, а в 1818 году становится членом Союза благоденствия. Его бурная деятельность в Петербурге прерывается в этот момент — в 1818 году он получает назначение в Киев.

Здесь, в Киеве, ему и попадает в руки «История» Карамзина, и Орлов, с обычной своей откровенностью, высказывает о ней свое мнение. Он пишет ставшее недавно известным письмо Вяземскому от 4 мая 1818 года — то самое письмо «М» к «В», о котором упоминает Пушкин.

Орлов только что прочел первый том Карамзина, где шла речь о призвании варягов. Его гражданское и патриотическое чувство было возмущено «норманской теорией». «Зачем... он в классической книге своей, — пишет Орлов, — не оказывает того пристрастия к отечеству, которое в других прославляет? Зачем хочет быть беспристрастным космополитом, а не гражданином? Зачем ищет одну сухую истину преданий, а не приклонит все предания к бывшему величию нашего отечества? <...> Тит Ливий сохранил предание о божественном происхождении Ромула, Карамзину должно было сохранить таковое же о величии древних славян и россов»³⁸.

Орлов искал в истории объяснения национальных основ русской государственности. Он вовсе не имел в виду предложить Карамзину придумать или подобрать эффектные легенды. Через несколько месяцев он будет разъяснять Вяземскому подробно, по каким основаниям первые тома труда Карамзина для него неудовлетворительны. Он приведет исторические справки и подвергнет критике повествования о начале Руси как «ложные» и «пристрастные»³⁹. Но в первом письме он этого не делает. Его пером водит пафос «гражданина», а не «историка»: воображение его, «воспаленное священной любовью к отечеству», ищет в истории российской «родословную книгу» еще непонятного ему древнего величия славян. «Издание «Истории Российского государства» есть дело отечественное». Это говорит декабристский идеолог, публицист, на примерах любви к отечеству воспитывавший солдат в ланкастерских школах.

Вяземский, однако, решительно не согласился с критикой Орлова и отверг его слишком смелые гипотезы о

славянском происхождении Рюрика. Сам «раскаляясь» в «вулканической атмосфере» декабрьского движения, Вяземский не мог не сочувствовать страстной гражданственности своего давнего друга, «рыцаря любви и чести», но не был убежден его доводами ни тогда, ни позже. Он ответил Орлову из Варшавы. Ответ его неизвестен; через много лет он вспомнил о своих расхождениях с Орловым: «...умный и образованный Михаил Орлов был также недоволен трудом Карамзина: патриотизм его оскорблялся и страдал ввиду прозаического и мещанского происхождения русского народа, которое выводил историк»⁴⁰. Письма Орлова и Вяземского быстро распространялись, и в следующем письме от 4 июля Орлов просит «не быть щедрым в разглашении»⁴¹ его. Но было уже поздно. Видимо, Орлов и сам не скрывал своих расхождений с Карамзиным. В ноябре 1819 года Вяземский пишет А. И. Тургеневу, даже с некоторой растерянностью: «Где ты читал мое письмо к Орлову? Что и где приводит Волконский слова Орлова о Карамзине? Разве Волконский что-нибудь написал? Вот здесь Орлова выдаю живьем: он сердится на Карамзина за то, что он вместо «Истории» не написал басни, лестной родословному чванству народа русского. Я с ним воевал за это и верно не ласкал его»⁴².



«Одна из лучших русских эпиграмм»

А Пушкин? Как вел себя в это время Пушкин? С марта 1818 года, после болезни, он возобновляет посещения салона Голицыной, где все громче слышались критические голоса против Карамзина. Конечно, не «молодые якобинцы» задавали здесь тон; мы знаем уже, что княгиня была правоверной монархисткой. Здесь говорили ревнители старины, хранители уставов древнего благочестия, которые не могли забыть европейских симпатий историографа. Но у Голицыной, как мы помним, бывали и другие люди, — такие как Михаил Орлов, — и через много десятилетий, вспо-

миная о годах своей молодости, Вяземский жестоко ошибся, связав письма Орлова с косным патриотизмом голицынского салона⁴³. К ним-то и прислушивался Пушкин. Орлова он мог знать еще с лета 1817 года; ближе сошлись они лишь три года спустя, в Каменке и Кишиневе, куда Орлова перевели начальником 16-й пехотной дивизии. В доме генерала собирались декабристы-«южане», и Пушкин подолгу спорил о положении в стране, о «вечном мире», о литературе. Сам генерал не скрывал своих мнений ни тогда, ни раньше, когда он посылал Вяземскому свой критический отзыв об «Истории государства Российского». Но самих писем Пушкин в 1818 году знать еще не мог: они прошли мимо него; в мае Орлов был в Киеве, Вяземский в Варшаве, Пушкин в Петербурге. Он мог прочесть их много позже, встретившись с Орловым в Кишиневе или с Вяземским в Москве в 1826 году; а он, вероятно, читал их, а не только знал по пересказам: слова «блестящая гипотеза» попали в его мемуары прямо из второго письма Орлова.

Теперь же, в 1818 году, он оказывается в самом центре петербургской оппозиции Карамзину. Он слушает остроумные и злые насмешки Катенина и, быть может, сам участвует в составлении «очень смешной» пародии на стиль и идеи Карамзина. И, наконец, дом Муравьевых, знакомство с «умным и пылким» Никитой и его друзьями. В десятой главе «Онегина» он вспоминает, как читал свои ноэли — известное по всему Петербургу стихотворение «Ура! в Россию скачет Кочующий деспот» — «у беспокойного Никиты, у осторожного Ильи» — Ильи Долгорукова; «блюстителя» Союза благоденствия⁴⁴. Он назовет и других участников собраний, с которыми встречался тогда и годом позже, в 1819 году: Якушкин, замышлявший цареубийство, Лунин, Николай Тургенев. Все это — круг Муравьева; о Луныне, двоюродном брате «беспокойного Никиты», он скажет уже в 1835 году: «Лунин человек поистине замечательный»⁴⁵ и напомнит о себе этому «нераскаянному» декабристу⁴⁶. Сам Никита Муравьев справлялся о Пушкине еще в 1815 году⁴⁷; а Матвей Муравьев-Апостол через полвека еще помнил первую пушкинскую эпиграмму на предполагаемый выход «Истории»: «И, бабушка, затеяла пустое! Докончи нам Илью Богатыря»⁴⁸.

Но, пожалуй, теснее всего Пушкин сошелся тогда с Тургеневыми. В доме Тургеневых на Фонтанке, где через

открытое настежь окно можно было видеть громаду Михайловского замка, затененного деревьями и пустующего, Пушкин слышал «глас Клии» — музы истории. Он сочинил здесь оду «Вольность» — о смерти «увенчанного злодея», Павла I, задушенного шестнадцать лет назад шарфом Скарятина в собственной резиденции. Тогда еще это убийство пугало его; удары «янычар» были бесславы. Но ненависть к деспотизму крепла с каждым месяцем; деспотом был уже для него и Александр I, хотя он был и непохож на своего отца-самодура. Братья Тургеневы поддерживали в юноше отвращение к крепостному рабству; они вдохновили «Деревню». Николай Тургенев называл крепостников «хамами». Слово привилось, получило хождение. В 1816 году Тургенев причислял к «хамам» и Карамзина, — еще не зная «Истории», судя о ней со слов брата Александра. Александр Иванович сообщал, что труд этот может со временем послужить основанием возможной русской конституции. Но либерализм Александра Ивановича для младших братьев вообще был под большим сомнением, и его «похвалу» Николай понял так: «автор видел, что рассуждать хорошо трудно, а иногда опасно; и потому молчал. Второй же период *«со временем»*, *возможной* да еще и русской делает Карамзина в глазах моих хамом»⁴⁹. Позже, читая «Историю», Тургенев изменил свое мнение⁵⁰, но до конца жизни не мог простить Карамзину его уклончивости в вопросе о крепостном праве. А в декабре 1819 года, под самый Новый год, он чуть было прямо не порвал с Карамзиным после разговора о русском народе. «Карамзин имеет хорошую сторону: но он со вчерашнего дня будет навсегда чужд моему сердцу»⁵¹.

Отзывы становятся все резче, выходят на поверхность, раскалываются на бесчисленные реплики, сарказмы, эпиграммы. Одна из них явно вышла из тургеневского кружка:

Решившись хамом стать пред самовластья урной,
Он нам старался доказать,
Что можно думать очень дурно
И очень хорошо писать.

Второе четверостишие хорошо знали в доме Муравьевых: Матвей Муравьев-Апостол приводил его в 1860-х годах наряду с ранней пушкинской эпиграммой об «Илье Богатыре».

На плаху истину влача,
Он показал нам без пристрастья
Необходимость палача
И пользу самовластья⁵².

Или иногда его читали иначе:

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,
Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Эпиграмма выдавала почерк мастера. Много позже о ней стали говорить как о пушкинской.

Это было похоже на истину. В эпиграмме жила частица пламени, разгоревшегося на муравьевских собраниях.

«Я убежден, что стихи не Пушкина», — записал старик Вяземский, прочитав их в 1870 году⁵³.

Вяземский колебался: он не знал точно. Бурные споры об «Истории» миновали, благоговение к Карамзину у него осталось и даже окрепло, стало безотчетным. Теперь ему хотелось верить, что его великий друг не писал эпиграммы на его кумира.

Теперь ему хотелось, чтобы в отношении Пушкина к Карамзину было только уважение, только «нежная преданность»⁵⁴. Но в 1818 году это было не так, и Вяземский отлично это знал. Он не знал только одного — какие именно эпиграммы написал Пушкин. Эпиграммы доходили до него через третьи или четвертые руки — если доходили вообще. Он был в Варшаве, он был отрезан от споров в петербургских кружках и салонах.

Но он не был вовсе отрезан от русской литературной жизни. Из Варшавы в Петербург и Москву и обратно шли письма — широким и равномерным потоком, письма — негласные газеты двадцатых годов прошлого столетия.

Василий Львович Пушкин писал ему из Москвы, по свежим следам событий: «Все экземпляры Российской Истории раскуплены. Николай Михайлович пишет, что он награжден за труды свои и что теперь публика доказала, что нелепые критики не действительны»⁵⁵.

Но кроме нелепых критик, был еще спор принципов и идей — и в нем-то участвовал Пушкин, и с неменьшей страстью, чем члены кружка Муравьева, обращавшие к историографу свои возражения⁵⁶.

«Однажды начал он при мне излагать свои любимые парадоксы. Оспоривая его, я сказал: Итак, Вы рабство предпочитаете свободе»⁵⁷. Так Пушкин вспоминал сам в рукописном отрывке.

Тогда-то он и написал эпиграмму на Карамзина — одну эпиграмму, какую, мы точно не знаем. Ее подхватили, исказили, распространили, она теряла имя, а потом, как бы в воздаяние за потерю, Пушкину приписали другие, ему не принадлежащие. Они держались долго. 28 апреля 1825 года они попадают к А. Тургеневу; в порыве возмущения он пишет Вяземскому о своем «омерзении» к Пушкину, поднявшему руку на «отца-Карамзина»⁵⁸. Через несколько дней Тургенев смягчился: он узнал, что эпиграммы старые, пяти- или шестилетней давности, но убеждение в авторстве Пушкина не исчезло⁵⁹. Вяземский поверил, и не мог не поверить: он знал настроения Пушкина этих лет. Тогда он не сообщил Пушкину ничего о раздражении Тургенева, но через год вспоминал: «ты <...> шалун и грешил иногда эпиграммами против Карамзина, чтобы сорвать улыбку с некоторых сорванцов и подлецов»⁶⁰. Вяземский писал резко: неостывшее еще потрясение, вызванное смертью Карамзина в марте 1826 года, проникало все его духовное существо; приступы черной меланхолии участились у него в эти дни.

Пушкин ответил с горечью и обидой: «...что ты называешь моими эпиграммами противу Карамзина? довольно и одной, написанной мною в такое время, когда К<арамзин> меня отстранил от себя, глубоко оскорбив и мое честолюбие и сердечную к нему приверженность. До сих пор не могу об этом хладнокровно вспомнить. Моя эпиграмма остра и ничуть не обидна, а другие, сколько знаю, глупы и бешены: ужели ты мне их приписываешь? Во-вторых. Кого ты называешь сорванцами и подлецами? Ах, милый... слышишь обвинение, не слыша оправдания, и решишь: это Шемякин суд. Если уж Вяземский etc., так что же прочие? Грустно, брат, так грустно, что хоть сейчас в петлю»⁶¹.

А в записках о Карамзине он напишет: «Мне приписали одну из лучших русских эпиграмм; это не лучшая черта моей жизни»⁶². Это полупризнание, полуотречение.

В «Записках» Пушкин слегка слукавил; почему и зачем — об этом речь впереди.



**«Опровергнутые
верным рассказом событий»**

К 20-м числам марта 1820 года отношения Карамзина с «молодыми якобинцами» достигли большой остроты. Это не было окончательным разрывом, но скорее охлаждением. 20 марта уехал в Константинополь Сергей Иванович Тургенев; перед отъездом он не зашел попрощаться с семьей историографа⁶³. Жена Карамзина, Екатерина Андреевна, писала Вяземскому в Варшаву: «Кто знает, мой дорогой князь Петр, кто знает, может быть, в один прекрасный день, когда мы соединимся в одном городе, вы не захотите более нас видеть, — ведь что до вашего брата либерала, вы не более терпимы к таким вещам; нужно думать одинаково с вами, без этого не только вы не можете любить человека, но даже его видеть. Я шучу, включая вас в их число, ибо характер моего мужа мне порукой, что мы останемся братом и сестрой, несмотря на различие политических мнений. Жуковский заходит к нам раз в месяц; у г-на Пушкина что ни день, то дуэль; благодарение богу, что дело не дошло до убийства, потому что противники остаются невредимы. Г-н Муравьев печатает критику на Историю мужа. Вы видите по этому краткому отчету, что нам не слишком хорошо в обществе, которое посещало нас весьма усердно»⁶⁴.

Между тем Карамзин упорно работал над следующими томами своей Истории. В его маленьком кабинете было тесно от книг и рукописей; ими были набиты шкафы по стенам, они стояли на сдвинутых столах, где едва оставался уголок, чтобы положить лист бумаги; они лежали на полу, на стульях; каждое утро свет из окна слева падал на неподвижно сидящую высокую, но уже сутулящуюся фигуру, склонившуюся над письменным столом.

Карамзин торопится.

Ему пятьдесят четыре года, и он не слишком рассчитывает на свои силы, которые начинают ему изменять. Впереди еще несколько томов — около столетия русской

истории, столетия трудного и обильного документами. Одновременно нужно читать и корректуры печатающихся томов.

В письмах своих он, как и прежде, спокоен и уравновешен. Есть лишь один корреспондент его, которому он пишет с жадным и нервным нетерпением. Это начальник Московского архива иностранных дел, председатель Общества истории и древностей российских — А. Ф. Малиновский, снабжающий его рукописями и книгами. Он шлет ящик за ящиком; но Карамзину мало. Время уходит. «Еще бы два тома, и поклон Истории! но не обманываю себя: едва ли удастся, разве бог поможет!»⁶⁵

Карамзин заканчивал девятый том «Истории государства Российского».

Это — описание последних двадцати четырех лет правления Ивана Грозного, когда совершилась «ужасная перемена в душе царя», отравленной неограниченной властью, наветами, интригами и подозрительностью. В неторопливом, но вовсе не бесстрастном повествовании проходят перед читателем «шесть эпох душегубства» — страшный мартиролог сосланных, замученных, казненных лютой смертью. Умный и даже просвещенный царь, политик спокойный и глубокий, превращается в «изверга вне законов, вне правил и вероятностей рассудка». Триста страниц примечаний — выписок из летописей, современных хроник и документов с неотразимой убедительностью свидетельствовали истину заключений Карамзина.

Он вовсе не был летописцем, трудолюбивым хронистом, излагавшим шаг за шагом ход событий. Его «История» имела свой замысел и задание. Недаром рядом с Иоанном он ставит постоянно мужей праведных и твердых — советников царя, опору его в делах государственных; недаром так много места уделяет он им — тем, которые пытались направить монарха на стезю добродетели, а когда это не удавалось, то, не щадя живота своего, возвышали голос осуждения; он не скрывает своего восхищения, говоря об Адашеве, Сильвестре, митрополите Филиппе, принявшем против воли своей сан в черные дни свирепства Иоаннова, чтобы по мере сил своих противостоять беззаконию. «Ни новая, ни древняя история не представляют нам героя знаменитейшего», — говорит он о Филиппе⁶⁶. Казнь и опала этих людей — первые шаги на пути к деспотизму, тиранству, не ограниченному ни

законом, ни добродетелью. Тирану же Карамзин выносит приговор строгий и беспощадный.

Это было давнее его убеждение. Еще в 1803 году он упрекал древних летописцев в том, что они свидетельствуют только о добрых делах властителей, умалчивая о злых⁶⁷. Он вспоминал тогда древнего историка Тацита — совершенно так же, как Никита Муравьев при чтении первых томов его Истории. Но лишь теперь, говоря о злоупотреблении самодержавия, он имеет возможность последовать Тациту — сделать то, что советовал ему и старый его знакомый — вольнодумец граф Сергей Румянцев, написавший о нем басню «Китайский историограф»:

А если, К<арамзин>, в Истории ты своей
Тиранов посрамишь, бесчестивших порфиру,
Второго Тацита явишь тогда ты миру
И будешь тем прямой наставник впредь царей⁶⁸.

Именно для этого писал Карамзин историю — чтобы укрепить расшатывающуюся веру в *просвещенное самодержавие*, показав ужасы и пагубу *самовластия*, разгула ничем и никем не ограниченных страстей.

Это — «наставление царям»; каждого из самодержцев ждет после смерти нелюбезный суд истории и потомства и, быть может, при жизни еще — кара провидения — муки совести, отчуждение от близких, неустойчивость в делах государственных.

Но деспотизм для Карамзина не равен самодержавию; более того — это его антипод. Это необузданные отклонения от законов государственных и человеческих, блюсти которые призвано самодержавие. И Карамзин стремится показать, что тирания Ивана IV не поколебала веры его подданных в самодержавное правление вообще; он видит великий нравственный подвиг в смиренном мученичестве жертв, сохранявших и у порога смерти преданность своему монарху. Одну из главок девятого тома он называет: «Любовь россиян к самодержавию».

Жизнеописание Ивана Грозного Карамзин заключает многозначительными словами: «Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна для государей и народов: вселять омерзение к злу есть вселять любовь к добродетели — и слава времени, когда вооруженный истиною дееписатель может, в прав-

лении самодержавном, выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных!»⁶⁹

Успех девятого тома превзошел самые смелые ожидания.

Заключенный в нем материал, живость описаний, одушевление рассказчика были таковы, что идея историка как бы отодвинулась на задний план. Никто из историков — и не только официальных — не дерзал до сих пор столь открыто и страстно говорить о «тиранстве» русского самодержца. Девятым томом буквально упивались. «Ну, Грозный! Ну, Карамзин! — писал потрясенный Рылеев. — Не знаю, чему больше удивляться, тиранству ли Иоанна или дарованию нашего Тацита»⁷⁰.

Так думали и другие декабристы, не исключая Никиты Муравьева и Лунина. Казалось, русская история нашла, наконец, своего Тацита, которого искал Муравьев в своей критике на предисловие. Голоса, прежде осуждавшие, сливаются теперь в единую похвалу.

Декабристские публицисты не стремились проникнуть в философию девятого тома. Они брали факты и делали свои выводы. Факты же таили в себе огромную взрывчатую силу. Девятый том становился средством агитации⁷¹.

Карамзин знал, на что он идет, печатая свою историю Иоаннова царствования. И хотя в его «Истории» стояло: «Печатается по высочайшему повелению», все же опасался, что ему воспрепятствуют говорить свободно об «ужасах» Ивана Грозного. «В таком случае что будет история?»⁷²

Опасения Карамзина были не напрасны. В Петербурге ходил анекдот, что в Аничковом дворце — резиденции великого князя, будущего императора Николая Павловича, девятый том встретили с недоброжелательством, а самого историографа именовали «негодяем, без которого народ не догадывался бы, что между царями есть тираны»⁷³. Суждение было, вероятно, слишком подчеркнуто, для эффектности, но мысль вовсе не была оригинальна. Позднее Вяземский писал А. И. Тургеневу, что и цесаревич Константин почитает «Историю» вредною книгою⁷⁴.

Того же мнения придерживались и воинствующие ретрограды вроде Магницкого, к нему осторожно приближались ученые консерваторы типа Каченовского и многие из публики, рукоплескавшей Карамзину, когда

8 января 1820 года он читал отрывки из не изданных еще томов в заседании Российской академии. Почти через пятьдесят лет будущий митрополит Филарет сохранял это впечатление. «Читающий и чтение были привлекательны, но читаемое страшно. Мне думалось тогда, не довольно ли исполнила бы свою обязанность история, если бы хорошо осветила лучшую часть царствования Грозного, а другую более покрыла бы тенью, нежели многими мрачными резкими чертами, которые тяжело видеть положенными на имя русского царя»⁷⁵.

Вероятно, Карамзин не раз слышал такой же мягкий упрек и благожелательный совет, и ничто не могло быть для него более сильным искушением. Ведь он и сам думал так же, и колебался, и говорил о своих сомнениях Александру. «Мне трудно решиться на издание 9-го тома: в нем ужасы, а цензурою моя совесть», — так писал он Дмитриеву в августе 1819 года⁷⁶. Разные голоса теперь спорили в нем — голос собственных политических симпатий, и голос дипломатической осторожности и тихий, но уверенный голос философа и ученого, моралиста, скептика, прошедшего сквозь школу политических и нравственных исканий и иллюзий восемнадцатого столетия.

Голос этот оказался сильнее всех.

Не было идеального монарха в русской истории. Деспоты, напротив, были, и их нужно было назвать деспотами.

Что же до исторической истины, — то двадцать пять лет он пребывал в убеждении, что постигнуть ее до конца не дано слабому человеческому разуму.

Оставалось одно — положиться на язык самих событий. Пусть они учат грядущих монархов, показывая им, чего не нужно делать.

«Добросовестный труд повествователя, — говорил он, — не теряет своего достоинства потому только, что читатели его, узнав с точностию события, разногласят с ним в выводах. Лишь бы картина была верна, — пусть смотрят на нее с различных точек»⁷⁷.

Это была, вероятно, самая тяжелая победа, одержанная Карамзиным, — над самим собой. Теперь время делало свое дело и наполняло его историю революционным смыслом. Он не хотел этого, но и не мешал.

«Несколько отдельных размышлений в пользу само-

державия, красноречиво опровергнутые верным рассказом событий», — записал Пушкин в своих «неизданных записках».

«Многие забывали, что Карамзин печатал свою Историю в России», — стоит в тексте «Северных цветов». «...В государстве самодержавном», — следовало далее в рукописи, но Сербинович не пропустил этого пояснения. В записках оно развернуто дальше: «...что государь, освободив его от цензуры, сим знаком доверенности некоторым образом налагал на Карамзина обязанность всевозможной скромности и умеренности. Он рассказывал со всею верностью историка, он везде ссылался на источники — чего же более требовать было от него? Повторяю, что *Ист<ория> государства Российского* есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека»⁷⁸.

Так вновь мы подходим к этой формуле — «подвиг честного человека», которая заключает «Отрывки из писем, мысли и замечания», а вместе с ней — и к концу нашего комментария. Теперь нам предстоит вернуться назад, к странной истории, которой мы начали первую главу, и посмотреть, разъясняет ли ее добытый исторический материал.



Ложная развязка, или Истина в первом приближении

Странная история, как помнит читатель, заключалась в том, что в ноябре 1827 года куратор альманаха «Северные цветы» О. М. Сомов передал Бенкендорфу для «высочайшего разрешения» анонимную статью Пушкина с подписанным стихотворным отрывком внутри, и Бенкендорф, приняв всю статью за не-пушкинскую, переслал ее в обычную цензуру.

В статье, наряду с «мыслями разных лиц», содержался отрывок о Карамзине из уничтоженных записок Пушкина.

Мы попытались «развернуть» пушкинский текст, раскрывая то, чего намеренно не сообщил своим читателям Пушкин.

Мы прочли имена «молодых якобинцев» в таинственных «Н» и «М», заподозрили «полночную княгиню» в безымянной даме, авторе «глупого» отзыва, и кружок Катенина — в авторах «очень смешной» пародии. Статья Пушкина в 1828 году со страниц «Северных цветов» во всеуслышание, печатно рассказывала о декабристах — критиках «Истории» Карамзина, о Никите Муравьеве, идеологе Северного общества, осужденном на пятнадцать лет каторги и ныне томившемся в Читинском остроге, о Михаиле Орлове, отправленном под надзором фельдъегеря в ссылку в свое калужское имение.

Не вполне уместно было давать характеристику «умный и пылкий» — государственному преступнику.

Тем более неуместно это было в устах сочинителя Александра Пушкина, пагубные заблуждения которого были хорошо известны правительству. Император, хотя и простил ему грехи молодости и окружил монаршим благоволением, все же вынужден был поставить его под тайный надзор, по причине крайнего его легкомыслия.

Действительно, нужна была изрядная смелость, и даже дерзость, чтобы решиться на подобный шаг, и неудивительны меры предосторожности, принятые сочинителем.

Все это явствует из комментария и все же не решает задачи до конца.

Во-первых, остается неясным, почему отрывок нужно было печатать именно теперь, и с крайней срочностью.

Во-вторых, ведь Пушкин не просто напоминает о своих друзьях — декабристах. Он с ними спорит. Он вступает в полемику с людьми, которые не могут ему ответить, и защищает от них Карамзина. Он вспоминает о споре десятилетней давности, хотя перед глазами его был новый спор.

Как раз в это время начинаются ожесточенные нападки на Карамзина на страницах московских журналов⁷⁹. Да и в начале 1820-х годов основным «зоилом» Карамзина был Каченовский, с которым вел «журнальную войну» Вяземский; и Карамзин тщетно пытался сдерживать тогда эту бурную полемику, уверяя своих защитников, что его ничуть не беспокоят журнальные нападки⁸⁰. О Каченовском — скрыв его за прозрачной

буквой К... — Пушкин упомянул в одной строке — чтобы оставить его и перейти к декабристам.

И насколько странно освещение событий!

В 1818 году Пушкин не третировал пренебрежительно отзывы княгини Голицыной — сейчас он иронизирует над ними печатно.

В 1818 году Пушкин разделял критические оценки «Истории», возмущался ее монархическим духом, быть может, сам участвовал в составлении пародии на нее. Сейчас он как будто берет сторону Карамзина против Пушкина.

В 1818 году он пишет эпиграмму на Карамзина, теперь же отказывается от нее: «мне приписали одну из лучших русских эпиграмм». Фраза эта осталась в «неизданных записках», где, казалось бы, не нужно было бояться цензурных преследований; между тем она явно не соответствует действительности.

Наконец, Пушкин сокращает текст рукописных записок таким образом, что самой многозначительной оказывается фраза о подвиге честного человека. Она венчает весь фрагмент и становится ключевой, как бы выводом из всего, что говорилось ранее. Создается впечатление, что для нее-то и писалось все остальное и что ее-то и проводил Пушкин в печать с такими трудностями и риском. А этого не объясняет до конца даже скрытый намек на девятый том «Истории», который продолжал ходить по рукам совершенно свободно и переиздавался вместе с прочими томами с «высочайшего соизволения».

Решительно, не к чему было так торопиться и предпринимать столько усилий, чтобы по секрету от правительства сказать публике, что Карамзин был честным человеком — истину, которую никто не оспаривал.

К чему был весь тонкий дипломатический демарш, призванный ввести в заблуждение Бенкендорфа и Николая I на счет истинного автора статьи? Ни тот, ни другой не могли знать, что под буквой «Н» скрывается Никита Муравьев, а под буквой «М» — Михаил Орлов. Ни критика Муравьева, ни письма Орлова к Вяземскому опубликованы не были; последние распространялись в очень узком кругу. И, конечно, слова «светские люди» навели бы на ложный след августейшего цензора.

Между тем то, что неизвестно было Николаю I, не могло не быть известно цензору «Северных цветов»

К. С. Сербиновичу. Сербинович, помогавший Карамзину в работе над последними томами «Истории», посещавший его почти ежедневно; Сербинович, знавший некоторых участников тайных обществ, был, конечно, в курсе борьбы мнений, развернувшейся вокруг труда Карамзина. Ни «Н», ни «М» не были для него «тайнственными незнакомцами».

Если бы Пушкин хотел скрыть именно это, ему было бы безопаснее отправить отрывок на просмотр Николаю I, даже подписав его полным именем.

Очевидно, что во всем этом был какой-то иной, непонятный нам смысл и что комментарий сказал нам и слишком много, и слишком мало.

Все дело в том, что между 1818 годом — временем, когда происходили описываемые Пушкиным эпизоды, и 1827 годом — когда он обрабатывал окончательно для печати свои записки — пролегла полоса событий, которые наложили свой отпечаток на «отрывок» Пушкина, осветили ретроспективно новым светом его воспоминания и заставили превратить их в животрепещущую острую статью.

Нам придется вспомнить поэтому, что случилось за это время.



Карамзин уходит

Нотой отчуждения окончились отношения Пушкина и Карамзина.

Им больше не пришлось увидеться. В течение шести лет — в Крыму, Одессе, Кишиневе, в штаб-квартире декабристов — в Каменке, потом Михайловском Пушкин узнает о Карамзине из вторых рук, по письмам, по рассказам. Обида, разногласия, конфликт с годами стирались, но не исчезали окончательно.

Тем временем события развивались неумолимо и грозно.

19 ноября 1825 года в Таганроге умирает Александр I.

Вряд ли что-либо могло стать для Карамзина бóльшим потрясением.

Он пережил смерть нескольких детей, он был уже далеко не молод, постоянно болен, изнурен трудом. Теперь он потерял не только друга и собеседника. Все его надежды на осуществление «идеального царствования», весь этот воздушный замок, в который он вложил столько сил умственных и духовных, ради чего он писал свою историю, ради чего многократно шел на спор с монархом, на опалу — одним словом, все его мировоззрение, которое он вкладывал годами в этот сосуд непрочный и недостойный, — лежало в гробу в маленьком южном городке.

Теперь ему оставалось только умереть.

Но он еще находит в себе силы ежедневно бывать во дворце. Он как будто торопится досказать наследникам царствования то, чего он не успел досказать Александру. Он говорит об общем неудовольствии, о том, что он считал ошибками Александра, о мерах, необходимых для государства. Императрица Мария Федоровна слушает его в молчании. Молчит и великий князь Николай Павлович. «Пощадите сердце матери, Николай Михайлович», — произносит, наконец, императрица. — «Ваше величество, я говорю не только матери государя, который скончался, но и матери государя, который готовится царствовать».

Он возвращался домой в лихорадочном, неестественном возбуждении, с красными пятнами на лице; голос его дрожал. «Государыня меня останавливала, как будто я говорил только для осуждения! Я говорил так, потому что любил Александра, люблю отечество и желаю преемнику избежать его ошибок, исправить зло, им невольно причиненное!»⁸¹

Он составлял манифест нового царствования. Манифест исправили.

Было выброшено все, что должно было, по мысли Карамзина, определить характер нового правления: могущество и внешняя безопасность России, государственная и воинская доблесть. И, конечно, просвещение. Просвещение, «мирная свобода жизни гражданской», «правосудие и милосердие человеколюбия». Закон. То, чего не успел исполнить Александр.

Новый монарх не хотел брать на себя излишних обязательств.

Карамзин записал для потомства свой вариант манифеста.

«Один бог знает, каково будет наступившее царствование. <...>

Сыновьям моим благословение, потомству приветствие из гроба!»⁸²

* * *

Александр I более не существовал. Гроб с телом его ждали из Таганрога в Петербург. По завещанию его, престол переходил к младшему брату — Николаю, ибо Константин отказывался, не чувствуя в себе способности к царствованию.

Николай, втайне чувствовавший в себе способность к царствованию, не принимал этой жертвы. Он присягнул брату демонстративно, приглашая придворных сделать то же. Курьеры разносили по России весть о вступлении на престол Константина I.

Между тем Константин I оставался в Варшаве и, видимо, не собирался оттуда уезжать. Во дворце нарастала смутное беспокойство. Распространялись слухи — один другого темнее, один другого фантастичнее.

13 декабря Константин прислал формальный акт отречения. Вечером в государственном совете Николай прочел письмо, в силу которого в знак повиновения воле своих двух братьев объявил себя императором России, царем польским и великим князем финляндским⁸³. Наутро, часов около десяти, во дворец стали съезжаться придворные, чтобы принести присягу в дворцовой церкви. Приехал и Карамзин с детьми.

Вместе с другими он ждал выхода нового императора. Николай не появлялся. Около часу перепуганная придворная челядь принесла известие, что Московский полк взбунтовался, генералы Шеншин и Фредерикс опасно ранены, Милорадович убит. Бунтовщики с войсками стоят в каре на Сенатской площади. Страх нарастал: шептали, что лейб-гренадерский полк и морской экипаж присоединились к повстанцам.

В большой зале дворца, переполненной празднично одетой толпой, стояла мертвая тишина.

Карамзин вышел на Исаакиевскую площадь. Он был настолько близко от мятежных полков, что мог видеть лица и слышать слова команды. Несколько камней упало к его ногам⁸⁴.

Николай, на коне, увещевал мятежников. Он ждал подхода вызванных войск и артиллерии.

Приближалась ночь. Из окон дворца была видна плотная толпа народа; там было какое-то движение. В шестом часу, в сгустившейся темноте, над головами собравшихся на площади людей пронеслись стремительные вспышки огня, и по площади засвистела картечь. Царица упала на колени и подняла руки к небу.

Через час все было кончено. Толпа придворных в большой зале редела. В стороне от общего движения неподвижно сидели три монумента прошедшего царствования — Куракин, Лопухин, граф Аракчеев.

Павловский полк на Галерной расстреливал линейным огнем в упор бегущих мятежников. Конная гвардия рубила устремившихся по набережной к Васильевскому острову. Площадь была залита кровью.

Во дворце служили молебн.

В полночь Карамзин с сыновьями уже бродил по опустевшим улицам города.

Он был убежден, что перст судьбы спас в этот день Россию от безумного и преступного заговора. Новый государь был умен, тверд, исполнен благих намерений. Остальное было в воле провидения.

* * *

Все, что дошло до нас о Карамзине последних месяцев его жизни, заставляет думать, что историограф резко осуждал вооруженное восстание на Сенатской площади. В его письмах звучит сдержанное негодование. Рыцари «Полярной звезды» и их клеветы — безумцы, даже преступники. Так пишет он Дмитриеву, и почти так говорит он молодому Погодину, только что приехавшему в Петербург⁸⁵. Цель мятежников, по его мнению, — отдать Россию власти неизвестной, свергнув законную.

Но если мы вчитаемся в его последние письма, мы уловим, быть может, и иные ноты.

Письма эти — не слишком надежный источник. Историограф никогда не доверялся полностью бумаге. Десятилетиями причастный к государственной деятельности, он привык быть осторожным. Даже своему ближайшему другу — Дмитриеву — он рассказывал в письмах далеко не все. Его излюбленной формой был намек, излюбленным тропом — фигура умолчания. Он вообще был немногословен.

И тем более явственно в его письмах этих дней звучит неуверенность и нарастающее беспокойство. Военный разгром декабрьского выступления был, как оказывалось, лишь первой акцией нового императора. То, что случилось потом, способно было посеять сомнения.

Он был связан с открывшимися заговорщиками теснее, чем ему казалось. Жизнь дома Муравьевых проходила у него на глазах. «Либералист» князь Вяземский был его преданным и любимым другом и родственником. Заговорщиком — важным государственным преступником — оказался и брат второго его друга — Александра Тургенева.

19 декабря — под живым еще впечатлением потрясших его событий — он пишет письмо Дмитриеву. Против своего обыкновения, он рассказывает о пережитом довольно подробно. Он мечет громы и молнии против «рыцарей Полярной звезды» и их «достойных клеветов». Но сквозь раздраженный и резкий тон письма уже прокрадывается человеческое сострадание и философская скорбь. «Катерина Фед<оровна> Муравьева раздирает сердце своею тоскою. Вот нелепая трагедия наших безумных либералистов! Дай бог, чтобы истинных злодеев нашлось между ими не так много!»⁸⁶. Дальше сообщения его становятся все более краткими и конфиденциальными. «Оба рыцаря Полярной Звезды сидят в крепости; скрывается доселе один безумец Кюхельбеккер, или погиб. К нашему сокрушению, оба сына Катерины Фед<оровны> Муравьевой взяты как члены этого законопреступного общества: Никита, то есть старший, был даже одним из начальников. Меньший осужден только на шестимесячное заключение в крепости. Все это между нами».

Одновременно растет отчуждение от двора; он замыкается в своем доме; связи его в Петербурге слабеют⁸⁷. Он все больше тоскует об Александре. 31 декабря он пишет Вяземскому о заговоре в уже более спокойном и менее уверенном тоне. Но самый заговор уже занимает его менее, чем раньше. Он думает о горести и беспокойстве, царящих в семействах арестованных. Как бы случайно он роняет загадочную фразу — продолжение каких-то мыслей, не высказанных вслух: «многие из членов <тайного общества> удостоивали меня своей ненависти, или по крайней мере не любили; а я, кажется, не враг ни отечеству, ни человечеству»⁸⁸. Было ли это упре-

ком «античеловеческому» заговору или признанием благородства целей, которые преследовали «безумные либералисты», — тех целей, которые были и его целями? Скорее все же первое; во всяком случае, при Погодине в это время он повышает голос, говоря о Рылееве и Бестужеве⁸⁹.

Но можно понять и иначе. В его письмах последних лет иногда прорывается затаенная мысль: его обвиняют за недостаточность либерализма; пусть так: он — «либералист» делом, а не словом. За два дня до выступления новый император отверг его проект манифеста; там содержалось обещание «закона», «просвещения», «милосердия человеколюбия». Не приходило ли ему в голову, что он со своим «делом» уходит в ряды оппозиции, умеренных «либералистов»? Кто знает?

Вяземский возражал в не дошедшем до нас письме. Карамзин ответил ему 11 января, умоляя соблюдать осторожность и не вступаться в разговорах «за несчастных преступников, хотя и не равно виновных, но виновных по всемирному и вечному правосудию»⁹⁰. Доводы Вяземского не убедили Карамзина, но, видимо, укрепили его растущие сомнения в злодейских намерениях составших, а может быть, и поколебали его веру в непогрешимость торжествующей власти, которая угрожала теперь и его родным. И все с большей настойчивостью звучит один лейтмотив — отчуждения от двора: «Александра нет: связь и прелесть для меня исчезли»⁹¹. Именно теперь, в январе 1826 года, он произносит перед своими гостями речь о полезных преобразованиях, возможных при просвещенной монархии. «Я враг революций, — заключает он, — но мирные эволюции необходимы. Они всего возможнее в правлении монархическом»⁹².

И то же острое ощущение необходимости перемен — в разговоре со Сперанским в марте 1826 года⁹³.

В это время уже надвигаются первые приступы смертельной болезни. В конце января Карамзин слег и несколько оправился лишь через два месяца.

В марте приехал из Парижа Александр Тургенев. Он просиживал у Карамзиных целые вечера. От него Карамзин узнал, что Николай Тургенев обвинен как один из руководителей общества. Встревоженный Вяземский, до которого дошел этот слух, поспешил отправить Александру письмо за границу, но письмо и адресат разминулись. Вяземский пишет вторично, вечером

20 марта, уже в Петербург. «Зачем ты приехал? <...> Ты попал в атмосферу, где тебе будут советовать иметь за братьев доверенность, а я на твоём месте не имел бы малейшей доверенности». Вяземский уже успел проникнуть в технику работы правительственной «инквизиции». Он прекрасно понимал, что ей больше всего страшны мыслящие и честные люди — «с ними мира не будет» — и боялся особенно за судьбу Орлова и Николая Тургенева. Чем больше он опасался, что Тургенев подпадет под влияние «околдованной» петербургской атмосферы, тем более убежденно-страстным становилось его письмо. Николай не должен приезжать: он поедет в ловушку. «Разумеется, Карамзин и Жуковский лучшие создания Провидения, но увь! и они под колдовством и советы их в таком случае могут быть не совершенно здоровы»⁹⁴.

Но Карамзин уже больше ничего не советовал. На его глазах шли аресты и готовился суд. «А. Тургенев здесь явился, — пишет он Дмитриеву. — Брату его Сергею дозволено остаться в Италии; но Александр Ив. тоскует о Николае. Кончу». И снова: «Александра нет. Все мои отношения переменялись»⁹⁵. Оставалось только уповать на бога. Силы его уходили с каждым днем.

Существует свидетельство, донесенное до нас декабристом Розеном, что в те дни, когда русские газеты и журналы, следуя воле правительства, распространяли слухи о безнравственности, жестокосердии и звероподобии членов тайного общества, один только Карамзин нашел в себе мужество заступиться за осуждаемых, сказав самому Николаю: «Ваше величество! заблуждения и преступления этих молодых людей суть заблуждения и преступления нашего века!»⁹⁶

Это место из поздних мемуаров Розена стоит одиноко в ряду воспоминаний о Карамзине и иногда кажется, что оно — слух, легенда, желаемое, принятое за действительность. Розен не мог слышать этих слов, да и свидетели разговора вряд ли были.

Тем не менее он писал с полной уверенностью, даже не сделав оговорки: «говорят, что...». Добросовестность же и щепетильность его как мемуариста доходила до педантизма.

Он был уверен в источнике своих сведений.

Вероятнее всего, он получил их от жены, Анны Васильевны Малиновской, с которой соединился всего за

полгода до рокового дня 14 декабря. Все семейство Малиновских было близко к Карамзиным; дядя Анны Васильевны был тот самый А. Ф. Малиновский, который снабжал Карамзина архивными материалами для его труда. Молодая жена, подобно Трубецкой и Волконской, последовала за мужем в Сибирь, — могла ли она умолчать о том, что перенесла в дни следствия и суда, и как вели себя ее петербургские знакомые, имевшие вес и положение?

Но самое главное даже не в этом.

Слова Карамзина, переданные Розеном, есть в «Истории государства Российского».

Они — парафраза Цицероновой формулы: «non vitia hominis, sed vitia saeculi» — пороки не человека, но времени, — и отнесены историком к Владимиру Мономаху⁹⁷. В них звучала идея времени, направляющего деяния людей и частью снимающего с них индивидуальную вину. К этой мысли подходил Шекспир в своих исторических хрониках и Пушкин в «Борисе Годунове»⁹⁸.

В трагические дни она прозвучала из уст философа, политика и историка, задумавшегося над причинами — и, быть может, *закономерностью* событий, прошедших на его глазах.

Порочен был век — не люди.

Но самодержец не принял этой идеи — или не понял ее.

* * *

Карамзин уходил в могилу, сохраняя уже не слишком прочные надежды на нового царя-преобразователя.

Ему не суждено было прочитать заключение следственной комиссии, разрушившее столько надежд и иллюзий. Он не успел узнать, что Николай Тургенев приговаривается к смертной казни отсечением головы и что высочайший манифест дарует ему в виде милосердия пожизненную каторгу; что будут предприняты попытки обманным путем заманить его в Россию для расправы; что шестимесячное заключение Муравьева-младшего — это ложное обещание императора, обернувшееся восьмилетней каторгой и вечным поселением в Сибири.

И он не успел при жизни принять участие в том споре о чести и правосудии, который разделил на два лагеря общество после опубликования следственного заключения. Впрочем, он оказался участником этого спора — посмертно.

Карамзин угасал медленно. С конца января он был болен, и час от часу становилось хуже. Сам он часто говорил о смерти, — и все-таки не думал, что она стоит у порога. В марте, с трудом оправившись после тяжелой лихорадки и воспаления легких, он еще надеялся летом выбраться куда-нибудь во Флоренцию, чтобы не зачахнуть в петербургских болотах. Денег на путешествие у него не было; он написал письмо Николаю I. Николай I ответил 6 апреля, обещал фрегат для проезда и прислал деньги. 13 мая последовал указ министру финансов, дабы статскому советнику Карамзину, отъезжающему для излечения за границу, назначена была пенсия по 50 тысяч рублей в год, сохраняемая также за женой и детьми.

Этот жест монаршего благоволения станет затем одним из краеугольных камней официальной биографии Карамзина. Лишь немногие знали, что милость была хлопотана.

«Государь некогда, по представлению моему, успокоил последние дни Карамзина, и тот *заживо* узнал, что жена и дети его на всю их жизнь обеспечены», — проговорился Жуковский в 1845 году⁹⁹.

«Жуковский писал докладную записку и указы о пенсии Карамзина», — сообщал А. Тургенев¹⁰⁰.

Карамзину, конечно, об этом не говорили. Дрожащей рукой он написал благодарственный ответ. «...Благодеяние чрезмерно; никогда скромные мои желания так далеко не простирались... Если сам уже не буду пользоваться плодами такой царской, беспримерной у нас щедрости, то закрою глаза спокойно: судьба моего семейства решена наисчастливейшим образом...»¹⁰¹ Сидя в креслах в саду Таврического дворца, под не гревшим его уже скупым петербургским солнцем, зябко кутаясь в теплый шлафрок, больной говорил о том, что он теперь богат и непременно заведет себе лошадь для целебных прогулок верхом. Друзья его — Тургенев, Жуковский — понимали, что положение безнадежно.

Он прожил еще неделю после получения рескрипта о высочайших милостях.



Судьи и подсудимые

В эпохи общественных потрясений, гипнотизирующих сознание современников, историческое значение происходящих у них на глазах событий бывает порой неясным и затемненным. Лишь из отдаления лет выступает сущность свершившегося. А пока кипят страсти, очевидцы и участники осознают события с их моральной, этической стороны. Происходит переоценка нравственных ценностей. И тогда абстрактные споры о нравственности вдруг перестают быть умозрительными; в них обнаруживается острый политический смысл. Тогда звание «порядочного человека» возрастает в цене: оно не обозначает больше личных качеств; оно присуждается лишь как награда за общественные заслуги.

Таким было время, начавшееся 14 декабря 1825 года. Герцен писал, что общество с воцарением Николая I сразу же стало подавленнее и раболепнее. Это было не совсем так, вернее, не везде так.

В конце 1825 года слова «личная честь» стали понятием политическим.

Это определилось в кабинете Николая I, куда приводили арестованных заговорщиков. На протяжении нескольких дней подряд он слышал от них, что они связаны «честным словом» никого не выдавать¹⁰². Обычная, но теперь с трудом сохраняемая сдержанность в эти минуты изменяла императору, он приходил в ярость, раздражался криком и угрозами. «Вы не имеете понятия о чести!»¹⁰³

Арестованные переучивались трудно; на суде то и дело возникал вопрос о моральной правомочности комитета, где, по странной иронии судьбы, заседали два участника заговора против Павла¹⁰⁴.

Правительство вмешалось в спор официальным указом, причислявшим к «десятому разряду» государственных преступников, осуждаемых на лишение чинов и дворянства и написание в солдаты без выслуги всех тех,

кто знал и не донес о заговоре. А 1 июня вышел другой указ:

«В ознаменование особенного благоволения нашего и признательности к отличному подвигу, оказанному лейб-гвардии драгунского полка прапорщиком Иваном Шервудом против злоумышленников, посягавших на спокойствие, благосостояние государства и на самую жизнь блаженныя памяти государя императора Александра I, всемилостивейше повелеваем к нынешней фамилии его прибавить слово: Верный, и впредь как ему, так и потомству его именоваться Шервуд Верный. Правительствующему Сенату поручаем составить приличный для сей фамилии герб и представить оный к нашему утверждению».

Унтер-офицер Шервуд шестой год служил без расчета на повышение в 3-м Украинском уланском полку. В конце 1823 года он случайно стал свидетелем ссоры декабриста Бяратинского с каким-то поручиком, оскорбившим лакея; в пылу спора Бяратинский бросил: «Недолго таким, как вы, тешиться над равными себе». Шервуд почувствовал нечто неладное, сулившее, однако же, выгоды. Он стал следить; вошел в доверие к декабристу Вадковскому, проник в тайное общество. В июле 1825 года он добился свидания с Александром I и представил ему первые сведения. До ноября месяца он систематически посылал доносы, которые становились все важнее и подробнее. Теперь, после разгрома восстания, его перевели в гвардию и произвели в офицеры. Ныне он получал фамильный герб, освящающий предательство.

Уже много позднее, в конце 40-х годов, «положение о совести» было внесено в официальное «Наставление для образования воспитанников военно-учебных заведений» Якова Ростовцева. «Закон совести, закон *нравственный*, — гласило наставление, — обязателен человеку как правило для его *частной* воли; закон *верховой власти* <...> обязателен ему как правило для его *общественных отношений*»¹⁰⁵. Герцен, не склонный в данном случае вникать в вопросы юридической казуистики, перетолковал эту «полезную сентенцию» в том смысле, что в гражданских отношениях совесть человеку заменяет высшее начальство¹⁰⁶. Ростовцев возмущался и протестовал; защитники же его утверждали, что источник «наставления о совести» — не сам Ростовцев, а «убежде-

ние единодержавного властителя», которое он высказывал неоднократно, лично допрашивая арестованных в декабре 1825 года¹⁰⁷.

* * *

Странный спор ширился, выходил за пределы судилища, охватывал общество. На весах общественного мнения лежали понятия «верноподданный» и «порядочный человек».

Наиболее проницательные из споривших понимали, что дело идет вовсе не о личных или сословных оценках. Речь шла о «цивилизованности» общества, о тех нравственных категориях, которые неизбежно сопутствуют тому или иному уровню его развития.

Через двенадцать лет после описываемых событий Николай Тургенев — один из образованнейших людей этого времени — напишет целую книгу, где попытается определить степень общественного развития России 1825 года по нравственному облику ее деятелей. «Драгоценнейшей чертой истинной цивилизации, — заявит он, — является чувство справедливости, равенства, уважение к жизни и достоинству человека... Именно эти чувства преимущественно отличают истинную цивилизацию от варварства, как бы оно ни было разукрашено и отделано... Всему можно научиться и подражать, кроме этих чувств»¹⁰⁸.

В 1836 году Пушкин в письме к Чаадаеву будет подходить к русскому обществу с мерилom нравственности.

Теперь же, в 1826 году, всеобщее внимание поглощено заключением следственного комитета, проблемой справедливости и правосудия и анализом внутренних побуждений осужденных и судей.

Вовсе не случайно основным пунктом обвинения было покушение на цареубийство. Это был не только пункт кодекса, это был тяжкий моральный иск, предъявляемый дворянину и офицеру, принявшему присягу; иск, который делал обвиняемого злодеем в глазах общества. Ход был выбран верно. Политика состояла в том, чтобы завоевать общественное мнение, осудив членов тайного общества и юридически, и морально.

Поэтому в поздних произведениях декабристов нередко большое место занимает анализ следствия не

только с правовой, но и с нравственной стороны. Достаточно указать на книгу Тургенева и на мемуары Розена.

И совершенно то же мы находим в написанных по горячим следам записках Вяземского. Пока следственный комитет публиковал свои мемории о злодейском умышлении на жизнь обожаемого монарха, князь Вяземский «руками, дрожащими от гнева», писал обвинительное заключение следственному комитету.

Вся сила ненависти, отвращения и сарказма, на которые только был способен этот незаурядный человек, обратилась здесь в единое разящее острие, направленное в судилище и в верховного судью, — императора все-российского — с холодно рассчитанным лицемерием игравшего роль «непричастного лица»...

Заметки Вяземского на долгие годы остались погребенными в его записных книжках. Когда в 1880 году граф С. Д. Шереметев, доверенное лицо Александра III, издавал — ничтожным тиражом — собрание сочинений Вяземского, том с этими записями не был пропущен. Не помогли и придворные связи Шереметева. Крамольные страницы были вырезаны и стали известны лишь в советское время¹⁰⁹.

Весь суд над декабристами оказывается для Вяземского ошибкой против «логики совести». Он решительно отказывает в праве суда «правительству и казенному причту его», той «наемной сволочи», которая кормится злоупотреблениями и от которой-то, собственно, и хотели очистить тело государства молодые, пламенные и честные головы. И напрасно манифест Николая I берет на себя смелость говорить от имени России: это — мнимая Россия, Россия-самозванец, Россия Лопухиных, Ланжеронов и Комаровских. Истинная Россия страданием, ропотом, неудовольствием своим, делом и помышлением, волею и неволею участвовала в этом заговоре чести против бесчестия.

27 июня 1826 года Вяземский откликается на указ о Шервуде: «Двух нравственностей быть не может: частной и народной. Она все одна: могут быть две пользы, два образа суждения относительно истин частных и народных или государственных, — это дело другое! На то у вас и деньги, чтобы кормить государственную нравственность. Но берегитесь жаловать гражданственными венцами и цистеронскими отличиями предателей товарищества, шпионов, доносчиков»¹¹⁰.

Он повторил эту же мысль и много позднее: «Нет ни двух нравственностей, ни двух политик»¹¹¹.

Это будет сказано об общественном и личном поведении екатерининского вельможи.

Теперь же, в 1826 году, было не до исторических аналогий. Моральный суд вершился над вельможами Николая I, на которых дождем сыпались милости после коронации. Ожидали крупных перемен в управлении, но ничто в «атмосфере политической» не возвещало «благодетельного перерождения». Старые фавориты уходили, на место их прочили новых. В Дибиче вызревал новый Аракчеев.

Так обстоит дело с цивилизованностью официальной России.

Что же касается осужденных декабристов, то Вяземский идет прямо к моральному оправданию их дела и не останавливается на полпути.

Он пишет:

«Карамзин говорил гораздо прежде происшествий 14-го и не применяя слов своих к России: *«честному человеку не должно подвергать себя виселице!»* Это аксиома прекрасной, ясной души, исполненной веры к Провидению: но как согласите вы с нею самоотречение мучеников веры или политических мнений? В какой разряд поставите вы тогда Вильгельма Теля, Шарлоту Корде и других им подобных? Дело в том, чтобы определить теперь меру того, что можно и чего не должно *терпеть*. <...>

Сам Карамзин сказал же в 1797 году:

Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?

В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв не вижу ничего.

Жалеть об нем не должно:

Он стоил лютых бед несчастья своего,

Терпя, чего терпеть без подлости не можно.

Какой смысл этого стиха? На нем основываясь, заключаешь, что есть же мера долготерпению народному. Был ли же Карамзин преступен, обнародывая свою мысль, и не совершенно ли она противоречит апофегме, приведенной выше?..

Несчастный Пущин в словах письма своего (Донесение следственной комиссии, 47 стр.): *«Нас по справедливости*

востии назвали бы подлецами, если б мы пропустили нынешний единственный случай» дает знать прямодушно, что, по его мнению, мера долготерпения в России преисполнена и что без подлости нельзя было не воспользоваться пробившим часом»¹¹².

Так потревоженная тень Карамзина вновь выходит на политическую арену. Но это уже не живой, не реальный Карамзин, носитель тех или иных политических суждений — ошибочных, даже реакционных, вызывавших на споры. Это некий моральный арбитр, человек, всегда сохранявший свое «я», свою независимость, свое «особое мнение». Имя его теперь становится для Вяземского синонимом единства «нравственности частной и государственной», которые так разительно столкнулись в реальной действительности. Если бы Карамзин заседал в следственной комиссии, можно было бы рассчитывать на справедливый суд, без этого разгула корыстных страстей, личной мести, клеветнических обвинений¹¹³. Если бы круг приближенных Николая I состоял из людей, подобных Карамзину, уровень общества был бы головой выше.

Так думал Вяземский, так думали и ближайшие его друзья, и если мы теперь думаем иначе, то не будем при этом забывать, что они были людьми своего времени.



Верноподданный его императорского величества

Вяземский был вовсе не единственнм, кто стремился взять Карамзина себе в союзники. Новое правительство делало это с неменьшим упорством (благо оно обладало всеми возможностями) и, как ему казалось, со значительно бóльшими основаниями.

«В минувшую субботу, 22 мая, в два часа пополудни, к глубокому прискорбию всех Россиян, скончался знаменитый наш историограф *Николай Михайлович Карам-*

зин. Для похвалы сего великого мужа довольно сказать, что император Александр удостоивал его своей дружбы, «История государства Российского» есть бессмертный памятник, воздвигнутый им своему царю-благодетелю и России: памятник, которого не сокрушит рука времени!»¹¹⁴

Так начинался один из первых некрологов Карамзину, опубликованный в полуофициальной газете военного ведомства.

Журналисты приносили дань уважения памяти знаменитого историографа.

Московский профессор Каченовский, старинный литературный враг Карамзина, поместил в своем «Вестнике Европы» суховатый, но дельный и достойный по тону очерк, переведенный из «Journal de Saint-Petersbourg», выходившего в Петербурге на французском языке¹¹⁵.

Князь Шаликов, издатель «Дамского журнала», безответный поклонник Карамзина, архаический «Вздыхалов», переживший свое время уже на тридцать лет, напечатал риторически-восторженный монолог, в котором умудрился ничего не сказать об «Истории государства Российского»; в соответствии с назначением своего журнала он отметил, однако, что Карамзин был образцом «превосходнейшего прозаика и очаровательнейшего поэта», «явившего в слогое своем прелесть, пленившую не только питомцев Муз, но и людей светских, но и прекрасный пол»¹¹⁶. Но на Шаликова уже давно никто не смотрел серьезно, и тон задавал не он, а журналисты опытные и умные, улавливавшие конъюнктуру, — такие, например, как издатели «Северной пчелы». Там же появилась большая статья Греча, во многих отношениях весьма примечательная. Но послушаем самого Греча, который начинает с изложения биографии Карамзина.

«В 1803 году пожалован в императорские историографы; в следующем году награжден чином надворного советника; в 1810-м получил орден св. Владимира 3-й степени. В 1812-м пожалован в коллежские советники, а в 1816-м, по поднесении им государю императору Александру Павловичу первых осьми томов «Истории государства Российского», награжден чином статского советника и орденом св. Анны 1-го класса. С того времени поселился он в Санктпетербурге. В 1824 году награжден чином действительного статского советника. Кончина го-

сударя благодетеля поразила благодарного Карамзина жестоким ударом: он впал в изнурительную чахотку».

Чахотка была плодом поэтического воображения издателя «Северной пчелы» и как нельзя лучше согласовалась с политикой¹¹⁷.

Далее Греч рассказывает с подобающим случаю пафосом об известных уже нам благодеяниях Николая I. «Но Карамзин,— так заключает он,— не мог уже сим воспользоваться: известие о кончине императрицы Елисаветы Алексеевны погрузило его в новую скорбь, от которой увеличались болезненные его припадки».

Биограф верен себе — и еще более царствующему дому.

Карамзин был дружен с императрицей, это действительно так — но вот что писал А. И. Тургенев, посещавший больного почти ежедневно:

«Кончина императрицы более тронула, нежели поразила его. Он говорил о ней с чувством умиления, но слабость спасла его от сильного потрясения»¹¹⁸.

Закончим, наконец, чтение биографии. Она сообщит нам, что полученный Карамзиным в последние дни знак монаршей милости «возбудил потухавшую в нем искру жизни, но не надолго»; что, хотя Карамзин и употребил всю свою жизнь на «благородные занятия науками и литературою», «исключительные занятия сии не лишили его наград и выгод, сопряженных с действительною службою»; что «правосудные и великодушные государи награждали его труды и заслуги самым отличным образом: ...он *один* в России имел орден св. Анны 1-го класса в чине статского советника и получил оный вместе с сим чином» — и затем вновь говорится о последней «истинно царской награде, которой он удостоился»¹¹⁹.

Пример, поданный Гречем, не пропал втуне: Павел Петрович Свиньин, издатель «Отечественных записок», сочинявший некогда льстивые мадригалы Аракчееву и удостоенный за то от Вяземского ядовитой эпитаграммы, поместил пышный панегирик, повторил рассказы о «злой чахотке», подробно исчислил милости, не забыв и об ордене св. Анны 1-й степени при чине статского советника... Свиньин пересказывал Греча, но он был много простодушнее издавшего виды, умного и осторожного издателя «Северной пчелы»; имея в виду эту черту простодушия, баснописец Измайлов, вообще не отличавшийся деликатностью в выражениях, называл его «Павлушка Медный

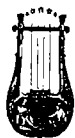
лоб». Поэтому благонамеренность его иногда перехлестывала через край, и сам Греч, вероятно, должен был бы морщиться, читая свою собственную мысль в таком виде: «Карамзин <...> может быть поставлен на вид просвещенному миру и примером, до какой степени в России люди с истинными дарованиями вознаграждаются, достигают почестей и обеспечивают свое благосостояние»¹²⁰.

Но как бы оно ни было выражено, лучше ли, хуже ли, из некрологов явствовало одно: 22 мая 1826 года Россия лишилась одного из великих мужей государственных, идеального верноподданного, друга царствующего дома, чьи заслуги были по достоинству оценены и вознаграждены. К тому же незабвенный историограф был еще и нравственным эталоном, и имя его отныне долго будет произноситься с дрожью официального умиления в голосе. Это имя приводилось в пример Вяземскому — вольнодумному шурина «того, кто был <...> почти совершенным, потому что в этом дольном мире нет полного совершенства»¹²¹. Оно возникло и одиннадцатью годами позже, когда Пушкин лежал на своем последнем одре и Жуковский обратился к Николаю I с просьбой оказать усопшему почести такие же, как Карамзину. Николай I ответил отказом. Пушкина нельзя было сравнить с Карамзиным: Карамзин был «человек почти святой» и «умирал как ангел»¹²².

Это была канонизация. Черты живого человека складывались в иконописный лик ангела-хранителя монархической России.

После смерти Карамзина повелением Николая I был выбит барельеф. Одна из групп его изображала молодого римлянина в тоге, читающего свиток полуобнаженному римлянину, восседающему на троне на фоне герба Российской империи. Вторая группа представляла читавшего римлянина уже в пожилом возрасте, на ложе, окруженного эпически спокойными родными, в присутствии Немезиды, осыпающей его младенца благами из рога изобилия¹²³.

Так была проиллюстрирована легенда о Карамзине.



Карамзин возвращается

Вносить диссонанс в этот хор официозных голосов было крайне рискованно. «В развернувшейся кампании, — справедливо замечает современный исследователь, говоря о писателях пушкинского круга, — никто не хотел ни оказаться верноподданным, ни (что было весьма опасно) выглядеть оппозиционером»¹²⁴. Мысль о жизнеописании или хотя бы о некрологе, достойном памяти Карамзина, вызревала у Вяземского, Жуковского, Александра Тургенева¹²⁵; но они принуждены были молчать, если не хотели выравнять свою речь над свежей еще могилой по камертону официальных славословий. Они и молчали, и горько упрекали себя за это. Пушкин писал из Михайловского: «Читая в журналах статьи о смерти Карамзина, бешусь. Как они холодны, глупы и низки. Неужто ни одна русская душа не принесет достойной дани его памяти?»¹²⁶ Он требует этой «дани» от Вяземского. Но Вяземский отказывается: для биографии рано, для журнальной статьи поздно. Лишь в 1827 году в «Московском телеграфе» он напечатал анонимно отрывок из письма А. И. Тургенева под вызывающим названием «О Карамзине и молчании о нем литературы нашей...» «Ты прав, — так начинал Тургенев, — негодование твое справедливо. Вот уже скоро год, как не стало Карамзина и никто не напомнил русским, чем он был для них»¹²⁷.

Это была глухая оппозиция правительственному канону. Шла борьба за Карамзина, и борьба, насыщенная глубоким общественным смыслом. На стороне Вяземского, Тургенева и Пушкина не было никого, а против — все, не исключая даже некоторых весьма почитаемых людей из числа друзей Карамзина; И. И. Дмитриев писал, например, что он «полюбил Греча за некрологию» в «Северной пчеле»: «хорошо и справедливо»¹²⁸. При всем неподдельном уважении к Дмитриеву молодые друзья Карамзина не считали взгляд Греча ни «хорошим», ни

«справедливым»: у них было свое мнение об историографе. Скорее всего, они не знали отзыва Дмитриева; да если бы даже и знали — Дмитриев жил в Москве и много лет общался с другом ранней юности только через почту; Дмитриев был стар и чиновен и со снисходительным любопытством наблюдателя следил за потоком политической жизни; Дмитриев, наконец, был все же Дмитриев, а не Карамзин. И когда Греч через два года вновь напечатал статью о Карамзине — уже в «Северных цветах» — А. И. Тургенев написал брату, политическому изгнаннику:

«Вчера еще раз писал к Жук<овскому>, послал ему замечания на статью Греча о Карамзине в Северных цветах на 1828 год: что-то такое рабское и писателя недостойное. На счет истины делают фразы, напр., что милость государя на минуту возбудила его к жизни, — тогда как он принял ее с негодованием на чрезмерность пенсии, — и беспрестанно твердят о 3-м Влад<имире> и о том, что один он имел в чине ст<атского> сов<етника> анненскую ленту!»¹²⁹

Так альманах Дельвига «Северные цветы» становится ареной борьбы. 31 июля Пушкин предупреждал Дельвига, чтобы он не печатал статью Булгарина «Встреча с Карамзиным (из литературных воспоминаний)»: «Наше молчание о Карамзине и так неприлично; не Булгарину прерывать его. Это было б еще неприличнее»¹³⁰.

Дельвиг готов был отказать Булгарину, — но здесь требовалось дипломатическое искусство. Отношения с издателями «Северной пчелы» в это время у него были вполне лояльны, а очерк был даже и не без достоинств. Статья же о Карамзине была ему крайне нужна: «Северные цветы на 1828 год» были первой книжкой альманаха, собиравшейся после смерти историографа, и, быть может, последней возможностью почтить его память.

Он делает единственное, что можно было сделать: обращается к Гречу с просьбой переделать для альманаха некрологию, напечатанную уже в «Северной пчеле»¹³¹.

Этикет был соблюден. Булгарин отдал свои мемуары в «Альбом северных муз».

Статья Греча «О жизни и сочинениях Карамзина» была получена в конце ноября. 25 ноября Сомов оставляет цензору Сербиновичу записку: «Если Вы имеете досуг просмотреть нынешним утром прилагаемые статьи или, по крайней мере, важнейшую из них — «О жизни и сочи-

нениях Карамзина», — то покорнейше прошу сделать мне одолжение сие; ибо типография требует пищи»¹³². Печатать альманах приходилось спешно. Тогда Пушкин, видимо, и решил дополнить и отчасти нейтрализовать официальную биографию своими отрывками «из неизданных записок», избежав цензуры Николая I, которая задержала бы статью надолго, а может быть, не пропустила бы вовсе. 30 ноября Сомов привозит Сербиновичу пушкинские «отрывки», не застаёт его дома и на следующий день отправляет ему то загадочное письмо, с которого мы начали свое повествование. При этом он очень торопит Сербиновича: «Если бы можно было все упомянутые статьи или хотя «Мысли» получить сегодня; ибо типография ожидает, а время сближается»¹³³.

Сербинович пропустил эту статью, хотя она говорила о людях и событиях, о которых нельзя было говорить прямо. Но, как мы уже заметили, имена были тщательно зашифрованы, рассказанные Пушкиным эпизоды в публичке были известны мало, да и самая статья как будто терялась среди прочих «отрывков и замечаний». Видимо, цензор рассудил, что «соблазна» быть не может, или просто поспешил, уступая просьбам Сомова.

Цензор не знал, что автор статьи — Пушкин. Знай он это, он отнесся бы к ней внимательнее. Но если бы об этом знал Бенкендорф или, тем более, Николай I, вовсе не прочитавший статью, они, без сомнения, обнаружили бы в ней некие скрытые оттенки смысла, о которых Сербинович не мог и подозревать.

Пушкин сам указал на этот подтекст своей статьи. В письме Вяземскому, том самом, где он предлагал своему другу заняться биографией Карамзина, он написал: «...скажи *все*; для этого должно тебе иногда употребить то красноречие, которое определяет Гальяни в письме о цензуре»¹³⁴.

«Письмо о цензуре» — это письмо к мадам Эпинэ от 24 сентября 1774 года, в котором скептический аббат замечал: «Знаете ли Вы мое определение того, что такое высшее ораторское искусство? Это — искусство сказать все, — и не попасть в Бастилию в стране, где не разрешается говорить ничего»¹³⁵. Заметим попутно, что за скрытой цитатой из Гальяни стоит сложный ход ассоциаций, вновь ведущий к разговорам у Карамзина: историограф с увлечением читал Гальяни в 1818 году и обращал внимание как раз на это письмо, как будто прямо отно-

сившееся к его работе над девятым томом¹³⁶. Пушкин — постоянный посетитель Карамзиных — наблюдал за мучительным рождением истории Грозного.

Емкая формула «подвиг честного человека» вобрала в себя и воспоминание о внутренней борьбе и сомнениях Карамзина — о «цензуре совести».

Так вставал перед Пушкиным живой Карамзин, сумевший сохранить себя и при дворе, вернее, вопреки двору. Некрологи, посвященные ему журналистами, конечно, были «холодны и низки» — в них говорилось о «придворном историографе», а как раз эту легенду, которую так настойчиво пропагандировали с легкой руки царствующих особ, нужно было отвергнуть решительно. Никто — даже убежденные враги Карамзина — не мог обвинить его в искательстве. «Мне гадки лакеи, и низкие честолюбцы и низкие корыстолюбцы, — писал он Дмитрию тогда же, 11 сентября 1818 года, и конечно, Пушкин не раз слышал нечто подобное. — Двор не возвысит меня. Люблю только любить государя. К нему не лезу и не полезу»¹³⁷. И Пушкин в маленькой заметке о Карамзине, которую он набрасывает почти одновременно с письмом Вяземскому — в 1826 году, — рассказывает характерный эпизод: отправляясь на прием в Павловск к вдовствующей императрице Марии Федоровне, Карамзин надевает свою новопожалованную анненскую ленту — ту самую, которая занимала столь важное место в официальных некрологиях. «...Он посмотрел на меня наискось и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались...»¹³⁸

Сохранились два высказывания Пушкина о Карамзине, относящиеся к 1828 году. Их передают разные люди, слышавшие их в разное время, — и вместе с тем они удивительно похожи одно на другое. Кажется, что Пушкиным владеет одна мысль, когда он вспоминает об историографе.

Историк Погодин записывает в дневнике 8 декабря 1828 года беседу с Пушкиным:

«Гов<орили?> о Кар<амзине>. — «Летописатель 19 столетия. Я вижу в нем то же простодушие, искренность, честность. <...> Чинов не означал, а можем ли мы познакомить с нынеш<ней> Россией, например, не растолковавши, кто такие Д<ействительный> Т<айный> Сов<етник> и Кол<лежский> Рег<истра>»¹³⁹.

Литературный и личный враг Погодина, Ксенофонт Полевой вспоминает рассказ Пушкина о Карамзине.

К историографу съезжались гости, беспрестанно мешавшие ему поговорить с Пушкиным. Как нарочно, все это были сенаторы. Проводивши последнего из них, Карамзин обратился к Пушкину: «Заметили ли вы, что из всех этих господ ни один не принадлежит к хорошему обществу?» «Пушкин вообще любил повторять изречения или апофегмы Карамзина, — добавляет Полевой, — потому что питал к нему уважение безграничное. Историограф был для него не только великий писатель, но и мудрец, — человек высокий, как выражался он»¹⁴⁰.

Так слетали с изображения «чуждые краски» «идеального верноподданного» и высвобождался облик человека честного и частного, без казенной печати двора его императорского величества.

Николай I не любил частных людей, употребляющих свое время на праздные размышления. Он говорил своим офицерам: «Займитесь службою, а не философией: я философов терпеть не могу; я всех философов в чахотку вгоню»¹⁴¹. Стремление «вогнуть философов в чахотку» не пропадало, но где-то тлело в глубинах сознания уже и после того, как он стал императором. Неизвестно было, к чему ведут кабинетные размышления этих людей, имеющих слишком много досуга и остающихся вне досягаемости непосредственного начальства; никогда нельзя было поручиться, что они удовлетворятся простым философским созерцанием. Отказ от службы — Николай I знал это — часто был формой оппозиции; он перестал подозревать Вяземского в противоправительственных кознях лишь после того, как тот стал служить и недвусмысленно грозил Пушкину опалой, когда поэт просил отставки в 1835 году.

Пушкин в это время тоже был историографом, как и Карамзин; но занятия историей не были для Николая основанием нигде не числиться. Карамзин же, к слову сказать, был здесь дурным примером, дважды отказавшись от губернаторской должности, якобы мешавшей ему писать историю. Праздность влекла за собою крамолу; императору предстояло вновь убедиться в этом на примере Чаадаева в 1836 году.

Но стремление к личной независимости, которую так настойчиво подчеркивали в Карамзине Пушкин и его друзья в ущерб легенде об «идеальном верноподданном»,

имело прямое отношение и к поведению — личному и общественному — самого Пушкина.

* * *

8 сентября 1826 года наступил конец его шестилетней ссылки. Долгожданная свобода, столь страстно желаемая, была получена им из рук Николая I во время беседы в Чудовском дворце в Москве, куда Пушкина доставил фельдъегерь — покрытого пылью, в дорожном костюме. Беседа шла два часа с глазу на глаз. Новый царь освободил поэта от ссылки и стеснительной цензуры. «Я сам буду твоим цензором». 30 сентября Бенкендорф отправил Пушкину письменное подтверждение этих обещаний. «Сочинений Ваших никто рассматривать не будет; на них нет никакой цензуры: государь император сам будет и первым ценителем произведений Ваших и цензором»¹⁴².

Пушкин принял дарованную ему свободу и милость, еще не осознавая всей тяжести ожидавшей его судьбы. Впрочем, у него не было иного выхода.

Ему было очевидно, что 14 декабря на Сенатской площади совершилась историческая трагедия, на которую нужно было взглянуть взглядом Шекспира. Когда он писал о «необъятной силе правительства, основанной на силе вещей», — это была истина. 14 декабря обнаружили себя и вышли на поверхность подспудно действовавшие неумолимые и непреодолимые законы движения общества, законы истории. Как бы ни сочувствовал Пушкин «друзьям, товарищам, братьям», погибшим в этом горниле, — а сочувствия своего к ним он никогда не скрывал, и прямо сказал об этом Николаю, — разгром восстания был неоспорим и мало того — исторически неизбежен.

Оставшимся — тем, кто, как его Арион, был выброшен на берег волною, поглотившей остальных, — предстояло жить и действовать. Как — вот в этом был вопрос, и он возникал и для Пушкина, и для Вяземского, тоже «подозрительного», тоже преисполненного отвращения ко всеобщему разгулу низменных страстей, которых уже не скрывали и не стыдились победители, тоже проникнутого почти благоговейным сочувствием к осужденным. Пушкина и Вяземского многое сближало в это время; неудивительно, что в первые же дни своего приезда в Москву Пушкин бросается искать Вяземского — всюду,

в доме его в Грузинах (что на подворье Кологривова, где была вотчина его жены в цыганском предместье Москвы), в номерной бане... В самом деле, им было о чем поговорить.

Вяземский писал Жуковскому 29 сентября: «Говорят, что государь умен и славлюбив; вот две пружины, на которые благонамеренные и честные люди могут действовать с успехом. А чего от него требовать, когда благонамеренные и честные люди оставляют его на съедение глупцам и бездельникам, а сами стоят по углам с пальцами по квартирам и говорят: не наше дело!»¹⁴³

Здесь целая программа, сформулированная по горячим следам встреч и длительных бесед с Пушкиным. И, конечно, не только программа для Жуковского, но и для Вяземского, и для Пушкина.

И еще одна фраза останавливает наше внимание в этом письме: «По смерти Карамзина ты призван быть представителем и предстателем русской грамоты у трона безграмотного. Не шучу. Равнодушие твое в таких случаях было бы малодушием»¹⁴⁴.

Судьба и власть привели Пушкина, как и Жуковского, в соприкосновение с двором. Мог ли он, не обвиняя себя в малодушии, отказаться предстательствовать за русскую грамоту?

Этого требовал долг порядочного человека. Крест был тяжел, но отказаться от него было бы равносильно позорному бегству, моральной капитуляции, бесчестию. «Честный человек» было понятие общественное.

* * *

Тень Карамзина — прежнего предстателя за русское просвещение перед тронem — становится рядом с Пушкиным — нынешним. И теперь для него оказываются важными не столько общественные взгляды Карамзина, сколько его общественное поведение. Историограф воскресает в новом обличье. Пушкин начинает с того, чем кончил Карамзин, — с требования «милосердия человеколюбия», как будто подхватывая те слова, которые Николай I вычеркнул из проекта манифеста, составленного покойным историографом. Он лишет «Стансы», призывая царя к незлобию памяти. Теперь эти слова имели особый смысл. Пушкин просил о смягчении участи сосланных «друзей, товарищей, братьев».

От него требовали вовсе не этого. Ему предлагали

заняться предметом о воспитании юношества — ибо он ныне был «императорским Пушкиным», прощенным и благодетельствованным, — а раньше «на опыте» видел «совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания»¹⁴⁵.

Пушкин уезжает в Михайловское писать свою записку «О народном воспитании» и перечитывает там написанные «листы о Карамзине», — из записок, которые он хотел послать Вяземскому для опубликования, но не послал. Однако он готовил их к напечатанию и, может быть, перерабатывал.

15 ноября он заканчивает свою записку о воспитании. Бенкендорф, получив ее, препровождает Николаю I. Бенкендорф доволен: записка — в официально-благонамеренном духе. «Заметки человека, возвращающегося к здравому смыслу».

Но Бенкендорф был человеком поверхностным и не слишком умным. Николай I был много основательнее. Вообще он обладал качествами более чем среднего самодержца всероссийского: был умен, тверд, холоден, жесток, в меру циничен и малообразован, что тоже было немаловажно. Образование ослабляло решительность и сеяло сомнения и колебания.

В ответ Бенкендорфу Николай I написал: «Посмотрю, что это такое»¹⁴⁶.

Посмотрев, Николай I поставил на полях записки сорок вопросительных и один восклицательный знак. Раздражение его нарастало по мере чтения. Сочинитель записки проповедовал просвещение, не только не заботясь о том, чтобы оно просвещение служило высшей власти, но и прямо идя вразрез с ее недвусмысленно выраженной волей. Дело дошло до того, что он предлагал преподавание «высших политических наук» и курса истории прагматического — без «нравственных и политических рассуждений». Все это очень напоминало идеи «друзей» Николая по 14 декабря, которых сочинитель осуждал в записке вполне отвлеченно, а одного из главных злоумышленников, Николая Тургенева, именовал истинно просвещенным. Такое просвещение вовсе не было нужно и крайне неуместно.

«Можно будет, — писал Пушкин, и неизвестно чему нужно было удивляться — наивности или дерзости суждений, — с хладнокровием показать разницу духа народов, источника нужд и требований государственных; не

хитрить, не искажать республиканских рассуждений, не позорить убийства Кесаря, превознесенного 2000-ми лет, но представить Брута защитником и мстителем коренных постановлений отечества, а Кесаря честолюбивым возмутителем.

Вообще не должно, чтоб республиканские идеи изумили воспитанников при вступлении в свет и имели для них прелесть новизны¹⁴⁷.

Здесь Николай I поставил пять вопросительных знаков; три — против фразы о «духе народов».

Если «дух народов» — источник нужд и требований государственных, то и самая разность правлений — и ложность конституций европейских, и пагубное безначалие республик — имеют в нем свое оправдание.

Подобное вредное умствование не могло быть терпимо в государстве самодержавном¹⁴⁸.

№ 163

23 декабря 1826.

Его высокоб<лагородию> А. С. Пушкину.

Милостивый государь Александр Сергеевич!

Государь император с удовольствием изволил читать рассуждения Ваши о народном воспитании и поручил мне изъявить Вам высочайшую свою признательность.

Его величество при сем заметить изволил, что принятое Вами правило, будто бы просвещение и гений служат исключительным основанием совершенству, есть правило опасное для общего спокойствия, завлекшее Вас самих на край пропасти и повергшее в оную толикое число молодых людей. Нравственность, прилежное служение, усердие предпочесть должно просвещению неопытному, безнравственному и бесполезному. На сих-то началах должно быть основано благонаправленное воспитание. Впрочем, рассуждения Ваши заключают в себе много полезных истин.

С отличным уважением честь имею быть
Вашим покорным слугой
покорнейшей слуга
А. Бенкендорф¹⁴⁹.

Пушкин предвидел, что ему «вымоют голову». Ему было ясно, что правительство требует безусловной капитуляции просвещения перед «усердием и служением» и что указ о Шервуде — декларация нравственности в

понимании верховной власти. Но он оставлял за собой право не понимать предъявленных ему требований. 16 сентября 1827 года в разговоре с Вульфом он скажет: «Мне бы легко было написать то, чего хотели, но не надобно же пропускать такого случая, чтоб сделать добро»¹⁵⁰. А в следующем году он подаст Николаю I стихотворение «Друзьям», где напишет, защищая себя от упреков в лести:

Я льстец! Нет, братья, льстец лукав:
Он горе на царя назовет,
Он из его державных прав
Одну лишь милость ограничит.
Он скажет: презирай народ.
Гнети природы голос нежный!
Он скажет: просвещения плод —
Разврат и некий дух мятежный!

Под покровом похвалы царю продолжится спор о просвещении и милосердии — мало того, он приобретет почти памфлетную форму. А в конце зазвучат угрожающие интонации ветхозаветных пророков-обличителей:

Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.

«Достойно вести себя, когда судьба благоприятствует, труднее, чем когда она враждебна», — говорил Ларошфуко.

Пушкин измерял теперь на собственном опыте глубину этой «апофегмы».

* * *

Тень Карамзина продолжала сопутствовать Пушкину.

В записке «О народном воспитании» отразились некоторые из его излюбленных идей, уходящих глубоко в просветительство XVIII столетия.

Николай I не знал, что он отметил тремя вопросительными знаками, как наиболее «опасную для всеобщего спокойствия», одну из идей Карамзина, пересказанную Пушкиным.

Не случайно в пушкинской записке имя Карамзина всплывает сразу же после этих цитированных нами строк. «Историю русскую должно будет преподавать

по Карамзину. «История государства Российского» есть не только произведение великого писателя, но и подвиг честного человека»¹⁵¹.

Так впервые выходит на поверхность формула, которая станет в центре «Отрывков из писем, мыслей и замечаний».

Пушкин не сам придумал эту формулу.

Как и цитата из письма Гальяни о цензуре, она была хорошо известна в кругу Карамзина; за ней стояли факты и события, которые давали ей расширительный и глубокий смысл.

Осенью 1820 года, когда русские и иностранные журналы были полны откликами на первые 8 томов «Истории государства Российского», вышедшие к тому времени уже в нескольких иностранных переводах, Карамзин писал в Москву И. И. Дмитриеву:

«Знаешь ли, что я, читав равнодушно десять или двадцать благоприятных отзывов, Французских, Немецких, Итальянских, был тронут статьею Монитёра о моей Истории? Этот Академик посмотрел ко мне в душу: я услышал какой-то глухой голос потомства. Но... shut!»¹⁵²

«Глухой голос потомства» Карамзин услышал в маленькой анонимной заметке, где содержались следующие слова:

Автор представляет обширную картину своего отечества, от глубокой древности до нашего времени. Его размышления, всегда основательные, продиктованы здравой философией и беспристрастием, его стиль серьезен, выдержан и одушевлен каким-то духом чистосердечия, *национальности* (если позволительно так выразиться), который показывает в историке не только ученого, но в первую очередь честного человека (*l'honnête homme avant le savant*)»¹⁵³.

Пушкин не сразу нашел определение «Истории государства Российского». «Вечный памятник», «алтарь спасения, воздвигнутый русскому народу», — написал он вначале¹⁵⁴. Это была выпяченная риторика, он ее отверг и нашел для официальной записки формулу, в которой для него, как ранее для самого Карамзина, заключался особый, сокровенный смысл.

В «Отрывках из писем, мыслях и замечаниях» он повторил ее еще раз.

Если бы «Отрывки» попали на просмотр Николаю I,

он мог бы почувствовать, что между ними и запиской, за которую он год назад «вымыл голову» Пушкину, существует некая внутренняя связь.



Вослед Карамзину

Если мы откроем альманах «Северные цветы» на страницах 208—226, мы обнаружим неподписанное пушкинское произведение под названием «Отрывки из писем, мысли и замечания», а в нем — сокращенный и переделанный «отрывок из неизданных записок», в полном своем виде именуемый условно «Воспоминания о Карамзине».

Этот отрывок хотел Пушкин издать в ноябре 1826 года, чтобы противопоставить официозной легенде живого Карамзина — таким, каким понимали его он сам, Пушкин, Вяземский, Жуковский, Александр Тургенев. Он начал готовить мемуары к печати, но оставил, не видя в них ничего достойного опубликования или не веря, что их пропустят. Но за год произошли события, которые требовали немедленного, крайне срочного отклика. Пушкин печатает свои воспоминания с риском для себя, хорошо рассчитанным ходом обойдя высочайшую цензуру.

Отрывок содержал воспоминания о 1818 и ближайших за ним годах — времени, когда сам Пушкин вместе с «молодыми якобинцами» выступил против монархической идеи Карамзина. Он рассказывал читателям о нескольких произведениях, «презревших печать», в которых билась и трепетала мысль нескольких людей, ныне «странствовавших далече» — мысль, полная иронии и гражданского одушевления. Пушкин с уважением вспомнил об этих людях — умных и пылких — и имел мужество сказать об этом в печати.

Но Пушкин и спорил с ними, — и тем самым спорил с собой — тогдашним, девятнадцатилетним, напитанным идеями декабризма. Он спорил страстно и убежденно, так, что историческая точность его воспоминаний отсту-

пала на задний план, и мемуары переставали быть мемуарами, превращаясь в современную животрепещущую статью.

В этой статье есть своя, очень определенная и ясная логика мысли. Во имя этой логики Пушкин исключает из печатного текста то, что занимало основное место в спорах 1818—1820-х годов, что отразилось и в рукописных «неизданных записках». В отрывке в «Северных цветах» отсутствует всякая оценка политических и исторических взглядов Карамзина. Если бы она была главным для Пушкина, то напечатание отрывка, лишенного центральной идеи, было бы бессмысленным.

Но главным было теперь не это, ибо вопрос об уничтожении самодержавия в России после разгрома декабрьского восстания на какое-то время перестал существовать.

Главным становился вопрос об общественной позиции писателя, ученого, политика. О его нравственном облике, о его социальном поведении.

Это занимало Пушкина и его друзей и было для них неотделимо от понятий «общественное мнение», «развитие общества», «цивилизация» — как позже будет писать об этом Николай Тургенев.

Не было ни двух нравственностей, ни двух политик. Она была одна, они были одно. Нравственность была политикой, политика — нравственностью. Деспотизм был безнравственностью. Закон совести мог быть оправданием декабрьского выступления, именем этого закона читался обвинительный приговор клеветам правительства.

И в этой сфере моральных категорий, перестававших быть абстракцией, соединялись имена прежних врагов политических — декабристов и Карамзина. К ним добавлялось теперь имя Пушкина.

Имя Карамзина становилось символом, обозначением общественной позиции, краеугольным камнем которой было просвещение, закон, правосудие, — нравственность декабристов, а не Шервуда и не правительства, пожаловавшего ему герб.

«Подвиг честного человека» — обозначал и «верную картину» в истории, и борьбу Карамзина против неблагоприятствующих внешних обстоятельств, и тяжкую победу над собственными сомнениями и влечениями, и наконец, независимость от властей предрержащих, от временных вкусов публики, от хулений и от похвал.

Это стоило названия «подвига» и заслуживало быть почтенным той единственной похвалой, которую покойный историограф считал своей высшей наградой, — словом «честность».

И если еще год назад Пушкин не хотел печатать свои «записки», то теперь дело было иное. Судьба Карамзина имела разительно много общего с его собственной — судьбой «честного человека», взявшего на себя тяжелую миссию передового бойца на форпостах русского просвещения, «предстателя за грамоту у трона безграмотного».

Пушкин ставил памятник своему предшественнику на этом посту — как и он, вынужденному печатать свои труды в «России, государстве самодержавном», как и он, освобожденному от цензуры и связанному по рукам и ногам обязательствами «всевозможной скромности и умеренности», как и он, сохранявшему свои взгляды при благоприятных и неблагоприятных оборотах судьбы.

И подобно Карамзину, он готов был принять равнодушно хвалу и клевету — кроме той, которая исходила от его прежних единомышленников, обвинявших его теперь тоже в «царедворной подлости». Ходили слухи, что стихи свои царю он писал по заказу в четверть часа¹⁵⁵, что стансы «Друзьям» — «дрянь», которой «никого не выхвалишь, никому не польстишь»¹⁵⁶. Это писал уважаемый им Языков. Кончалось все чьей-то грубой эпиграммой:

Я прежде вольность проповедал,
Царей с народом звал на суд,
Но только царских щей отведал
И стал придворный лизоблюд¹⁵⁷.

Эти эпиграммы и слухи, конечно, тоже вставляли перед Пушкиным, когда он защищал Карамзина от декабристов и поверял его моралью моралью «честных людей», принявших смерть и каторгу за свои убеждения. Мораль была одна.

Пушкин — автор «Стансов», автор записки «О народном воспитании», автор «Отрывков из писем...» следовал по избранному им тернистому пути, продолжая свой «подвиг честного человека».

Прошло девять лет.

За это время случилось многое — была «Литературная газета», запрещенная в 1830 году за четверостишие об Июльской революции в Париже, был журнал «Европеец», прекращенный после второго номера за статью о европейском просвещении... И газета политическая, которую Николай разрешил Пушкину, а потом взял назад разрешение, и «Медный всадник», не пропущенный высочайшей цензурой, и многое другое, о чем Пушкин мельком и сухо скажет в своем дневнике, пространнее — в письмах, и с потрясающей силой — в стихотворении «Из Пиндемонти»:

...никому
Отчета не давать; себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи...
...Вот счастье! вот права!..

Но борьба не была кончена, и то, что лишь намечалось в конце 20-х годов, теперь разворачивалось на страницах издаваемого Пушкиным журнала «Современник».

Тень Карамзина продолжала сопутствовать Пушкину.

В 1835 году обнаруживается «Записка о древней и новой России». История этого произведения Карамзина была полна для Пушкина особым смыслом.

Двадцать пять лет назад, в ноябре 1810 года, историограф, едва знакомый лично с императором Александром, был в Твери и посетил жившую там в своей резиденции великую княгиню Екатерину Павловну, супругу принца Георгия Ольденбургского, генерал-губернатора тверского, новгородского и ярославского. Она занималась политикой и литературой и на сочинениях Карамзина училась русскому слогу.

Карамзин охотно говорил с княгиней о положении в России, ибо находил в ней благожелательного слушателя. Он порицал многое; консерватор по убеждениям, он не сочувствовал некоторым проектам царя — они казались ему слишком либеральными, а главное опрометчивыми. Великая княгиня соглашалась с ним. Суждения ее, как обычно, были резки и определены. В первое же свидание с Карамзиным она просила его изложить свои мысли на бумаге.

Записка была готова в начале 1811 года, и Карамзин взял с собою в Тверь единственный экземпляр своего труда; о нем никто не знал, кроме жены историографа, Екатерины Андреевны, своеручно переписавшей его от доски до доски. В первой половине февраля Карамзин уже читал с великой княгиней рукопись, а по окончании чтения Екатерина Павловна спрятала записку в бюро. Карамзин не успел возразить; он слышал лишь, как сухо щелкнул замок.

В марте в Тверь приехал Александр I; к этому времени был приглашен и Карамзин. Он читал главы из «Истории», а 17 марта, накануне своего отъезда, император получил в руки записку с твердой и решительной критикой его либеральных начинаний, с прямодушной и смелой оценкой предшествующих царствований — Павла и Екатерины.

Царь читал записку весь вечер, а на следующий день уехал. В день отъезда он не замечал историографа и отправился в путь не простившись. Перед Карамзиным встал призрак опалы.

Это было тем более опасно, что за полгода до этого, в августе 1810 года, попечитель Московского учебного округа Голенищев-Кутузов отправил новому министру просвещения А. К. Разумовскому донос на Карамзина, где указывал, что историограф «целит не менее как в Сиесы или в первые консулы», о чем все в Москве знают. А в феврале 1811 года, за месяц до встречи с Карамзиным, Александр получил другой донос — более серьезный — о том, что историограф якобы имел связь с французским шпионом, неким шевалье де Месанс, незадолго до этого побывавшим в Москве. О доносах этих Карамзин знал, — в частности, от Дмитриева, — и мог оценить трудность своего положения.

Тем не менее он пишет записку, поставив к ней эпиграф из псалма: «Несть лъсти в языке моем», а Екатерина Павловна подает ее Александру.

Карамзин уезжал из Твери в неизвестности, поставив под удар свою собственную судьбу и судьбу своей «Истории». Он вернулся в Москву и сел за изучение материалов об Иване Грозном — будущий девятый том «Истории».

Когда через пять лет он приехал в Петербург, чтобы печатать уже готовые тома своего труда, началась та мрачная полоса его жизни, которую он назвал своей

«пятидесятницей». Он оставался в Петербурге почти два месяца, не принимаемый царем, пренебреженный, дрожа от оскорбления и негодования, которого не скрывал ни от кого. Он просит разрешения вернуться в Москву; его не отпускают. Наконец, искусс кончается; его принимают и жалуют анненскую ленту¹⁵⁸.

* * *

Пушкин вставляет упоминание об этом эпизоде в статью «Российская Академия», напечатанную во втором томе «Современника».

Он пользуется удобным случаем: в заседании академии 18 января престарелый адмирал Шишков читал статью «Нечто о Карамзине». Шишков рассказывал, как в Твери в 1811 году Карамзин читал Александру и Екатерине Павловне отрывки из своей Истории, и они осыпали его «ласками и похвалами»¹⁵⁹.

«Пребывание Карамзина в Твери, — пишет Пушкин, — ознаменовано еще одним обстоятельством, важным для друзей его славной памяти, неизвестным еще для современников. По вызову государыни великой княгини, женщины с умом необыкновенно возвышенным, Карамзин написал свои мысли *о древней и новой России*, со всею искренностью прекрасной души, со всею смелостью убеждения сильного и глубокого. Государь прочел эти красноречивые страницы... прочел и остался по-прежнему милостив и благосклонен к прямодушному своему подданному. Когда-нибудь потомство оценит и величие государя и благородство патриота...»¹⁶⁰

Вот и все. Нет ни намека на монархизм Карамзина и «либеральность» Александра I. Но есть недвусмысленный намек на то, что подданный противопоставил свое мнение мнению царя и что царь принял это благосклонно. Это пишет Пушкин, хорошо знавший, что вовсе не так безусловна была эта «благосклонность» и вовсе не так величествен был Александр I, которому он, автор статьи «Российская Академия», подсвистывал до самого гроба... «Слабый и лукавый» властитель, «в лице и в жизни арлекин», «нечаянно пригретый славой» становится на не подобающий ему пьедестал.

Это был новый — еще один — призыв к Николаю I внимать прямодушному голосу предстателей за просвещение.

Эта часть статьи сразу же привлекает настояжжен-

ное внимание цензора Крылова; но в 1836 году Цензурный комитет разрешил ее печатать¹⁶¹. Однако через двадцать лет, в 1855—1857 годах, когда первый биограф Пушкина П. В. Анненков готовил к печати собрание его сочинений, она была вычеркнута цензором А. Фрейгангом, и никакие усилия Анненкова никогда не спасли бы ее, если бы не вступились Вяземский (тогда член Главного управления цензуры) и министр просвещения.

Вспоминая об этом, Анненков писал: «Пушкин был чуть ли не первым человеком у нас, заговорившим публично о «Древней и новой России» Карамзина. Дотоле трактат ходил по рукам секретно, в рукописях, как оппозиционный и, по мнению других, даже агитаторский голос непризванного советчика»¹⁶². И далее Анненков, от друзей Пушкина и по документам хорошо знавший обстановку, в которой приходилось работать Пушкину, вкратце упомянул о его попытке извлечь из забвения «записку» Карамзина.

История этой попытки стала известна лишь в начале нашего века, когда были опубликованы цензурные документы.

20 сентября 1836 года председатель Санктпетербургского цензурного комитета Дондуков-Корсаков обратился в Главное управление цензуры с бумагой, в которой испрашивал разрешения представить отрывки из Карамзина на высочайшее усмотрение, поскольку и вся «История» печаталась по высочайшему повелению и вне цензуры. Главное управление цензуры ответило на следующий день, что записку следует рассматривать на общих цензурных правилах и испрашивать особого разрешения нет достаточных оснований.

11 октября цензор Крылов, отметив карандашом сомнительные места, каковых мест оказалось две пятых от всего текста, представил вновь рукопись в цензурный комитет, присовокупив, что, по его мнению, такие сочинения сохраняются как достояние потомства и не обнаружены в полном содержании своем.

Комитет вторично послал рукопись на благоусмотрение Главного управления цензуры.

28 октября Уваров известил Дондукова-Корсакова, что так как упомянутая статья «не предназначалась сочинителем для напечатания и при жизни издана им в свет не была, то <...> и ныне не следует допускать ее печатать»¹⁶³.

Спор, начатый когда-то в «Записке о народном воспитании» и продолженный «Отрывками из писем...», завершается десять лет спустя статьей «Александр Радищев».

Это странная статья, вызвавшая столько противоречивых толкований и споров среди критиков и исследователей, статья, где Пушкин обрушивается с резкими и несправедливыми нападками на кумира своей юности, статья, несмотря на это, запрещенная цензурой.

Пушкин пишет биографию «истинного представителя полупросвещения», чья книга — «Путешествие из Петербурга в Москву», — исполненная «горьким злоречием» и «пошлым и преступным пустословием», имела «ничтожное влияние» на современное ему поколение. Зачем?

В 1833—1835 годах он обратился к этой книге, чтобы заново пересмотреть те вопросы общественной жизни, которые поднимал в свое время один из самых благородных и мятежных умов русского XVIII столетия. Пушкин как бы заново проделал путь Радищева в своем «Путешествии из Москвы в Петербург», то споря, то соглашаясь с автором знаменитой «якобинской книги». Это было понятно; общественные проблемы во многом оставались теми же, они требовали решения.

Статью свою Пушкин в печать не отдал. Теперь, в апреле 1836 года, он вновь возвращается к Радищеву и собирается печатать в «Современнике» статью о нем, — неужели только для того, чтобы положить клеймо на его память? Или — как думают иногда, — затем, чтобы просто напомнить о нем? Но к чему служило бы напоминание о человеке, память о котором вовсе не изгладилась в образованном русском обществе, и не слишком ли дорогую цену платил Пушкин за это напоминание? Он напоминал о «безумных заблуждениях», о «преступлении, ничем не извиняемом», о «весьма посредственной книге» слепого ученика соблазнительных французских теорий.

Объяснять все это хитрым конспиративным ходом, как это иногда делали, по меньшей мере наивно. Нигде и никогда не существовало читателя, который читал бы *только* между строк, не обращая внимания на явный смысл статьи, как читают симпатические чернила между строками газетного листа. Нигде и никогда уважающий себя писатель не изменял в угоду цензуре *смысла* того, что он пишет. Мы видели уже, что «конспиративные»

статьи Пушкина не нужно читать между строк; нужно лишь представлять себе ясно события, о которых идет в них речь.

Так же написана и статья «Александр Радищев», и читать ее нужно не мудрствуя лукаво.

Она имеет прямое отношение к тем произведениям Пушкина, которые только что прошли перед нами. Спор о политике и нравственности продолжался, в разных формах, с разными оттенками, — вернее, он не прекращался все эти десять лет.

Пушкин осудил многое из идей Радищева; то, что он принял, он не считал нужным скрывать. Он не скрыл и того, зачем он написал статью; ее «разгадка» лежит на поверхности, как утерянное письмо из детективного рассказа Эдгара По.

«Мелкий чиновник, человек безо всякой власти, безо всякой опоры, — пишет Пушкин, — дерзает вооружиться противу общего порядка, противу самодержавия, противу Екатерины! <...> У него нет ни товарищей, ни соумышленников. В случае неуспеха — а какого успеха может он ожидать? — он один отвечает за все, он один представляется жертвой закону. Мы никогда не почитали Радищева великим человеком. Поступок его всегда казался нам преступлением, ничем не извиняемым, а *Путешествие в Москву* весьма посредственной книгой; но со всем тем не можем в нем не признать преступника с духом необыкновенным; политического фанатика, заблуждающегося конечно, но действующего с удивительным самоотвержением и с какой-то рыцарскою совестливостью»¹⁶⁴.

Вот это оказывается важным для Пушкина. В словах «преступление Радищева» приоткрывается странный, парадоксальный смысл: это — преступление, не вызывающее ни ужаса, ни отвращения, ни презрения — но удивление, даже преклонение перед самоотверженной честностью преступника. Это преступление — нравственный подвиг.

Радищев высказал в своей книге «несколько благо-разумных мыслей, несколько благонамеренных предположений». (Их было больше, чем «несколько» — Пушкин подробно разбирал их в своем «Путешествии из Москвы в Петербург».) Им следовало быть представленными «с большей искренностью и благоволением» — тогда «они принесли бы истинную пользу»¹⁶⁵.

Радищев совершил трагическую ошибку из благородства, из рыцарственной честности побуждений, говорит Пушкин. Он совершил «подвиг честного человека», окончившийся бесплодно для общества и роковым образом для него самого. Книга его ушла; величие его — нравственное и человеческое — достойно удивления потомства.

Именно поэтому пишет Пушкин его биографию — его житие, а не разбор его книги.

«У нас обыкновенно человек невидим за писателем, — говорил Вяземский еще в 1818 году. — В Радищеве напротив: писатель приходится по плечу, а человек его головою выше. О таких людях приятно писать, потому что мыслить можно»¹⁶⁶.

Пушкин мыслил — и мысль его вела к начатому за десять лет спору. Он поставил эпитафией к своей статье: «Il ne faut pas qu'un honnête homme mérite d'être pendu. Слова Карамзина в 1819 году». Это были те самые слова, которые вспоминал Вяземский в 1826 году, говоря о декабристах. Вяземский переводил их так: «честному человеку не должно подвергать себя виселице».

Слова эти загадочны. При каких обстоятельствах были они сказаны, какие события и лица имелись в виду? Мы не знаем, и потому для нас пропадают смысловые оттенки пушкинского эпитафа.

Лишь один документ, кажется, приоткрывает слегка завесу, которую опустило время над разговором полуторастолетней давности. Это письмо старинного приятеля Карамзина, Юрия Александровича Нелединского-Мелецкого, написанное вне всякой связи с этим разговором, еще в 1809 году.

«Есть два рода честных людей, — писал тогда Мелецкий. — Одних именуют таковыми потому, что они прямо не нарушают общепринятых правил и искусно сохраняют внешние приличия. Другие честны сердцем, ибо честность их держится не мнением окружающих, но добродетелью, заключенной в их внутреннем существе, и она есть побудительная причина их поступков, независимых от того, что о них будут говорить. Этот род честности, которой наделена Екатерина Ивановна Нелидова, выдержит испытание самой строгой совести — первого рода честность его не выдержит, как об этом сказано, кажется в «Фигаро»: «Ее достаточно только для того, чтобы не быть повешенным» (elle suffit pour préserver de n'être pas pendu)».

Афоризм Карамзина был парафразой крылатого словца Бомарше — из 4 явления первого действия «Севильского цирюльника», где лукавый Фигаро оценивал им нравственные качества доктора Бартоло. Цитата оторвалась от своего источника настолько, что даже Пушкин, перечитывавший Бомарше как раз в 1830-е годы, не вспомнил об ее истинном авторе. Слова Фигаро больше не были шуткой: за ними стояли этические вопросы, о которых думали и говорили в кругу Карамзина еще в десятые годы. Вопросы эти возникли заново в 1826 году — и с ними явилась формула «слова Карамзина», уже Карамзина, а не Бомарше, потому что Карамзин придал им когда-то — в 1819 ли году или раньше — особый вес и значительность. Теперь, после разгрома заговора, политическая действительность давала им контекст и наполнение. Вероятно, их вспомнили Вяземский и Пушкин в своих беседах в сентябре 1826 года, и Вяземский тогда же записал свой перевод-толкование.

Теперь Пушкин повторял эту формулу. Радищев, как и декабристы, был тем «честным человеком», которому следовало, не подвергая себя виселице, представить правительству свои социальные проекты. Так, как делал ранее Карамзин, а теперь Пушкин.

В последний раз Пушкин выступает со своей программой — рука об руку с тенью Карамзина.

Сознавал ли он утопичность своих мечтаний, знал ли он, что в течение десяти лет строил испанские замки, исчезающие с дуновением ветра?

Он привел слова Карамзина в ином варианте, нежели Вяземский. «Не следует, чтобы честный человек заслуживал повешения». Это обращение не только и даже не столько к писателю, сколько к правительству, от которого зависит его судьба.

Если же мы взглянем на рукопись статьи «Александр Радищев», нашим глазам откроется картина, на которую нельзя смотреть без внутреннего содрогания.

Пушкин пишет о проектах Радищева: «...все это было бы просто полезно и не произвело бы ни шума, ни соблазна, ибо само правительство не только не пренебрегало писателями и их не притесняло, но еще требовало их соучастия, вызывало на деятельность, вслушивалось в их суждения, принимало их советы — чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыс-

лящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью».

Это окончательный вариант — для печати.

В черновиках вместо слов «ибо само правительство не только не пренебрегало писателями» было: «особливо в то время когда правительство не только не отвергало благоразумных мнений и советов писателей». Вместо «и их не притесняло» стояло «и не преследовало». Вместо «чувствовало нужду в содействии» — «чувствуя еще нужду в соучастии». А первоначальная редакция концовки читалась: «не пугаясь *малодушно* их смелости и не оскорбляясь *невежественно* их откровенностью»¹⁶⁷.

В сознании Пушкина это «идеальное» правительство отодвигается назад — в прошлое, в XVIII век. Рядом с ним возникает образ правительства «малодушного и невежественного», которое боится просвещения и притесняет его носителей.

И у Пушкина начинают возникать аналогии неожиданные и опасные. Судьба Радищева напоминала кое в чем его собственную. Император Павел, возвратив Радищева из ссылки, взял с него обещание «не писать ничего противного духу правительства. Радищев сдержал свое слово».

Это о себе в 1826 году; требование Николая I повторено почти дословно¹⁶⁸. А еще раньше — о Карамзине, на которого наложена обязанность «всевозможной скромности и умеренности».

Еще один шаг — и уже в черновиках «Памятника» появляется «мятежная строка»:

Что вслед Радищеву восславил я свободу...

Но сейчас еще Пушкин готов обратиться к правительству свой последний призыв.

* * *

Статья «Александр Радищев» попала в руки чиновнику Крылову. Первое, что он сделал — подчеркнул эпиграф из Карамзина¹⁶⁹.

Затем — 18 августа 1836 года — он представил статью на благоусмотрение Главного управления цензуры. Министр народного просвещения Уваров написал резолюцию: «Статья по себе недурна, и с некоторыми изменениями могла бы быть пропущена. Между тем нахожу неудобным и совершенно излишним возобновлять память о писателе и книге, совершенно забытых и достойных забвения»¹⁷⁰.

Так писал Уваров, который в 1815 году, не будучи еще министром, упоминал печатно о «некоем из наших писателей (г... Р...), о котором Российские музы не без сожаления вспоминают», и приводил большую цитату из «Путешествия»¹⁷¹. Памяти у русских муз не хватило на двадцать лет. Они были женщинами — существами неверными и непостоянными.

Министр Уваров не был женщиной, но был царедворцем. Он знал завет пушкинского Шуйского: «Теперь не время помнить; советую порой и забывать».

В 1840 году к нему вновь попадает статья «Александр Радищев» — на этот раз для посмертного собрания сочинений Пушкина — и он изъясняет свою мысль откровеннее. «По рассмотрении этой статьи, я нахожу, что она, *по многим заключающимся в ней местам*, к напечатанию допущена быть не может, и потому предлагаю сделать распоряжение о запрещении ее»¹⁷². Дело было не в Радищеве, а в Пушкине, в тех «местах» статьи, ради которых она писалась и которые послужили истинной причиной ее запрещения. На них намекал Уваров и в 1836 году, говоря о возможных «некоторых изменениях».

И так же искусно, под покровом благовидных предлогов скрывался Уваров, противодействуя напечатанию записки «О древней и новой России». Но этой истории суждено было окончиться лишь через несколько месяцев, уже после того, как в «Литературных Прибавлениях к «Русскому Инвалиду» появилось сообщение, обведенное черной каймой:

«Солнце нашей поэзии закатилось! Пушкин скончался, скончался во цвете лет, в середине своего великого поприща!..»

Крестный путь Пушкина был окончен.

Он лежал в черном фраке, ибо при жизни не любил мундира. Николай I сказал: «Верно, это Тургенев или князь Вяземский присоветовали»¹⁷³.

Министр Уваров отдавал распоряжение о соблюдении строжайшей умеренности в статьях о Пушкине — человеке не чиновном и не проявившем себя на государственной службе¹⁷⁴.



Эпilog

В пятом томе «Современника», изданном после смерти Пушкина Плетневым, Вяземским, Жуковским, помещена статья под названием «Отрывок из рукописи Карамзина. О древней и новой России, в ее политическом и гражданском отношениях. (До смерти Екатерины II)», с эпитафией: «Несть льсти в языке моем. Псал. 138». К ней сделано примечание: «Во втором № Современника (на 1836 год) уже упомянуто было о неизданном сочинении покойного Карамзина. Мы почитаем себя счастливыми, имея возможность представить нашим читателям хотя отрывок из драгоценной рукописи. Они услышат если не полную речь великого нашего соотечественника, то по крайней мере звуки его умолкнувшего голоса. А. Пушкин».

Есть какая-то странная и жестокая ирония судьбы в том, что это примечание было звуками умолкнувшего голоса Пушкина. Тело издателя «Современника» уже покоилось под могильной плитой Святогорского монастыря, но его речь еще звучала со страниц основанного им журнала, представляя читателям — в последний раз — «подвиг честного человека». «Несть льсти в языке моем». Он начал дело издания «записки» — оканчивали уже другие.

Жуковский — Уварову

(Конец февраля — март 1837 года)

Я был у вас, чтобы узнать от вас, правда ли, что статья Карамзина, которую мы хотели поместить в «Современнике» и в которой нет слова, которое бы можно было остановить, запрещена Вами? Так говорит Крылов. Не могу никак этому поверить. Он как-нибудь не понял. В этой статье решительно нет ничего такого, что бы могло помешать ее изданию в свет. Это просто взгляд на состояние России до смерти Екатерины, в коем нет ничего общего с тою огромною запискою, из

которой он взят, и до которой нет дела читателю. И Карамзин бы сам напечатал этот отрывок в том виде, в каком мы хотим его напечатать. <...> Да и не может быть, чтобы Вы могли запретить печатание этой статьи! Это, верно, недоразумение Крылова. Прошу Вас убедительно отвечать мне и, если можно, поскорее, ибо хотелось бы эту статью поместить в начале. Пора набирать ее <...>.

Жуковский — Уварову

(Конец февраля — март 1837 года)

Удивляюсь решению Цензурного комитета: не пропускать сочинения Карамзина по тому только, что оно при нем не было напечатано! Что ж это за повод к запрещению? <...> Дело цензуры пропустить то, что пропустить можно, и вымарать то, чего она пропустить не может. Ей и знать нельзя и не нужно, откуда взята представляемая мною пиеса; ее дело только смотреть на то — можно ли ее пропустить или нет. Пушкин ее уже представлял. Я все то выбросил, что было отмечено, и цензура может быть теперь довольна. <...> Пускай выкинут все то, что найдут нужным; пускай если угодно и не говорится, что она писана для Е. Павловны. <...>¹⁷⁵.

Рукопись странствовала по комитетам и министерству. Карандашные пометы на ней свидетельствовали, что две пятых ее не подлежат печати.

«Излагаемые в ней суждения, будучи развиты гораздо в большем размере в «Истории государства Российского», получили ту степень известности и направления, которые служат оправданием для них и в том случае, когда они встречаются в других литературных произведениях»¹⁷⁶.

Напечатанная «История» была прецедентом; нельзя было прямо сказать, как в 1826 году, что она безусловно подлежит запрещению¹⁷⁷. Скрепя сердце, соглашались, что известность высказанных в ней мыслей служит «оправданием» к их репечатке.

Из текста «записки» было изъято многое, что было ранее развито в «Истории государства Российского». Рассуждения о «республиканских» учреждениях в Киевской Руси. О заблуждениях государей. О деспотизме

и монархии. И конечно — о деспотизме Ивана Грозного — краткое содержание девятого тома¹⁷⁸.

«Но дальнейшая часть отрывка, — продолжал далее цензурный комитет, — относящаяся к новой истории, преимущественно ко временам Петра Великого и Екатерины II-ой, отличается и такими идеями, которые не столько по новости их в литературном круге, сколько по возможности применения к настоящему положению, не могут быть допущены без разрешения начальства»¹⁷⁹.

Это было рассуждение о реформах Петра, которые, как думал Карамзин, посягнули на народные обычаи и гражданские добродетели — «насилие беззаконное и для монарха самодержавного»; о самом царе, без сомнения великом, но прибегавшем ко всем «ужасам самовластия»; о безначалии и пороках двора при Анне и Елизавете; наконец, о Екатерине, «очистившей самодержавие от примеси тиранства» и приучившей подданных «хвалить в делах государя только похвальное, осуждать противное».

Скажем, забегая вперед, что все российские монархи стремились удержать под спудом эту монархическую записку Карамзина.

Журнал заседаний Главного управления цензуры

29 марта 1837 года

«Господин Председатель предложил Главному управлению цензуры о донесении цензора Крылова, который, рассмотрев представленную вновь для помещения в издании «Современник» рукопись «О старой и новой России», соч. Н. М. Карамзина, нашел, что из нее исключены все места, которые прежде обратили на себя внимание цензуры, и что теперь в этой статье не содержится ничего, несогласного с цензурными правилами»¹⁸⁰.

*Жуковский — Дондукову-Корсакову*¹⁸¹

7 апреля 1837

Милостивый государь Михаил Александрович.
Опять принужден утруждать Вас покорнейшею моею

просьбою: Вы сказали мне, что статья Карамзина пропущена. Но редакция «Современника» все еще ее не получила. Прошу Вас сделать мне большое одолжение: разрешить как-нибудь это дело. Если эта статья не должна быть пропущена, то хорошо бы хотя *знать это наверное*, чтобы заменить ее другою в первой книжке «Современника», который от этих задержек ни взад, ни вперед. Не спрашиваю, почему статью *Карамзина* не позволяют: это будет бесполезно. Жаль только, что тут замешалось имя Карамзина, за которое мне очень больно. Прошу Ваше сиятельство удостоить меня ответом.

Вашего сиятельства покорнейший слуга
Жуковский.

*Дондуков-Корсаков — Жуковскому*¹⁸²

12 апреля 1837

Милостивый государь Василий Андреевич.

Отлучка моя из С.-Петербурга — причина медлительности моего ответа на письмо Ваше от 7 <апреля>; ныне спешу уведомить Ваше превосходительство, что еще 6-го числа статья Карамзина пропущена и доставлена цензором Крыловым в типографию, где печатается «Современник».

С отличным почтением и совершенною преданностью имею честь быть Вашего превосходительства покорнейший слуга

князь Михаил Дондуков-Корсаков.

«Воспоминания изгнанника»

Николая Тургенева,

*напечатанные за границей в 1847 году*¹⁸³

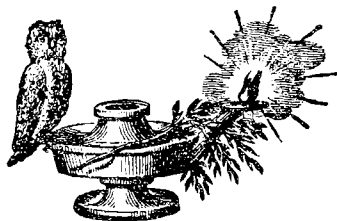
Император Александр встречал иногда довольно резкую оппозицию своим преобразовательным планам не со стороны общественного мнения, которое в России бессильно, а со стороны небольшого числа лояльных и искренних людей. Среди них выделялся Карамзин, историограф Империи; пожалуй даже, он был единственным человеком, осмеливавшимся энергично и откровенно излагать свои мнения самодержцу. <...>

Карамзин был литератором в полном и лучшем смы-

сле этого слова и никогда не желал быть никем иным. Император несколько раз предлагал ему портфель министра народного просвещения. Карамзин принимал только те ничтожные знаки отличия, которыми в России наделяют всех, и, кроме того, звание историографа и, наконец, личную дружбу императора, который, по моему мнению, никогда не уважал так ни одного русского. Карамзин обладал большим талантом, очень просвещенным умом; он был наделен благородной и возвышенной душой. Эти качества не мешали ему, однако же, заявлять о необходимости и полезности для России самодержавной власти. Несомненно, таково было его убеждение, так как он был неспособен к лицемерию или лжи. Тем не менее он далеко не был врагом форм правления, совершенно противоположных тем, которые господствовали в России; он был даже пламенным поклонником их. «Я республиканец в душе, — говорил он иногда; — но Россия прежде всего должна быть великой, а в том виде, какой она имеет сейчас, только самодержец может сохранить ее грозной и сильной». <...>

Что касается меня, то я очень мало спорил с Карамзиным, так же, как и с другими, о превосходстве той или иной формы правления; но я чувствовал к нему антипатию и навсегда сохранил к нему неприязнь, потому что он не затронул в своем труде, вопреки своему долгу, вопрос, который никоим образом не мог нанести ущерб его культуре самодержавия: вопрос о рабстве. <...>

Здесь заканчивается рассказ о «подвиге честного человека».



Судьба „Европейца“



Что заставило бить тревогу?

Тринадцатого февраля 1832 года Бенкендорф представил Николаю I список журналов и газет, издаваемых в России¹. Всего в этом перечне значится 67 изданий: для первой половины XIX века цифра, казалось бы, внушительная. Однако не будем обольщаться — прежде посмотрим список.

Пять изданий на французском языке, восемнадцать на немецком, три на польском, два на латышском, шесть на шведском, одно на финском. На долю русских газет и журналов приходится 32 издания, причем большинство из них — ведомственные журналы и официозные газеты. А сколько же литературных журналов выходило в России в это время? Только восемь!

Впрочем, и в восьми журналах, если это стоящие журналы, можно было бы прочесть много занимательного и поучительного. Увы! большинство их было бесцветно и малосодержательно; «Северный Меркурий», «Гирлянда», «Северная Минерва», «Дамский журнал» — что полезного мог почерпнуть читатель из этих заслуженно забытых изданий? Говоря по совести, мало, очень мало, а порой и вовсе ничего. Более интересны были «Литературные прибавления к «Русскому инвалиду», которые издавал А. Ф. Воейков. Однако хорошими литературными жур-

налами можно считать лишь «Московский телеграф» и «Телескоп». Итак, из 67 — только два настоящих литературных журнала.

Что же в таком случае побудило царя требовать от III Отделения особого доклада о печати? Переполох был вызван выходом в свет первого номера журнала «Европеец».

Издателем «Европейца» был двадцатипятилетний Иван Васильевич Киреевский, сын Авдотьи Петровны Елагиной, племянницы Жуковского, начинающий талантливый литератор. В 1830 году Пушкин написал целую статью об одном из критических выступлений Киреевского, заметив, что молодой критик уже успел обратить на себя внимание истинных ценителей дарования.

В 1828 году дарования Киреевского стали предметом внимания анонимного доносчика, забившего тревогу: в Москве грозит появиться «секретная газета» под названием «Утренний листок». «Издатели, — писал он, — по многим отношениям весьма подозрительны, ибо явно проповедуют либерализм. Ныне известно, что партию составляют князь Вяземский, Пушкин, Титов, Шевырев, князь Одоевский, два Киреевские и еще несколько отчаянных юношей»². Донос грозил серьезными осложнениями. По счастью, заступился Д. В. Дашков, отправивший в III Отделение резкую отповедь осведомителю. Да и тревога оказалась ложной: никакого издания Киреевский в это время не затевал, а газету «Утренний листок» собирался выпускать экзекутор московской гражданской канцелярии титулярный советник П. И. Иванов. Впрочем, на всякий случай и эта газета была запрещена.

Задумав издание «Европейца», Киреевский писал Жуковскому в начале октября 1831 года: «Выписывая все лучшие неполитические журналы на трех языках, вникая в самые замечательные сочинения первых писателей теперешнего времени, я из своего кабинета сделал бы себе аудиторию Европейского университета, и мой журнал, как записки прилежного студента, был бы полезен тем, кто сами не имеют времени или средств брать уроки из первых рук. Русская литература вошла бы в него только как дополнение к Европейской, и с каким наслаждением мог бы я говорить об Вас, о Пушкине, о Баратынском, об Вяземском, об Крылове, о Ка-

рамзине — на страницах, не запачканных именем Булгарина...»³

Жуковский сразу же откликнулся — 20 октября он написал А. И. Тургеневу: «Ивану Киреевскому скажи от меня, что я обеими руками благословляю его на журнал, ибо в душе уверен, что он может быть дельным писателем и что у него дело будет...»⁴ Ободренный сочувствием Жуковского и его согласием сотрудничать в журнале, Киреевский приступил к изданию «Европейца».

В кругу передовых литераторов «Европеец» был встречен благосклонно. Ветеран русской словесности, маститый Иван Иванович Дмитриев писал Вяземскому: «Европеец» представился по-европейски; надеюсь, что он не переименуется»⁵. Благоприятен был и отзыв Пушкина в письме к Киреевскому: «Дай бог многие лета Вашему журналу! Если гадать по двум первым №, то «Европеец» будет долголетен. До сих пор наши журналы были сухи и ничтожны или дельны да сухи; кажется, «Европеец» первый соединил дельность с заманчивостью»⁶.

Программная статья Киреевского «Девятнадцатый век» писалась просветителем, человеком, глубоко убежденным в победе разума над невежеством. Как врач чувствует пульс больного, так ясно ощущал Киреевский биение истории: «... взгляните на Европейское общество нашего времени: не разногласные мнения одного века найдете вы в нем, нет! вы встретите отголоски нескольких веков, не столько *противные* друг другу, сколько *разнородные* между собою. Подле человека *старого времени*, найдете вы человека, образованного духом *Французской революции**; там человека, воспитанного обстоятельствами и мнениями, *последовавшими непосредственно за Французскою революциею*; с ним рядом человека, проникнутого тем порядком вещей, который начался на твердой земле Европы с падением Наполеона; наконец, между ними встретите вы человека последнего времени, и каждый будет иметь свою особенную физиономию; каждый будет отличаться от всех других во всех возможных обстоятельствах жизни, одним словом, каждый явится перед нами отпечатком *особого века*»⁷.

* Киреевский имеет в виду французскую революцию 1789 года.

Анатомический разрез западноевропейского общества, психологическая разнокалиберность современного поколения — все это влекло к размышлениям о сокровенной сути исторических явлений. Ход рассуждений Киреевского не мог не заинтересовать Пушкина: ведь стремление критика вскрыть зависимость между человеческим интеллектом (и даже шире — между всей психической организацией человека) и эпохой было сродни историзму художественного творчества Пушкина тех лет. Так перекрещивались раздумья Пушкина и Киреевского.

Несомненно, с сочувствием встретил Пушкин пронзительный вывод Киреевского о том, к чему пришел мир после полувекových катаклизмов: «...главный характер просвещения в Европе был прежде попеременно поэтический, исторический, художественный, философический, и только в наше время мог образоваться чисто *практическим*. Человек нашего времени уже не смотрит на жизнь, как на простое условие развития духовного; но видит в ней вместе и средство, и цель бытия, вершину и корень всех отраслей умственного и сердечного просвещения. Ибо жизнь явилась ему существом разумным и мыслящим, способным понимать его и отвечать ему, как художнику Пигмалиону его одушевленная статуя»⁸.

Это было мощным рывком вперед! Из третьестепенного статиста Жизнь превращалась в главное действующее лицо исторической трагедии. И естественно, что именно Киреевский прозорливо уловил характеристические особенности новой литературы: «...многие думают, что время Поэзии прошло и что ее место заступила жизнь действительная. Но неужели в этом стремлении к жизни действительной нет своей особенной поэзии? — Именно из того, что Жизнь *вытесняет* Поэзию, должны мы заключить, что стремление к Жизни и к Поэзии *сошлись*, и что, следовательно, час для поэта Жизни наступил»⁹.

Магическое слово «реализм» еще не было произнесено. Но предчувствие перемен, сознание того, что литература «меняет кожу», — несомненно. Старые боги были безжалостно свергнуты, и на их месте восседала Жизнь. Поэтом Жизни считал Киреевский Пушкина: ведь знаменитая пушкинская автохарактеристика — «поэт действительности» — уточняла мысль Киреевского, выска-

занную им в статье «Обозрение русской словесности 1829 года».

Пусть не посетует читатель за это вынужденное отступление от цензурной истории «Европейца». Право, нельзя не обозначить хотя бы бегло, пунктиром те незримые духовные «флюиды», которые циркулировали между Пушкиным и издателем «Европейца». Ведь духовная близость Пушкина и его литературных соратников к Киреевскому предопределила как состав сотрудников журнала, так и то, что ближайшие друзья Пушкина ринулись на помощь издателю «Европейца» в черные дни разгрома журнала.

В вышедших номерах «Европейца» деятельное участие приняли Жуковский¹⁰, Баратынский и Языков. Несомненно, что они и в дальнейшем поддерживали бы журнал.

Сотрудниками «Европейца» должны были стать Пушкин и Вяземский: в первых двух номерах их не было по очень простой причине — в это время они отовсюду собирали литературные «подати» для альманаха «Северные цветы на 1832 год». Незадолго до этого скоропостижно скончался лицейский друг Пушкина поэт Дельвиг, и альманах издавался в пользу его малолетних братьев.

Но уже в первых числах февраля 1832 года Пушкин, не зная еще о запрещении «Европейца», посылает Киреевскому строфы из «Домика в Коломне»:

«Простите меня великодушно за то, что до сих пор не поблагодарил я Вас за «Европейца» и не прислал Вам смиренной дани моей. Виною тому проклятая рассеянность петербургской жизни и альманахи, которые совсем истощили мою казну, так что не осталось у меня и двустихия на черный день, кроме повести, которую сберег и из коей отрывок препровождаю в Ваш журнал»¹¹.

В журнале Киреевского анонимно было напечатано одно из парижских писем А. И. Тургенева. Позднее эпистолярные «гейзеры» Тургенева будут целыми сериями помещаться в пушкинском «Современнике» под названием «Хроника русского». Заграничные письма-очерки Тургенева по своему содержанию словно самой судьбой предназначались для журнала Киреевского. Не будь журнал запрещен, они печатались бы здесь в изобилии — дружеский характер отношений Киреевского и

вечного странствователя Тургенева не оставляет в том никакого сомнения¹².

Верным сотрудником «Европейца» стал бы и Владимир Федорович Одоевский — из письма Киреевского (январь 1832 года) к его петербургскому другу явствует, что он твердо рассчитывал на его статьи¹³. Расчет был безошибочным. В. Ф. Одоевский был готов заполнить журнал своими статьями — вот что он отвечал Киреевскому:

«Статей у меня для тебя наготовлено пропасть — остается только переписать, ибо я ныне пишу карандашом, что не замедлится. О твоём 1 № напишу тебе, но так как я не хочу давать труда нашему потомству перепечатывать нашу переписку, то я пришлю замечания на твой журнал такие, что можно их будет напечатать. Вообще он прекрасен; статьею о Борисе* все восхищаются; первая статья** отзывается заветными словами фанатического шеллингианства, которому мы все заплатили дань, и потому она не понравилась, или, лучше сказать, не была понята; кто переводил немецкую повесть***? Я отроду не видел лучше манеры рассказывать! Я вспрыгнул от радости: — это именно та манера, которой я ишу в моих повестях и не могу добиться. Но оставляю письмо до почты, по которой пришлю тебе целый воз. Прощай. Обнимаю тебя. Твой Одоевский. 1832. Февраля 2»¹⁴.

Наконец, сотрудником журнала был бы и Орест Сомов, который в эти годы близко сошелся с писателями пушкинского круга. В записке (без даты) к Киреевскому В. Ф. Одоевский сообщал: «Вот тебе от Сомова! Выписки из письма Иакинфа — тисни во 2 № — и критика на роман фон дер Ф<лита> Посольство в Китай <...> Сомов молодец. Дай ему бог здоровья: он радеет о «Европейце» душой и телом»¹⁵.

Итак, Жуковский, Пушкин, Баратынский, Вяземский, Языков, А. И. Тургенев, В. Ф. Одоевский, Сомов... Вокруг журнала Киреевского соединялись литераторы пушкинского круга¹⁶. Это отнюдь не придавало журналу благонамеренности в глазах правительства. Подозри-

* Статья Киреевского о «Борисе Годунове».

** Статья Киреевского «Деятнадцатый век».

*** Повесть «Чернец» переведена была, по-видимому, А. П. Елагинной.

тельно было все — начиная с названия, с ориентации на Западную Европу, где не утихало революционное брожение; нежелательно было содержание статей, не вызывали доверия и участники. Гибель «Европейца» была неотвратима.



«Просвещение есть синоним свободы»

В 1966 году был найден в делах III Отделения и опубликован тот самый документ, с которого началось дело о «Европейце». Вот начало его:

«О журнале «Европеец»,
издаваемом Иваном Киреевским
с 1-го января сего года.

Журнал «Европеец» издается с целью распространения духа свободомыслия. Само по себе разумеется, что свобода проповедуется здесь в виде философии, по примеру германских демагогов Яна, Окена, Шеллинга и других, и точно в таком виде, как сие делалось до 1813 года в Германии, когда о свободе не смели говорить явно. Цель сей философии есть та, чтоб доказать, что род человеческий должен стремиться к совершенству и подчиняться одному разуму, и как действие разума есть закон, то и должно стремиться к усовершенствованию правлений. Но поелику разум не дан в одной пропорции всем людям, то совершенство состоит в соединении многих умов в едино, а в следствие сего разумнейшие должны управлять миром. Это основание республик. В сей философии все говорится под условными знаками, которые понимают адепты и толкуют профанам. Стоит только знать, что просвещение есть синоним свободы, а деятельность разума означает революцию, чтоб иметь ключ к тайнствам сей философии. Ныне в Германии это уже не тайна. Прочтя со вниманием первую книжку журнала «Европеец», можно легко постигнуть, в каком духе он издается»¹⁷.

Л. Г. Фризман, опубликовавший этот документ, на-шел и черновик его, который заканчивался следующим знаменательным абзацем: «Издатель сего журнала г. Киреевский есть ныне главою шеллинговой секты и под-держиваемый кредитом своего дяди Жуковского имеет сильную партию между молодыми людьми»¹⁸. Итак, в первоначальном варианте в конце доноса рядом с име-нем Киреевского стояло имя Жуковского.

Существует письмо Жуковского к Николаю I от 30 марта 1830 года, которое раскрывает перед нами предысторию событий 1832 года.

«Думаю, что Булгарин (который до сих пор при всех наших встречах показывал мне великую преданность) ненавидит меня с тех пор, как я очень искренно сказал ему в лицо, что *не одобряю того торгового духа и той непристойности, какую он ввел в литературу, и что я не мог дочитать его Выжигина*. Вот обстоятельства, до-шедшие до меня по слуху, которые заставляют меня ду-мать, что тайный обвинитель мой есть Булгарин. Когда Ваше величество наказали Булгарина, Греча и Воейко-ва за непристойные статьи, в журнале их помещенные, то Булгарин начал везде разглашать (это даже дошло и до Москвы), что он посажен был на гауптвахту по моим проискам и что Воейкова (кoему я будто покровитель-ствую) посадили с ним вместе только для того, чтобы скрыть мои интриги. Разумеется, что я не обратил вни-мания на такое забавное обвинение. Но до Булгарина должны были потом дойти *слова мои*, сказанные мною товарищу его Гречу насчет другой его статьи, после уже напечатанной в «Северной пчеле». «Государь, — сказал я Гречу, — верно, будет недоволен этою статьею, если она дойдет до его сведения». Я полагаю, что Булгарин до-вел слова мои до начальства, растолковывая их по-свое-му, то есть представив, что я угрожаю ему именем Ва-шим, так как он везде разгласил, что я посадил его на гауптвахту.

Другой случай: в Москве напечатан альманах, в ко-ем мой родственник Киреевский поместил обозрение русской литературы за прошлый год. В этом обозрении сделаны резкие замечания на роман Булгарина «Иван Выжигин». В то время, когда альманах печатался в Мос-кве, Киреевский, проездом в чужие края, находился в Петербурге и жил у меня. Альманах вышел уже после его отъезда. Но этого было довольно, чтобы заставить

думать Булгарина, что статья Киреевского была написана по моему наущению. Это бы ничего, но после я услышал, что Булгарин везде расславляет, будто бы Киреевский написал ко мне какое-то либеральное письмо, которое известно и правительству. Весьма сожалею, что я и это оставил без внимания и не предупредил для собственной безопасности генерала Бенкендорфа: ибо этим людям для удовлетворения их злобы никакие способы не страшны. Киреевский не писал ко мне никакого письма, за его правила я отвечаю; но клевета распущена; может быть сочинено и письмо, и тайный вред мне сделан»¹⁹.

Итак, «тайная война» против Жуковского, Киреевского и их друзей начата еще доносом 1828 года. Кто вел ее? Булгарин? Так думали сами Киреевский, Жуковский, Вяземский и, вероятно, не без основания. Но они переоценили роль доносчика, который никогда не добился бы успеха, если бы за ним не стояли силы куда более значительные и грозные. «Донос, сколько я мог узнать, ударил не из булгаринской навозной кучи, но из тучи», — писал Пушкин, и он был прозорливее. Тучей было III Отделение и сам Николай I. Доносы — Булгарина ли или другого лица — падали на подготовленную почву.

Правительству не было нужды, чисты или нечисты были намерения Жуковского и Киреевского. «Просвещение» было в его глазах «синонимом свободы». Воспитатель наследника, «царедворец» Жуковский силой объективной логики вещей превращался в идейного противника николаевского престола. Жуковский, вероятно, так и не понял этого, хотя развернувшиеся вскоре события должны были бы открыть ему глаза.



Издателю не до шуток

В библиотеке Института русской литературы (Пушкинский дом) среди редких изданий хранится экземпляр «Европейца», подаренный Киреевским в июне 1854 года библиографу М. Н. Лонгинову. Получив этот раритет, Лонгинов написал на нем:

«И. В. Киреевский послал два вышедших номера «Европейца» князю Сергею Григорьевичу Голицыну (Фирсу) с надписью: «Князю С. Г. Г., чтобы показать, что значит промах» (Ибо журнал был запрещен). Голицын по прочтении журнала отвечал:

Недаром запрещен журнал:
Ты много высказал в двух томах
И, промахнувшись, доказал,
Что малый ты не промах.

Нам неизвестно, когда сделал свою надпись Киреевский, неизвестно также, когда Голицын сочинил эту дружескую эпиграмму. Во всяком случае в разгар событий связанных с запрещением журнала, Киреевскому было не до шуток. Какие чувства обуревали в это время издателя «Европейца», видно из его письма к Вяземскому:

«Княгиня <В. Ф. Вяземская> читала мне те места из Ваших писем, где Вы говорите обо мне и о моем Европейце²⁰. Участье Ваше чуть не заставило меня полюбить Булгарина. Если бы дело касалось до одного меня, то я бы назвал его счастливым, столько прекрасных минут оно мне доставило, из которых лучшим обязан я Ж<уковскому> и Вам. Но, по несчастью, запрещение Европейца касается не до одного меня. Оно имеет влияние на всю литературу нашу и производит на нее такое же действие, как предпоследний ценсурный устав. С тех пор как слух о паденье моего журнала здесь распространился, я знаю больше десяти случаев, где автор вычеркивал и переделывал свое сочинение, уже пропущенное

ценсурою. А сколько остановится мыслей в минуту писания! — Мне жаль даже и Телеграфа, который тем только и был полезен, что говорил очертя голову. К тому же правительство, осудя Европейца ни за что, должно было поступать строго и с другими журналами, чтобы сохранить хотя тень беспристрастия. Потому вслед за запрещением Евр<опейца> получена здесь грозная бумага против Телескопа и Телеграфа, где их упрекают в *самом вредном либерализме* и велют смотреть за ними как можно строже. За каких-то глупых Двенадцать спящих будочников отставили цензора, а автор, посаженный еще прежде Мухановым на съезжую, не нашел никакого удовлетворения. Голицын С. М., испугавшись таких нападков на литературу и цензоров, просит государя перевести цензуру к жандармам, которые все, что не пропустят, будут представлять выше и тем раздражать более и более. Одним словом, вред, который мы с Булгариным сделали литературе нашей, — неисчислим. И вот как судьба смеется над нашими намерениями. Думал ли я, начиная журнал, что принесу вред? — Но именно потому, что вред этот я сделал, я не в праве отделять человека от журналиста в моем оправдании. И что мне в оправдании личном? К тому же оправдывать только мои намерения не значит ли сказать им: «Вы правы!» — Прилично ли это? Позволительно ли? Я думаю даже, это и не выгодно. Потому что чем меньше они будут меня уважать, тем легче будут трактовать кое-как. Мне кажется, если уже оправдываться, то вполне, и особенно как журналисту. Если мне удастся доказать им, что они были со мной совершенно несправедливы, то из этого может выйти одно из двух: либо они поступят со мной еще несправедливее, либо раскаются. И то и другое полезно, потому что и то и другое заставит их образумиться. Впрочем, признаюсь, что оправдываться отменно трудно, потому что надобно говорить против самого государя, и потому что надобно говорить ему самому, и больше всего потому, что немножко смелое слово может повредить не одному мне. Поэтому прошу Вас (попросите о том же и Ж<уковского>) не хлопотать обо мне слишком явно, чтоб участие не сочтено было единомышлением. Не все, что прекрасно, полезно; а в этом случае заступаться за меня без всякого сомнения вредно для Вас, вряд ли полезно для меня, и уже потому увеличивает зло для меня, что заставляет меня бояться еще большего.

Я не смею теперь писать к Вам по почте; прошу и Вас этого не делать; но при случае я пришлю Вам мой разбор последней главы Онегина, который был было напечатан в третьей книжке. Поправьте его как угодно и передайте Сомову в его сборник для напечатания без имени. Если бы Сомов задумал издавать журнал по форме, я бы обязался доставлять ему каждые две недели печатный лист, не говоря ни слова ни о просвещении, ни о деятельности разума.

Посылаю Вам продолжение 19-го века. Это контрабанд, следовательно, не показывать его никому или немногим, но при случае скажите мне об нем Ваше мнение»²¹.

Больно, очень больно было Киреевскому в эти тревожные дни. Рушились самые заветные надежды. И некого было звать к ответу. Не пошлешь же «короткий вызов, иль картель» самодержцу всея Руси? И что досадней всего, благие намерения, с которыми он приступил к изданию этого журнала, действительно, обернулись бедой не только для него самого, но и для всей русской литературы.

9 февраля 1832 года Бенкендорф обратился к министру народного просвещения князю Ливену со следующим отношением: «Рассматривая журналы, издаваемые в Москве, я неоднократно имел случай заметить расположение издателей оных к идеям самого вредного либерализма. В сем отношении особенно обратили мое внимание журналы: «Телескоп» и «Телеграф», издаваемые Надеждиным и Полевым. В журналах сих часто помещаются статьи, писанные в духе весьма недобронамеренном и которые, особенно при нынешних обстоятельствах, могут поселить вредные понятия в умах молодых людей, всегда готовых, по неопытности своей, принять всякого рода впечатления. О таких замечаниях я счел долгом сообщить Вашей светлости и обратить особенное Ваше внимание на nepозволительное послабление московских цензоров, которые, судя по пропускаемым ими статьям, или вовсе не пекутся об исполнении своих обязанностей, или не имеют нужных для сего способностей. По сим уверениям, я осмеливаюсь изъяснить Вашей светлости мое мнение, что не излишним было бы сделать московской цензуре строжайшее подтверждение о внимательном и неослабном наблюдении ее за выходящими в Москве журналами»²².

Ливен поспешил переслать выговор, сделанный Бенкендорфом, в Москву. Попечитель московского учебного округа князь С. М. Голицын, верноподданный чиновник, трусливый и неумный (его по заслугам отхлестал Герцен в «Былом и думах»), раздосадованный промашкой своих чиновников и нагоняем из Петербурга, ответил Ливену: «...в предотвращение всех возможных неблагоприятных следствий, я почитаю обязанностью покорнейше просить Вашу светлость, не угодно ли будет содействием Вашего сана устроить издание журналов и вообще повременных изданий таким образом, дабы оные являлись в свет под надзором и бдительностью полиции журналов»²³.

Итак, Киреевский прав: С. М. Голицын хотел укрыться за широкую спину шефа жандармов — пусть, дескать, III Отделение занимается цензурой журналов и отвечает за них.

А о каких глупых будочниках писал Киреевский? Он имел в виду грозу, вызванную появлением в свет книги «Двенадцать спящих будочников. Поучительная баллада». Она была издана по псевдонимом Елистрата Фитюлькина: ее автором был воспитанник Московского университета Василий Андреевич Проташинский. Название его юмористической баллады пародировало «Двенадцать спящих дев» Жуковского. Молодой автор остроумно описал нравы полицейских властей. Цензором книги был С. Т. Аксаков. Он только что получил строгое замечание за дозволение первого номера «Европейца». А тут как на грех подоспели будочники! В середине февраля 1832 года Бенкендорф писал Ливену об этой злополучной книжке: «Государь император <...> изволил найти, что она заключает в себе описание действий московской полиции в самых дерзких и неприличных выражениях <...> что цензор Аксаков вовсе не имеет нужных для звания его способностей, и потому высочайше повелевает его от должности сей уволить»²⁴. Августейшее повеление было немедленно исполнено — Аксаков уволен, книга изъята из обращения, а ее автор удален из Москвы: дабы другим не повадно было вольно писать о лицах, носящих полицейскую форму²⁵.

Третий номер «Европейца» уже не увидел света: журнал был запрещен. Между тем несколько статей для этого номера успели отпечатать. До нашего времени дошли считанные экземпляры этого незавершенного номе-

ра: они являются величайшей библиографической редкостью.

Среди отпечатанных статей было и продолжение статьи Киреевского «Девятнадцатый век». Теперь мы узнаем, что это продолжение было им переслано в Петербург, и 99 шансов из 100, что Вяземский дал прочесть полученный «контрабанд» Пушкину и Жуковскому. Это тем более вероятно, что и само письмо Киреевского Вяземскому не могло остаться тайной для них. Все, что касалось запрещения «Европейца», их остро интересовало, и, по-видимому, они сообща обдумывали, как обороняться от правительственной «агрессии».



С поднятым забралом

Киреевский заклинал своих петербургских друзей и покровителей действовать как можно осторожней, даже не писать ему по почте. Прямым ответом на эту просьбу звучат слова Пушкина в письме Киреевскому от 11 июля 1832 года:

«Я прекратил переписку мою с Вами, опасаясь навлечь на Вас лишнее неудовольствие или напрасное подозрение, несмотря на мое убеждение, что уголь сажею не может замараться»²⁶.

Даже это письмо, написанное пять месяцев спустя, Пушкин послал с оказией — предосторожности были приняты. Но юношеская попытка самопожертвования — Киреевский просил не хлопотать о нем — была решительно отвергнута его друзьями. В том же письме Пушкин сообщал Киреевскому: «Жуковский заступился за Вас с своим горячим прямушием; Вяземский писал к Бенкендорфу смелое, умное и убедительное письмо».

Теперь мы можем представить себе в полной мере то, о чем писал Киреевскому Пушкин.

Жуковский отправил два письма — Бенкендорфу и Николаю I. Он писал, что Киреевский стал безвинной

жертвой клеветы и всеобщей подозрительности. Он принимал на себя ответственность за направление «Европейца». «Киреевский есть самый близкий мне человек: я знаю его совершенно; отвечаю за его жизнь и правила; а запрещение журнала его падает некоторым образом и на меня, ибо я принял довольно живое участие в его издании»²⁷.

Это заявлено в письме к императору. А письмо Бенкендорфу, достаточно распространившись о невинности Киреевского и своей собственной, Жуковский вдруг заканчивает словами: «...не считая приличным оправдывать ни мнений своих, ни поступков...» — и переходит к обвинению. Он обвиняет «торгашей» от литературы, которые нападают на политические мнения своих противников, и — косвенно правительство, которое прислушивается к доносам. «Литература есть одна из главных потребностей народа, есть одно из сильнейших средств в руках правительства действовать на умы и на их образование. Правительство должно давать литературе жизнь и быть ей другом, <...> а не утеснять с подозрительностью враждебной».

Жуковский не ограничился письмами. Современники передавали, что в устной беседе с царем он вновь пытался поручиться за Киреевского. Последовал раздраженный ответ: «А за тебя кто поручится!»²⁸

«Между государем и Жуковским произошла сцена, вследствие которой Жуковский заявил, что коль скоро и ему не верят, то он должен тоже удалиться; на две недели приостановил он занятия с наследником престола»²⁹.

Так окончилось смелое и прямодушное заступничество Жуковского.

Что же касается решительного письма Вяземского, то оно до последнего времени не было известно. Черновик этого письма удалось обнаружить среди бумаг Остафьевского архива. Письмо написано по-французски; на первой странице письма неизвестной рукой сделана помета: «Гр. А. Х. Бенкендорфу». Вяземский писал:

«Генерал,

Соблаговолите снисходительно уделить минуту внимания моему письму. Я начинаю с просьбы извинить меня за шаг, который Вам может показаться неуместным, однако я осмеливаюсь его сделать, подчиняясь голосу моей совести и полностью доверяя прямоте и чест-

ности Ваших чувств. Поверьте мне, что это вступление не является простой вежливостью. В глубине души я ценю Вас как человека, которому свойственны благие намерения, человека беспристрастного и доступного истине, по крайней мере искренности; человека, который может заблуждаться, но повинуюсь при этом лишь внутреннему голосу своей совести.

Речь идет о журнале «Европеец», который, по слухам в обществе, недавно запрещен. Генерал, я рассматриваю эту меру как несправедливую и во всяком случае несовместимую с интересами правительства. Я с исключительным вниманием прочитал и перечитал статьи, содержащиеся в первом номере, и положила руку на сердце удостоверяю, что никакое недоброжелательное намерение, никакой ниспровергающий принцип мною не были обнаружены под покровом слов, которые, следуя известному изречению Лабрюера, являются лишь *искусством скрывать мысли*. Внутреннее убеждение, которое я почерпнул из чтения этих статей, доказывает по крайней мере, что смысл этих произведений не является явно злонамеренным. Если бы смысл этих статей был таков, он меня поразил бы, как любого другого, а если бы у меня осталось подобное впечатление, то я не предпринял бы защиту их. Моя честность и мой здравый смысл мне запретили бы это, несмотря на доброжелательность, с которой я отношусь к редактору этого журнала и ко всей его семье. Следовательно, лишь истолкование, исходящее из предвзятого мнения или по крайней мере предубежденного может побудить нас счесть достойным порицания то, в чем другой читатель, несколько непредубежденный, не увидит никакого недоброжелательного или злонамеренного намека, причем от подобного предвзятого мнения нас зачастую не спасет ни наиболее просвещенный ум, ни самое искреннее чистосердечие. Известное изречение гласит: «Дайте мне четыре строчки, написанные кем угодно, и я найду в них повод для обвинения».

Любая фраза способна вызвать подозрение. Речь идет о большей или меньшей подозрительности или недоверчивости лица, которое читает или слушает данную фразу, и я считаю своим долгом, хотя это и не является моей обязанностью, выразить Вам мои сомнения и мое убеждение; когда мысли выражены без обиняков, то нет повода к расхождению во мнениях: тогда смысл

слов можно установить и понять. Но во всех случаях, когда слово не может служить псевдом к обвинению, возможны различные истолкования речи, которые меняются в зависимости от взгляда на вещи. Разрешите мне сказать Вам, что лишь при предвзятом отношении к автору и под влиянием недоброжелательного мнения, возникшего в результате зловредных нашептываний, можно найти в указанном издании дух ненависти и скрытый смысл, заслуживающий обвинения.

Я знаю лично редактора журнала: это молодой человек, нравственность, чувства и принципы которого достойны уважения, со всех точек зрения достойны уважения. Он не только сын, добросовестно исполняющий свои семейные обязанности, он не менее добросовестно относится к своим обязанностям подданного и гражданина, и никакая мысль о ниспровержении порядка, никакое намерение, враждебное по отношению к обществу, не могло бы иметь доступ к его чувствительной и благородной душе. Он мне часто говорил о своих журнальных планах и никогда никакие политические виды, никакая скрытая цель не толкали его на это предприятие. Основательно изучив немецкую литературу, он почерпнул в ней туманность выражений, ту метафизическую окраску, которая безусловно придала его словам скрытый смысл, который сочли возможным в них увидеть. Но само изучение немецкой философии, предпочтение, оказываемое ей перед всеми другими, направление ума скорее метафизическое, нежели позитивное, которое является результатом этих занятий, служит гарантией, что политика и страсти, которые она разжигает, совершенно чужды и диаметрально противоположны его наклонности и устремлениям. Это кабинетный ученый, вдумчивый человек, вовсе не человек действия, не человек нового, но ум пылкий и беспокойный. Главные черты его характера — чрезвычайная мягкость и сильная застенчивость, обе черты также несовместимы с намерением, в котором его могли бы заподозрить. Все, что я здесь излагаю, Генерал, исходит из всестороннего знания этого лица. Я осмеливаюсь Вам ответить, что он невиновен ни в поступке, ни в намерении... Сблаговолите принять во внимание, что он молод, что наказание, которое его постигло, сурово, что оно рушит его карьеру почти в первый момент вступления в общество, что, сознавая правоту своего намерения, он видит себя под тяжестью серь-

езного и приводящего в уныние обвинения. Обстоятельства ставят его в ложное положение по отношению к правительству и обществу; впечатления, полученные в молодости, глубоко врезаются в душу.

Примите его под свою защиту, Генерал, чтобы отвести удар, который должен его настичь, или же если самый удар неотвратим, по крайней мере, смягчите его последствия. Действуя таким образом, Генерал, Вы поступите в духе справедливости и правительства. Подобный поступок будет соответствовать месту, которое Вы занимаете и которое обязывает к примиряющему, покровительственному образу действия. Я сам долго находился под тяжестью подобного обвинения, я знаю, как портит характер ложное положение, в которое нас часто ставят посторонние обстоятельства, или первый шаг, первое потрясение; я знаю, насколько все это придает что-то упрямое, что-то жесткое чувствам и мнениям. Спасите молодого человека, достойного Вашего покровительства, от этого тягостного состояния, тягостного для него и противоречащего интересам общественного блага, поскольку это состояние вредит гармонии, которая должна существовать между властью и личностью, и разрешите мне под конец письма затронуть еще данный вопрос с точки зрения интереса правительства. При наличии цензуры автор какого-либо сочинения не может считаться ответственным за него, разве только если существует доказуемый сговор между писателем и цензором и если совершенное ими преступление, так сказать, кидается в глаза. В данном случае дело так не обстоит. Как бы ни был суров приговор, произнесенный над автором, последний не совершал ничего противного закону, не позволил себе нападок на предметы, которым каждый должен оказывать уважение. Следовательно, в настоящее время он не подлежит обвинению, так как цензура разрешила его сочинение. Если можно быть наказанным за действие, одобренное законом, то это ослабит безграничное доверие, которое следует питать к законности.

Запрещение журнала является покушением на ответственность. Издание журнала влечет за собой неизбежные затраты; редактор несет ответственность перед подписчиками, которые заплатили деньги вперед в силу имеющегося, так сказать, контракта между ними и редактором. При запрещении журнала редактор теряет

капитал, который он пустил в оборот, и не выполняет свои обязательства по отношению к подписчикам, которые внесли свои деньги. Публика не всегда может быть осведомлена о запрещении журнала правительством и может обвинять редактора в непорядочности и нечестном ведении дел.

Правительство же располагает средствами для пресечения тех злоупотреблений, которые оно обнаруживает. Запрещение является мерой окончательной, которую следует применять только в случаях повторного преступного деяния или совершенно очевидного нарушения законов.

В наше время правительство должно быть, с одной стороны, сильным и непреклонным, с другой стороны, настолько же справедливым и умеренным в проявлениях своей власти. Меры воздействия являются предметом размышлений, и всякая суровость, если она не продиктована настоятельной необходимостью и не имеет священного отпечатка закона, является не только несправедливостью, но и ошибкой. Я подвожу итог сказанному: речь идет как о вопросе совести, так и о рассмотрении вопроса с точки зрения правительства. Что касается первого, то я свидетельствую, что редактор журнала лично неповинен в преступных намерениях, в которых его обвиняют.

В отношении второго: 1. Решения подобного рода несовместимы с наличием цензуры, и, следовательно, они не могут соответствовать пожеланиям правительства, которое должно не только властвовать, но и путем законности своих решений заставить замолчать всех тех, кто наиболее заинтересован в том, чтобы жаловаться на суровость мер, принятых правительством.

2. Принимая во внимание малое количество наших писателей и недостаток движения нашей литературы, в то время как число читателей увеличивается и потребность в чтении растет все более, всякое покушение на право опубликования своих мыслей, соответственно с существующим законом, является весьма чувствительным покушением, имеющим далеко идущие последствия, и результат его совершенно противоположен результату, к которому стремится правительство, т. е. успокоению умов и предупреждению злоупотреблений. Всякое запрещение газеты, журнала, который читался бы лишь определенным кругом читателей, становится делом, занимающим всех, и предметом общих разговоров.

3. Наши литераторы, как и публика вообще, полагают, что наша цензура очень строга, что цензоры чрезвычайно трусливы и мелочны, и, следовательно, всякая мера, принятая правительством и усугубляющая строгость цензуры, носит характер пристрастия.

И 4. В этом случае, в частности, все те читатели данного журнала, с которыми мне случилось беседовать, отнюдь не разделяют того впечатления, которое этот журнал произвел на правительство, считают этот журнал совершенно безвредным и приписывают досадное истолкование статей, в нем содержащихся, какому-либо злонамеренному обвинению лично автора его врагами, которых он приобрел, опубликовав несколько лет тому назад весьма резкие критические статьи против некоторых наших журналистов.

Заканчивая письмо, я еще раз прошу Вас простить мне смелость, с которой я злоупотребляю Вашим доверием и Вашим временем. Что касается меня, то сознаюсь, что мне было необходимо высказать мысли, тяготившие мой ум, и я предпочел изложить мои сетования Вам, нежели рисковать распространением их в обществе. Смею думать, что Вы ни в коем случае не будете на меня в обиде за мою исповедь и даже льщу себя надеждой, что она, может быть, пойдет в какой-то мере на пользу, хотя бы для того, Генерал, чтобы дать Вам лишний раз доказательство того уважения и того доверия, с которым относятся к Вам, а также доказательство откровенности, с которой Вам излагают свои мысли, даже в том случае, когда они, возможно, противоречат Вашим. Это также доказательство преданности правительству и тем, кто облечен его доверием»³⁰.

Удар, обрушившийся на журнал Киреевского, сильно взволновал писателей; в действиях правительства они справедливо усмотрели покушение на свои и без того стесненные права. Именно поэтому Вяземский не ограничился защитой Киреевского, а смело писал о цензурном застенке Российской империи. Конечно, Вяземский понимал, что его непрошенное вмешательство вряд ли будет иметь успех. И тем не менее он вмешался. Он чувствовал себя обязанным сказать правду.

Не менее Вяземского и Жуковского возмущен был Пушкин — 14 февраля он писал И. И. Дмитриеву: «Вероятно, Вы изволите уже знать, что журнал «Европеец» запрещен вследствие доноса. Киреевский, добрый и

скромный Киреевский, представлен правительству сорванцом и якобинцем! Все здесь надеются, что он оправдается и что клеветники — или по крайней мере клевета устыдится и будет изобличена»³¹.

Письма Пушкина подвергались перлюстрации, внимательно читались в III Отделении. Поэт знал об этом и все-таки не удержался, чтобы не выпалить Дмитриеву свое негодование. Впрочем, правительство и так понимало, что мысли, изложенные Вяземским в его энергичном письме к шефу жандармов, отражали не только его личный взгляд, но и вообще настроение писателей пушкинского круга. Достаточно было внимательно прочесть выводы третий и четвертый, сделанные Вяземским от имени литераторов и читателей журнала «Европеец».

К тому же история с журналом Киреевского явно вклинивалась во взаимоотношения Пушкина с правительством. Ведь в те самые дни, когда разразилась буря над «Европейцем», у Пушкина происходила очередная стычка с Бенкендорфом: III Отделение запросило поэта, на каком основании он дал напечатать в альманахе «Северные цветы на 1832 год» стихотворение «Анчар», минуя высочайшую цензуру Николая I. Шеф жандармов усмотрел в стихотворении Пушкина дерзкое иносказание. В черновике неотправленного письма к Бенкендорфу Пушкин с раздражением писал: «...обвинения в применениях и подразумениях не имеют ни границ, ни оправданий, если под словом *дерево* будут разуметь конституцию, а под словом *стрела* самодержавие»³².

До чего знакомая картина! Такова же была нехитрая «технология», с помощью которой выискивали «крамолу» в статье Киреевского «Девятнадцатый век»; там зашифрованным эквивалентом конституции сочли выражение «золотая середина».

Как видим, обвинения против Пушкина и Киреевского аналогичны: хитроумно толкуя текст, Бенкендорф и Николай I силились найти тайный смысл как в статьях Киреевского, так и в стихотворении Пушкина. Для правительства имена Пушкина и Киреевского стояли в одном ряду недовольных, и хотя кривотолки верховной власти были вздорными, однако жандармское препарирование статей Киреевского и произведений Пушкина было логичным (конечно, если исходить из логики III Отделения). Правда, ни Пушкин, ни Киреевский не призывали ниспровергать существующий строй, в чем

их пытались обвинить правительство; но их неустанная забота о просвещении России и неразрывно связанная с этим доктрина просвещенной монархии были враждебны деспотизму царя. Их просветительские идеалы вызывали настороженную подозрительность властей.

Так история с «Европейцем» органически включается в биографию Пушкина.



Исторический бумеранг

На этом можно бы поставить точку, если б История не написала увлекательного продолжения этого сюжета. Закрыв «Европеец», правительство стало всячески препятствовать журнальной деятельности «крамольного» издателя. Когда в Москве несколько лет спустя стал выходить «Московский наблюдатель», то учредителям журнала было объявлено, что власти не разрешают участвовать в нем Киреевскому. В последующие годы, когда Киреевский примкнул к славянофилам, правительство также чинило ему всевозможные препятствия. Талантливый литературный критик и блестящий публицист, Киреевский так и не смог развернуть свои дарования (а природа щедро одарила его!) в царствование Николая I... Шли годы, шли десятилетия. После позорного поражения в Крымской войне умер Николай I. На престол вступил Александр II. Вяземский стал товарищем министра народного просвещения. В статье «Несколько слов о народном просвещении в настоящее время» (1855) он утверждал, что последние десятилетия Россия быстро шла по пути просвещения, что под покровительством правительства процветали русские университеты, что русская литература всемерно поощрялась верховной властью.

Публично возражать товарищу министра было невозможно. Но ответ все-таки последовал — и какой ответ! В Остафьевском архиве князей Вяземских хранится один из самых волнующих документов русской общественной мысли XIX века — письмо Вяземскому Киреевского. Та-

кова беспощадная ирония Истории: бывший издатель «Европейца», за которого так мужественно заступился в свое время Вяземский, теперь — 23 года спустя — с гневом обвинял Вяземского, взявшего под защиту царствование Николая I:

«Не фраза правило, что только на правде могут быть основаны твердые и благополучные отношения между правительством и управляемыми. Потому мы надеялись, что те стеснения, которые у нас, особенно в последнее время, были наложены на развитие просвещения и словесности, будут наконец сняты или по крайней мере будут признаны только временными мерами. И что же? Вместо того нам объявляют, что мы не должны надеяться ни на что лучшее, что правительство наше и так довольно печется о просвещении, что словесность у нас процветает под его покровительством, что все лучшие писатели наши были всегда отмечены и возвышены им по заслугам своим, что наши университеты и училища кипят просветительною и любознательною деятельностью, что правительство поощряет полезные и замечательные труды во всех отраслях письменной деятельности, что науки имеют в нем благосклонного поощрителя и покровителя, и сама поэзия не остается без сочувствия и внимания.

Это пишете Вы в то самое время, когда университеты наши закрыты для всех, кроме 300 слушателей, отчего и вся Россия устранена от них, ибо, не имея уверенности, что дети попадут в число немногих избранных, необходимо готовить их к другим заведениям; в то время, когда другие учебные заведения принимают все больше и больше вид и смысл кадетских корпусов; когда профессора университетов должны посылать программы своих чтений в Петербург для обрезания их по официальной форме, чем, разумеется, убивается всякая жизнь науки в профессоре, а следовательно, и в студентах; когда иностранные книги почти не впускаются в Россию, а русская литература совсем раздавлена и уничтожена цензурою неслыханною, какой не было еще примера с тех пор, как изобретено книгопечатание; когда имя Гоголя преследовалось как что-то вредное и опасное; когда Хомякову запрещено не только печатать в России, но даже читать свои произведения друзьям своим; когда большая часть литераторов под опалою, или под запрещением, или под надзором полиции, только за то, что они литераторы.

Если это называете Вы покровительством, сочувствием и поощрением просвещения и словесности, то что же назвали бы Вы равнодушием?

Покойный император имел, кажется, много таких качеств, за которые его можно бы хвалить, с уверенностью встретить общее одобрение и сочувствие. Но хвалить его именно за покровительство и сочувствие к просвещению и словесности то же, что хвалить Сократа за правильный профиль.

Если покойный император ошибался, то по крайней мере добросовестно. Если вследствие своего особенного, личного воззрения он почитал полезным, особенно под конец царствования, останавливать развитие просвещения и стеснять деятельность литературы, то это воззрение могло быть неправильное, даже вредное, но было искреннее, и потому, надобно сказать, честное. Он не называл затруднение — поощрением и стеснением — покровительством. Если так выражались в официальных речах и докладах, то эти выражения имели смысл покорного слуги в конце письма <...>

<...> Доказательство того, что правительство всегда отличало таланты и покровительствовало словесности, Вы приводите в пример Карамзина, Жуковского, Пушкина, Батюшкова, Крылова и Гоголя. Но в Карамзине и Жуковском покойный император любил человека, и это делает честь его сердцу, но не имеет никакого отношения к покровительству словесности. Пушкину он дал много при смерти; но Вы знаете, ценил ли он его при жизни в настоящую цену, хотя Пушкин сделал много для его славы, пожертвовав для нее большею частью своей. Крылову точно покровительствовали, но за то и одевали Грацией. Что сделали для Батюшкова, я не знаю и не умею понять, что можно было для него сделать? Гоголю царь дал несколько денег на бедность, не зная хорошо, кто такой Гоголь, и не для него, а для тех, кто за него просили. Когда имя Гоголя и его громкое значение в нашей литературе сделались известными, то даже память о нем преследовалась, как вещь враждебная правительству. Спросите об этом Ивана Тургенева и Ивана Аксакова.

Нет, покойный император никогда не любил словесности и никогда не покровительствовал ей. Быть литератором и подозрительным человеком — в его глазах было однозначительно. Может быть, когда к <нязь> Вя-

земский будет писать свою биографию, и он расскажет кое-что в подтверждение моих слов. Наши книги и журналы проходили в публику, как вражеские корабли теперь проходят к берегам Финляндии, т. е. между скал и утесов и всегда в виду крепости. Особенно журнальная деятельность — этот необходимый проводник между ученостью немногих и общею образованностью — была совершенно задушена, не только тем, что журналы запрещались ни за что, но еще больше тем, что они отданы были в монополию трем-четырем спекулянтам. Мнению русскому, живительному, необходимому для правильного здорового развития всего русского просвещения, не только негде было высказаться, но даже негде было образоваться. Один Булгарин с братиею пользовались постоянным покровительством правительства во все продолжение царствования. Если Булгарин представитель просвещения и словесности России, то действительно они покровительствовались и поощрялись в его лице, или как приличнее назвать его персону? Для него вся Россия была обращена в одну огромную и молчаливую аудиторию, которую он поучал в продолжение 30-и лет почти без совместников, поучал вере в бога, преданности царю, доброй нравственности и патриотизму. Русских — Булгарин! В самом деле, какое процветание просвещения! Какое кипение умственной жизни! <...>

<...> Вы знаете, многоуважаемый князь, что тому, кто владеет драгоценным камнем, грустно заметить в нем малейшую царапину. Уважение к тем необыкновенным людям, которых я имел счастье встретить в моей жизни, составляет мои драгоценные камни. Вас я знал еще с детства моего от лучших друзей Ваших, и через их глаза следил за Вами еще прежде, чем лично познакомился с Вами. Вот отчего теперь прошу Вас сердечно: помогите мне стереть царапину с моего драгоценного камня.

Примите уверения в глубочайшем почтении и совершенной преданности

Вашего покорного слуги
Ивана Киреевского,

6 дек<абря> 1855»³³.

Подобно тому как зальцбрунское письмо к Гоголю явилось политическим завещанием Белинского, письмо к Вяземскому стало духовным завещанием Киреевского: он скончался 12 июня 1856 года, через полгода после то-

го, как излил свою душу в этом послании. На протяжении четверти века копил Киреевский негодование на Николая I, и тут оно вырвалось наружу. Раскаленным пером первоклассного публициста, которого насильно принудили к молчанию, изобразил он удушение русской литературы верховной властью.

На письме Киреевского нет ни единой пометы: Вяземский прочитал его и положил в свой архив. «Молчать — это значит признать себя неправым», — писал он в меморандуме 1833 года. И теперь он был вынужден промолчать. Обвинения, выдвинутые Киреевским в адрес Николая I, были неопровержимы, и Вяземский перед судом собственной совести не мог не признать правоты Киреевского, вынесшего беспощадный приговор всему царствованию Николая I и его политике в области печати.



„Рука всевышнего Отечество спасла“



Угрозы и увещания

С 1825 года начал выходить «Московский телеграф», один из лучших журналов пушкинской эпохи. Николай Алексеевич Полевой, издатель журнала, привлек к сотрудничеству передовых писателей и литераторов. Близкое участие в делах журнала принимал Петр Андреевич Вяземский.

Он имел обширные связи в литературном мире; благодаря его усилиям в журнале печатали свои статьи, стихи и корреспонденции известнейшие писатели того времени: Пушкин, Жуковский, Баратынский, Козлов, Языков, Василий Львович Пушкин и другие. Иностранные книжные новинки (их доставлял из-за границы Александр Иванович Тургенев) способствовали широте информации «Московского телеграфа». А. И. Тургенев умудрялся присылать книги и журналы, минуя таможенный осмотр. Это было очень кстати! Он снабжал Вяземского «контрабандной» литературой, ввоз которой в Россию был запрещен цензурой иностранных книг. У А. И. Тургенева была тьма знакомых, он был близок со многими дипломатами, а, как известно, дипломатическая почта не подлежала осмотру. Минуя таможенные шлагбаумы, иностранные книги и журналы по-

являлись в Москве. В критических статьях и библиографических обзорах «Московского телеграфа» печатались отзывы об этих запрещенных изданиях: журнал был «окном в Европу» для русского читателя.

Энциклопедическая разносторонность, злободневность многих статей журнала сразу же принесли «Московскому телеграфу» заслуженную славу прогрессивного издания. А в те годы стоять во главе независимого журнала было нелегким занятием. К чести Полевого и Вяземского, неудача восстания декабристов на Сенатской площади не испугала их, не обескуражила: с 1826 года «Московский телеграф» все более и более становится трибуной оппозиции. Естественно, что номера журнала не залеживались на полках.

Успех «Московского телеграфа» воодушевил Полевого; в середине 1827 года он задумал расширить свою деятельность и начать выпуск еще двух повременных изданий: газеты «Компас», «в которой немедленно и кратко должны быть сообщаемы новости политические и литературные», и журнала «Энциклопедические летописи отечественной и иностранной литературы». Предвосхищая издания подобного типа (вплоть до изданий середины XX века!), Полевой стремился дать и массовому читателю и специалистам возможно больше самых разнообразных сведений — как общественных, так и литературных.

Полевой послал прошение в Петербург. К его просьбе благожелательно отнеслись член Главного цензурного комитета адмирал Николай Семенович Мордвинов (единственный член следственной комиссии по делу декабристов, отказавшийся подписать смертный приговор) и министр народного просвещения Шишков. Они были непрочь взять под покровительство «чисто-русское дарование» купца второй гильдии Полевого. И тут-то произошло непредвиденное: министру народного просвещения пришлось пойти на попятный. Что же случилось? Вмешалось всесильное III Отделение.

Историк русской литературы академик М. И. Сухомлинов еще в конце прошлого века нашел в архиве и напечатал тексты трех анонимных записок, посвященных «Московскому телеграфу»¹. Даты этих безымянных доносов — 19, 21 и 23 августа 1827 года, т. е. то самое время, когда Полевой энергично хлопотал о разрешении издавать новый журнал и газету. М. К. Лемке, автор ка-

питального труда «Николаевские жандармы и литература 1826—1855 годов по подлинным делам Третьего отделения...», перепечатавший эти доносы, и за ним все позднейшие исследователи не сомневались в авторстве Фаддея Булгарина. «Компас» угрожал его монополии, и естественно было предполагать, что он поспешил отвести нависшую угрозу. Однако М. К. Лемке, допущенный в архив III Отделения в конце 1904 года, не успел сверить почерк этих трех доносов с почерком Булгарина. Опасаясь, что ему запретят работу в этом ценнейшем архиве, ученый спешил переписать как можно больше новых, еще неизвестных документов. Действительно, до сверки почерка руки не дошли: в декабре 1906 года двери архива закрылись перед ним.

Между тем эти три доноса сохранились до наших дней: все они написаны почерком управляющего канцелярией III Отделения фон Фока, но их «идейным вдохновителем» можно, не опасаясь ошибиться, считать Булгарина. В «Записке с предложениями о наблюдении за военными» (1830) Булгарин писал, что к фон Фоку «все честные люди имеют доверенность, зная, что он не употребит ее во зло. Пишущий сии строки за миллионы не имел бы ни с кем дело по сему предмету, а с М. Я. фон Фоком он откровенен, единственно потому что он честен и умен»². «Откровенные» разговоры Булгарина с управляющим канцелярией III Отделения дали богатый материал для трех записок-доносов на Полевого. «Труды» Булгарина не пропали даром: ходатайство издателя «Московского телеграфа» было отклонено. Четыре года спустя, осенью 1831 года, Полевой вновь подал прошение о преобразовании своего журнала. Он предлагал, помимо «Московского телеграфа», который стал бы выходить четыре раза в год, выпускать еженедельные прибавления к нему. И снова последовал отказ: «Не позволять, — начертал Николай I, — ибо и ныне ничуть не благонадежнее прежнего».

Доносы 1827 года не только помешали Полевому расширить свою журнальную деятельность, но и привели к закулисной «ходу конем» против «Московского телеграфа»: правительство отправило назидательное письмо Вяземскому. Оно было написано бывшим арзамасцем, ныне приверженцем Николая I — Д. Н. Блудовым, вскоре ставшим министром внутренних дел. Это «частное» письмо, посланное за подписью Блудова, дает понятие

о том, как осуществлялось иногда давление на журналистов в те годы. Вот русский перевод (подлинник по-французски) этого примечательного письма:

«Вы хотели знать мое мнение о Телеграфе; я сообщу вам его и предупреждаю вас, что это не только мое личное мнение. Находят, что в этом журнале встречаются интересные статьи, остроумные и справедливые замечания; но есть также страницы, о которых высказываются иначе. И не погрешности против стиля и вкуса вызывают главные возражения: дело заключается в некотором духе едкости и осуждения, в известном стремлении высказывать и напоминать ложные положения, превозносить людей, широко известных по их неистовой оппозиции, почти враждебной их правительствам; наконец (потому что именно это сочли возможным заметить в некоторых пассажах), двусмысленности и намеки, которые были бы преступными, если бы подобное предположение оказалось справедливым. Вы, без сомнения, будете возражать и скажете, что Вы не можете нести ответственность за различные толкования; но я, со своей стороны, Вам скажу, что для того, чтобы быть совершенно в ладу со своей совестью, не всегда достаточно не иметь дурного намерения: неосторожность также является виной. В век, духовно больной, как тот, в котором мы живем, порою мысль невинная сама по себе, но выраженная так, что подсказывает разные заключения, может произвести пагубное воздействие на читательскую чернь, а ведь именно на эту чернь распространяется влияние журналов; необходимо избегать этого как ради самого себя, так и ради правительства. Таким образом, замечено, например, и обращено внимание на то, что в № 1 Телеграфа, стр. 6, наша литература сравнивается с запретной розой, а на стр. 8 ставится вопрос: *что сделали русские в течение двух последних лет?* А ведь это годы 1825 и 1826. Ниже Вы говорите: *в конце 24-го года мы надеялись продвинуться вперед в 25-м; эта надежда была обманута, как и многие другие... Сколько сладостных химер разрушено в течение этих двух лет!..* Я не могу поверить, чтобы Вы, <...> говоря о друзьях умерших или отсутствующих, думали о людях, справедливо пораженных законом; но другие сочли именно так, и я предоставляю вам самому догадываться, какое действие способна произвести эта мысль»³.

Прервем на время чтение письма и обратимся к занн-

тересовавшей Блудова статье «Взгляд на русскую литературу 1825 и 1826 гг. (Письмо в Нью-Йорк к С. Д. П.)». Статья была написана Полевым, а вставка в нее о погибших друзьях — Вяземским. В этой статье Полевой писал:

«Мне выпало писать к тебе о русской литературе, и признаюсь: выпал жребий не легкий!

Оно кажется сначала и не так тяжело: со времени двухлетней отлучки твоей, с тех пор, как ты сам перестал быть внимательным наблюдателем литературы отечественной, участь ее мало переменилась. Эта *запретная роза* остается по-прежнему запретною: соловьи свищут около нее, но, кажется, не хотят и не смеют влюбиться постоянно и только рой пчел и шмелей высасывают мед из цветочка, который ни вянет, ни цветет, а остается так, в каком-то грустном, томительном состоянии»⁴.

Не менее вызывающим был намек на декабристов, сделанный Вяземским: «В эти два года много пролетело и исчезло тех резвых мечтаний, которые веселили нас в былое время <...> Смотрю на круг друзей наших, прежде оживленный, веселый, и часто (думая о тебе) с грустью повторяю слова Сади (или Пушкина, который нам передал слова Сади):

*Одних уже нет,
другие странствуют далеко!»*⁵.

Вяземский частично привел эпиграф Пушкина к «Бахчисарайскому фонтану»:

«Многие, так же как и я, посещали сей фонтан; но иных уже нет, другие странствуют далече. *Сади*».

Приноровление эпиграфа к воспоминанию о декабристах вывело из себя Николая I и его помощников; это отразилось в письме Блудова: в строках о пушкинском переводе Саади чувствуется раздражение и вместе угроза.

Вряд ли Вяземский мог утаить от Пушкина полуофициальное послание Блудова. Читал ли Пушкин это письмо своими глазами или Вяземский пересказал его своему другу, но так или иначе Пушкин несомненно был осведомлен, что отныне правительство воспринимает цитату из Саади как намек на судьбу декабристов. Тем знаменательнее, что, заканчивая восьмую главу «Евгения Онегина», он вновь напомнил о своем эпиграфе к «Бахчисарайскому фонтану»:

Но те, которым в дружной встрече
Я строфы первые читал...
Иных уж нет, а те далече,
Как Сади некогда сказал,
Без них Онегин дорисован.

Продолжим, однако, чтение письма Д. Н. Блудова к Вяземскому: «Замечания не ограничиваются этой статьёй: в вашем № 7, стр. 195, 196 и 197, обратило на себя внимание то, что вы говорите о *так называемой стачке или согласии* господствующих идей века с идеями лорда Байрона. Нет сомнения в том, что талант Байрона замечателен; но известно, какое печальное употребление он часто делал из него, известно, что этого великого живописца страстей всю жизнь пожирала мрачные, почти доходящие до ненависти страсти вследствие своего рода гордого отвращения ко всему, что имеет право на уважение и любовь человечества; что он долгое время был отъявленным врагом всех существующих установлений, всех признанных верований, морали и религии, даже естественной религии. Поэтому можно справедливо удивляться, когда говорят о том, что люди нашего времени, выдающиеся своими талантами, придерживаются его взглядов; я хотел бы верить, что это не так, и в случае надобности было бы достаточно привести примеры Карамзина и Вальтера Скотта, чтобы доказать противное. Также отмечены были в №№ 4 и 6, стр. 133—150 и 112—133, 144, весьма преувеличенные похвалы, расточаемые Жан-Жаку Руссо, политическим вопросам и вопросам политической экономии, определенным как *темные вопросы, разрешение которых волнует всех людей*. Кажется, что эти статьи переводные, и перевод, быть может, сделан не вами; но подбор заимствованных статей также дает возможность судить об общем направлении журнала».

Блудов ссылаясь на статью Вяземского о сонетах Адама Мицкевича, в которой автор писал: «...в нашем веке невозможно поэту не отозваться Байроном, как романисту не отозваться В. Скоттом <...> Такое сочувствие, согласие нельзя назвать подражанием: оно, напротив, невольная, но возвышенная *стачка* (не умею вернее назвать) гениев, которые, как ни отличаются от сверстников своих, как ни зиждительны в очерке действия, проведенном вокруг их провидением, но все в не-

котором отношении подвластны общему духу времени и движимы в силу каких-то местных и срочных законов. Каждый мыслящий человек определит дух времени, свойственный каждой эпохе: но мы, чтобы не увлечься вдаль, оставили это выражение неопределенным»⁶.

В тех условиях Вяземский не мог более ясно выразить, что под «духом времени» он подразумевает оппозиционные устремления своей эпохи. Однако передовому читателю, равно как и правительству, была понятна мысль автора, выставляющего знаменем века поэзию Байрона.

«...Я вам рекомендую не только осмотрительность и осторожность, — так заканчивал свое письмо Блудов, — хотя осторожность также обязательна, особенно для отца семейства; существует еще более священная обязанность: долг совести и чести. Я глубоко убежден, что честь, совесть и разум совместно советуют и настоятельно предписывают вам не только умеренность, покорность и верность, которых от нас вправе требовать правительство, но также уважение и доверие, на которые оно равным образом имеет право благодаря своим постоянным усилиям достигнуть цели всякого хорошего правительства: сохранения и улучшения всего существующего. Не утешительно ли думать, что всякий честный человек в своей особой сфере деятельности, какой бы тесной она ни была, может, проявляя добрые чувства, распространяя здравые мысли, поддерживая разумные надежды, способствовать более или менее успеху этих усилий, осуществлению видов правительства, желающего добра и только одного добра. Это назначение, хотя и скромное, раз оно может быть назначением каждого, не больше ли стоит, чем эфемерная слава дерзости и оригинальности, чем необдуманые поступки, часто имеющие последствия если не разрушительные, то по крайней мере прискорбные. Итак, я вам говорю и повторяю: будьте не только благоразумны и осмотрительны, но и полезны, действительно полезны; с вашим умом и вашими способностями, если они будут должным образом направляемы, вы легко этого достигнете. Этот совет я вам передаю по повелению свыше; но в то же время это и совет друга; я даю его шурина того, кто был... как бы выразиться?.. кто был почти совершенным, потому что в этом дольном мире нет полного совершен-

ства. Я говорю вам также и от его имени и хотел бы обладать его языком, если бы осмелился считать себя способным подражать ему. Ввиду конфиденциального характера этого письма оно должно остаться между нами. Оно не требует ответа; самым лучшим ответом — и я надеюсь, что получу его, — было бы то известного рода покаяние, которого я желаю и требую от вас во имя всего, что вам дорого».

Искусно переплетая посулы и угрозы, тянется замысловатая вязь конфиденциального послания. Даже тень Карамзина (Вяземский приходился ему шурином) вызвана на помощь для увещевания строптивца.

В письме Блудова к Вяземскому правительство ясно изложило свою литературную «программу»: ставить всяческие препоны прогрессивной мысли.

Однако вернемся к «Московскому телеграфу». Как отразилось закулисное вмешательство властей на делах журнала? Вяземский вскоре покинул «Московский телеграф». Правда, причиной тому были в первую очередь его идейные разногласия с издателем журнала; в это время шло размежевание внутри оппозиционного лагеря: нарождавшийся буржуазный либерализм в лице Полевого вступал в борьбу с дворянской оппозицией, к которой принадлежал Вяземский. Но вежливые угрозы правительства также сыграли свою роль, вынудив Вяземского отойти от журнальной деятельности.



Казанский держиморда

Жанр деловых бумаг, казалось бы, не литературный жанр. Но порой в официальном отношении за номером таким-то четко проступает психология его «творца». И тогда даже жандармская переписка читается как увлекательная новелла.

28 февраля 1829 года начальник I Отделения V Округа корпуса жандармов подполковник Новокшенов писал из Казани Бенкендорфу: «С тех пор как изменил-

ся ценсурный устав, высочайше утвержденный в 10-й день июня 1826 года, периодические наши издания, сбросив покрывало скромности, приличия и умеренности, обнаружили вольнодумные мысли, неприличные выражения и слова, оскорбляющие чистоту нравов. Мелкие сочинения, наводняющие нашу литературу, также направлены к разврату, самому открытому.

А как произведения словесности подобного рода, удаленные от истинной цели, всегда были предтечами политических бедствий; то люди благонамеренные, страшась пагубного влияния на общественное мнение от сих сочинений, с крайним прискорбием взирают, что цензура, сие охранение чистоты нравов, сей оплот благочестия, сия стража от вольнодумства, попускает ныне так небрежно печатать всякой вздор мыслей.

К чему, говорят они, такое пристрастие к германизму: *Man kann, was man will?* Что за непостижимые напевы поэзии, проповедующей скрытно и явно: *высокие тайны ничтожества; направление умов к романтизму и байронизму; исторжение из общественного образования; еще не для всех настоящее без надежд и будущности; обходиться без торжественных истин религии; слова Тиверия: умерли боги!; таинственные покрывала; призывание к эпикуреизму; высокий философский гений — гость новых народов...*

Что это значит? адский язык, беснующееся вольнодумство, иступление философизма, из северной Германии к нам отражающегося, повсеместные исчадия революции, пропаганда нечестия и изуверства! Но к чему нас знакомить с ними так тесно? Не вчера ли почти видели мы ужасные плоды подобного просвещения в нашем отечестве, видели: Кюфельбекеров <так!>, Рылеевых, Пестелей и проч.

Пора зажать богохульный рот сим зловещим проповедникам!

Но все сие зло относят к тому, что в самом настоящем уставе о цензуре, высочайше утвержденном в 22-й день апреля 1828 года, сделана важная уступка свободе книгопечатания. Изменение государственного установления, то есть устава ценсурного 10 июня 1826 года, в короткое время его существования, породило в благонамеренных писателях самонадеяние, что новым ценсурным уставом предоставляется некоторым образом более свободы писать и печатать.

Слыша нередко подобные отзывы о периодических сочинениях, распространяющих весьма вредный дух, равным образом и о послаблении цензуры; долгом поставляю довести оные до сведения вашего превосходительства, покорнейше прося обратить благосклонное внимание к обнаружению тех вредных лиц, о коих в Вестнике Европы № 2 1829 года упоминается под названиями: сонмище нигилистов, *Флюгеровский*, *Чадский*, *Кант.*, *Угар.*, *Тленский*. Автор сей пиесы, подписавшийся под именем: Никодим Надоумка, вероятно, откроет всю тайну вышеозначенных лиц; ибо он, кажется, с тем и написал сию статью, чтобы обличить буйство издателя Московского телеграфа и его сподвижников»⁷.

Трудно себе представить более характерный документ эпохи. Тут и боязнь отмены «чугунного» устава 1826 года, и наивная вера казанского жандарма, что стоит вызвать Надеждина (писавшего под псевдонимом Никодим Надоумка) в III Отделение, как он укажет поименно всех «злоумышленников» русской литературы. Литературную полемику против Полевого (кстати сказать, в этой статье Надеждина были завуалированные выпады против Пушкина и Вяземского) провинциальный держиморда хотел использовать как документ полицейского сыска.

Новокшенов даже осмелился поучать Бенкендорфа; в предельно вежливой форме он обвинял шефа жандармов: ведь тот не отстоял старый, более крутой цензурный устав. Это был, что ни говори, почтительный выговор начальству! Жандармский подполковник из лучших побуждений нарушил служебную субординацию, и Бенкендорф не замедлил осадить перестаравшегося блюстителя порядка — 16 марта из Петербурга в Казань, за подписью Бенкендорфа, была отправлена разгневанная отповедь: «Вследствие донесения Вашего высокоблагородия от 28 февраля, под № 8, нахожусь принужденным объявить Вам, что мне весьма жаль, что Вы теряете время на рассуждения, которые вовсе до Вас не касаются, и что я должен заключить по изложенным в той бумаге мыслям, которые, конечно, не собственные Ваши, что Вы связались с людьми, разделяющими дух Магницкого»⁸.

Магницкий — гонитель просвещения в царствование Александра I — был не в чести у Николая I. Отставкой Аракчеева, Магницкого и некоторых других высокопо-

ставленных лиц Николай I как бы отмежевывался от реакционного политического курса своего брата. Но смена лиц в правительственной верхушке не означала коренного изменения политики — просто сановники, уже скомпрометированные, были заменены новыми, которым еще предстояло запятнать себя. Магницкий был отставлен, но «дух Магницкого», от которого открещивался Бенкендорф, встал над империей Николая I.

Самое примечательное в этой истории то, что жандармский подполковник не замолчал: он чувствовал, что «правда» на его стороне, что столичное начальство явно сплеховало, уступив духу времени — 8 апреля он ответил Бенкендорфу: «Имею честь получить предписание Вашего превосходительства от 16-го прошедшего марта № 1184, долгом поставляю донести в оправдание мое следующее: 1-е. Поводом к представлению моему от 28 февраля под № 8 был 1 пункт данной мне инструкции; 2-е. Полагая по крайнему уразумению моему превратное влияние словесности на общественное мнение предметом, всегда достойным внимания правительства; 3-е. Один из казанских помещиков, нисколько и никогда не принадлежавший к единомыслию Магницкого, сам приносил мне Вестник Европы, говорил с патриотическим чувством, удивлялся свободной литературе, каким образом дозволяют печатать статьи, показывающиеся иногда в Московском телеграфе; 4-е. Слыша и прежде того подобные рассуждения о печатании сего рода сочинений, я не мог оставаться в сём случае равнодушным и потому все то, что я слышал, принял смелость довести до сведения Вашего превосходительства.

По сим уважениям всепокорнейше прошу Ваше превосходительство великодушно мне простить и удостоверить, что я никак и никогда не в связях с людьми, разделяющими дух Магницкого, и позволено мне будет сказать, что, прослужа столько времени лет верою и правдою, могу ли ныне изменить долгу справедливости и жертвовать честью каким-либо непозволенным связям»⁹.

Бенкендорфу не оставалось ничего другого, как наложить резолюцию: «К сведению».

Если мы вдумаемся в прочитанные документы, станет вчуже страшно. Галантное с филигранными завитушками письмо Блудова как будто писано под диктовку каменной челюсти казанского «спасителя отечест-

ва». Духовное родство Блудова и Новокщенова — вещь почти невероятная, и однако это так. Перед ними стояла одна цель: уберечь Россию от либеральной заразы, поддержать престол династии Романовых, сильно пошатнувшийся в грозный день 14 декабря 1825 года.



Цензор без страха и упрека

В царской России издание журнала было трудным ремеслом. Столкновения с цензурой были неизбежны для любого издателя, будь он даже семи пядей во лбу, будь он даже благонамерен и внимателен к видам правительства: не всегда попадешь в унисон с властью, порой можно попасть и на гауптвахту. Ведь известно, что даже Фаддей Булгарин, издатель полуофициозной «Северной пчелы», закадычный приятель III Отделения, заслуживал немилость и ночевал на казенной квартире. А насколько труднее было издателю оппозиционного журнала. В этих условиях назначение того или иного цензора часто решало участь издания. Большой удачей для Полевого была смена цензора в конце 1828 года: вместо С. Т. Аксакова (недружелюбно относившегося к журналу) цензорами «Московского телеграфа» стали В. В. Измайлов и С. Н. Глинка. Последний был большим оригиналом и единственным в своем роде цензором. Его по праву можно назвать цензором без страха и упрека.

Сын небогатого дворянина Смоленской губернии, Сергей Николаевич Глинка воспитывался в Петербурге, в Сухопутном шляхетском корпусе. Директором этого учебного заведения в те годы был гуманный и просвещенный граф Ангальт. Учась в корпусе, Глинка много читал: Вольтер, Руссо, Дидро были его любимыми авторами. Вспоминая о годах Великой французской революции, Глинка писал: «Граф Ангальт не говорил нам ни о каких отдаленных причинах переворота европейского мира, но, чтобы ознакомить нас с тогдашними обстоятельствами, учредил в нашем зале новый стол со всеми

повременными заграничными известиями. В корпусе, а не по выходе из него, узнал я о всех лицах, действовавших тогда на обширном европейском театре. На том же столе помещены были ежемесячные русские издания: «Зритель» Крылова, «Меркурий» Клушина, «Академические известия» и «Московский журнал» Карамзина»¹⁰.

Учителем словесности в корпусе был известный писатель Яков Борисович Княжнин, автор тираноборческой трагедии «Вадим». Атмосфера, в которой воспитывался молодой Глинка, развила в нем восторженность, человеколюбие, терпимость. Глинка был идеалистом в лучшем смысле этого слова, человеком, свято верившим в добро, в могучую силу разума. Бескорыстный и правдивый, немного чудаковатый, он прожил нелегкую жизнь. Многие годы он бедствовал; он не умел наживаться, даже когда деньги, казалось, прямо шли к нему в руки. Во время Отечественной войны с Наполеоном Александр I предоставил ему 300 тысяч рублей для ведения пропаганды против иноземных поработителей. 300 тысяч рублей остались нетронутыми: Глинка предпочел быть безвозмездным трибуном...

В 1826 году сильно нуждавшемуся Глинке было предложено место цензора: «По случаю коронации прибыл в Москву министр просвещения А. С. Шишков, вместе с цензурным уставом. Главный сочинитель сего дивного творения, как гласит молва, был князь Пл. Алекс. Шихматов-Ширинский. От него получил я устав и, прочитав его, снова возвратил ему, говоря, что „в силу такого *чугунного устава* не могу быть цензором“»¹¹.

Год спустя вечный недостаток в средствах вынудил все же Глинку занять пост московского цензора.

Вступая в должность, он обратился со следующими словами к товарищам по цензуре: „Милостивые государи, — сказал я им, — если будем буквально руководствоваться уставом, то нам ни одного слова нельзя будет пропустить. Устав обязывает отыскивать *двойкий смысл*, а каждое почти слово подвержено перетолкованию. Я целый год отбивался от цензурного стула, потерял три тысячи жалованья, и теперь одна смертельная нужда заставила меня принять звание цензора. Вы можете поверить, что я вник в устав и что я удостоверился, что он недолго проживет. Но и при мимолетном его существовании мы накличем на себя много бед, если, повторяю

еще, будем придерживаться буквам устава. А потому составим *цензуру совещательную*.”

Товарищи мои просили, чтобы я объяснил им, что значит цензура совещательная? Я отвечал: „Если в рукописях тех, которые постарее нас, заметим что сомнительное, то поедем к ним на дом для объяснения. А кто помоложе нас, того пригласим в комитет“»¹².

Сам журналист и литератор (Глинка с 1808 по 1820 год издавал журнал «Русский вестник»), он был кровно заинтересован в процветании отечественной словесности: не тормозить ее развитие, а всячески способствовать ее успехам было его сокровенным желанием. Приняв должность цензора, Глинка — даже в условиях «чугунного» устава (судя по его воспоминаниям, это он так точно и образно окрестил детище Шишкова!) — думал не о себе, а о том, как надежнее оградить писателей от хитросплетений этого устава.

Цензурный устав 1828 года Глинка встретил с энтузиазмом. Он писал: «Со времени существования цензуры никогда не было такого свободного, такого льготного устава для мысли человеческой, каким казался устав 1828 года. С горестию повторяю: казался»¹³. Изнанку этого устава Глинка скоро испытал на самом себе.

Прочитав новый устав, Глинка кинулся к письменному столу и написал брошюру о свободе печати. Парадоксально, но факт: цензор российской империи — противник цензурного гнета! Правда, писать о свободе печати в России Глинка не осмелился; такую книгу, впрочем, и не разрешили бы. Он нашел остроумный выход: посвятил свой труд французской прессе. 8 июня 1828 года цензор В. Измайлов подписал разрешение на брошюру Глинки «*Observations morales sur la presse périodique en France*» — «Нравоучительные замечания о периодической печати во Франции». Это был географический маскарад — писалось: Франция, подразумевалось: Россия. Сам Глинка так писал об этой брошюре: «В 1828 году происходили во Франции в палате пэров жаркие прения о законе касательно периодических изданий, т. е. ведомостей, журналов и т. п. И по званию цензора, и по привычке к наблюдению я с чрезвычайным вниманием вчитывался, так сказать, во все речи ораторов палат. Странно и досадно было мне видеть, что за все про все грозят — то тюрьмой, то денежной пеней.

Признаюсь, что ни к селу, ни к городу затеял я быть

рыцарем за достоинство мысли человеческой и написал на французском языке книжку... Издатель журнала «Revue Encyclopédique» оповестил о ней в декабре месяце 1829 года № 12, от стр. 474 и далее. Даря меня похвалами, он признался, что я справедливо изобличаю закон их о журналах... Декабрьская книжка «Revue Encyclopédique» была доставлена цензорами князю С. М. Голицыну, из чего он и заключил, что я агент каких-то тайных обществ.

Как бы то ни было, только в 1830 году приключилось, что в одно время король французов слетел с престола, а я с цензорского стула»¹⁴.

Яркий портрет Глинки-цензора нарисовал Ксенофонт Полевой, брат издателя «Московского телеграфа». Глинка был цензором этого издания, и Ксенофонт Полевой часто мог наблюдать за его работой. Прочтем же отрывок из «Записок» Ксенофонта Полевого: «Говоря откровенно, Глинка не годился в цензора, когда от них требовали мелочной внимательности, и они не имели никаких определенных правил, что можно и чего нельзя было дозволить к обнародованию: «Как можно судить мысль и намерение человека? — говаривал Глинка — В самых невинных словах может быть злое намерение; а как я угадаю это?» Он выражал этим мысль справедливую в обширном смысле; но был несносен тем, что вследствие своих убеждений и своего характера *подписывал все, не читая!*..

Он не только не скрывал этого, но говорил во всеуслышание, что действует именно так. Я сам слышал, как он повторял много раз: «Дайте мне стопу белой бумаги, я подпишу ее всю по листам как цензор; а вы пишите на ней что хотите! Да! Я не верю, чтобы нашелся такой человек, который употребил бы во зло доверенность цензора, когда притом он и сам отвечает за то, что пишет». Когда он был цензором «Московского телеграфа», мы тщетно уговаривали его оставить избранную им систему; просили читать внимательно все присылаемое к нему для рассмотрения, исключать или, по крайней мере, замечать, что несогласно с инструкцією цензору. Писатель не может знать множество отношений, известных только цензуре. Но, повторяю, убеждения были тщетны: Глинка подписывал одобрение цензорское на рукописях и корректурах, не читая их. Когда дозволено было предоставлять журнальные статьи на рас-

смотрение цензорам в корректурных листах, мы бывали иногда в затруднении: Глинка оставлял или забывал их у себя, и так как его большею частью не бывало дома, то случалось не раз, что уже вся книжка кончена набором, а цензор еще не подписал ни одного листа к печатанию; приходилось отыскивать его по городу, и он, где-нибудь отысканный, вдруг подписывал все листы.

Опыт доказал, однако ж, что система Глинки была не совсем дурна: он несколько лет оставался цензором и, кроме схватки с князем Голицыным, не получал никаких замечаний от высшего начальства, когда товарищи его, внимательные к тому, что прочитывали, не раз получали выговоры и замечания. Если не ошибаюсь, он был смнен и высидел две недели на гауптвахте за какую-то пустейшую статейку, где нашли личности против каких-то сановных лиц; но, прочитывая эту статейку с самым строгим вниманием, нельзя было открыть в ней ничего преступного, и всякий цензор подписал бы ее — и попал бы на гауптвахту!»¹⁵

Казалось бы, при такой своеобразной методе С. Н. Глинка должен был незамедлительно «слететь» с цензорского кресла. А между тем он в течение нескольких лет был цензором. Как так? Для ответа на этот вопрос необходимо поговорить об автоцензуре.

В самодержавной России цензура начиналась не в кабинете цензора, а за письменным столом писателя: зная, что его произведение подлежит цензуре, писатель нередко удерживался от того, чтобы дать волю своему перу. Это и была автоцензура, погубившая несчетное число произведений в момент их зачатия, исказившая замысел и исполнение многих изданий. Дамоклов меч цензуры висел над головой писателя, обуздывая его смелые порывы, препятствовал высказать накипевшую горечь, не позволял с должной силой заклеить общественные пороки и социальную несправедливость, побуждал прибегать к эзопову языку, к недомолвкам и обиньякам. Даже трудно сказать, что пагубнее было для литературы — эта ли домашняя цензура, исподволь проникавшая в кровь и плоть писателя, или официальная цензура правительственных органов.

Вот поэтому-то мысль Глинки о том, что писатель не станет сознательно подводить доверяющего ему цензора, была психологически верна и оправдана жизнью: ведь помимо того, что элементарная человеческая поря-

дочность побуждала оправдывать ничем не ограниченное доверие цензора, то же самое диктовала забота о собственном благополучии, о том, чтобы сохранить журнал. Словом, Глинка не без основания уповал на автоцензуру.

Вместе с тем, освободив «Московский телеграф» от мелочной и придиричливой опеки, Глинка давал возможность Полевому высказывать в печати все то, что было на грани дозволенного и терпимого высшими властями. Добрым словом надо помянуть такого редкого цензора, каким был Глинка.

На чем споткнулся Глинка? На статьях политического характера? Нет! Рассуждая на общие темы, Полевой и его сотрудники умело прикрывали свои оппозиционные взгляды верноподданническими фразами: автоцензура в подобных статьях вполне и даже с лихвой заменяла красный карандаш цензора. Нарекания вызвали другие и, на первый взгляд, менее значительные полемические статьи, задевавшие личности.

В январе 1830 года Глинка, по предписанию из Петербурга, был отправлен на гауптвахту за одобрение в печать сатирического фельетона (в журнале «Московский вестник»), где нашли намеки на личность министра юстиции Д. И. Лобанова-Ростовского, и за стихотворение поэтессы С. С. Тепловой (в альманахе «Денница»), написанное на смерть какого-то безвременно погибшего юноши; по наущению Булгарина, в этом стихотворении-эпитафии был усмотрен намек на декабриста Рылеева. Воистину, при недоброжелательности и враждебности любое безобидное произведение можно было представить опасным и злонамеренным. Недаром Глинка остроумно утверждал, что и молитву «Отче наш» можно перетолковать яacobинским наречием.

Симпатии московского общества были целиком на стороне попавшего в беду цензора, все старались наперебой выказать ему свое сочувствие. Впрочем, арестантов на московской гауптвахте содержали тогда не слишком строго. Вот как писал об этом К. Полевой:

«Сначала его посадили на гауптвахту, бывшую во дворе сената (в Кремле). Когда знакомые Глинки — а кто не знал его в Москве? — услышали, что он сидит на гауптвахте, многие поехали навестить его. Число посетителей увеличивалось беспрестанно, так что через несколько дней сенатская гауптвахта представляла что-то вроде гулянья: подле нее было всегда несколько экипа-

жей, и гостей у Глинки собиралось иногда так много, что в небольшой, занимаемой им комнате бывало тесно. Он был очень рад этому, встречал всех с веселым лицом, смеялся, шутил и говорил без умолку, или пел французские романсы, аккомпанируя себе на маленьком фортепиано, которое велел привезти себе из дому. К нему привозили всяких припасов, фруктов, вина, и он пировал сам и угощал посетителей».

Как-то он напоил охранявших его солдат, и за эту провинность было приказано перевести его на главную гауптвахту. «На другой день плац-майор явился для исполнения приказа коменданта, но не рано, когда у Глинки была уже толпа гостей. После нескольких обняков, он объявил ему, что комендант приказал перевести его на главную гауптвахту. Глинка запрыгал и, прищелкивая, запел какую-то французскую песню. «Очень рад, очень рад!» — сказал он потом. «Приятно прогуляться по чистому воздуху! А приятели проводят меня», — прибавил он, обращаясь к своим гостям. «Фортепиано пойдут со мной под арест и туда: дайте же мне людей перенести их!» — сказал он плац-майору. Вскоре все вещи Глинки были расхвачены гостями, слугами их и несколькими инвалидами; началось шествие от сената до Ивановской колокольни: впереди шел Глинка с плац-майором; вокруг них и позади толпа гостей арестанта, которые несли кто кiset, кто трубку его, кто кружку и все остальное. Тут же несли фортепиано. Все это составляло невиданную процессию, не унылую, а веселую и смешную импровизированную комедию»¹⁶.

Между тем донос на Глинку был признан неосновательным, и он, как без вины пострадавший, получил три тысячи от «щедрот монарших».

Однако следующая история окончилась не столь благополучно: в том же 1830 году он был уволен от должности цензора за то, что разрешил печатать в «Московском телеграфе» сатирический фельетон «Утро в кабинете знатного барина». В фельетоне Полевого была явная личность: намеки на престарелого князя Н. Б. Юсупова, того самого, которому Пушкин посвятил послание «К вельможе».

Вспоминая об этом эпизоде, Глинка писал: «По возвращении моем из Петербурга, когда я явился в цензурный комитет, меня встретили торжествующие лица профессоров-цензоров. Они смотрели на меня с лукавою

улыбкою и будто неумышленно спрашивали: читал ли я послание Пушкина к князю Ю<супову> <...> Между тем цензор Снегирев, читавший «Телеграф» в отсутствии моем, сказал мне откровенно, что десятая книжка «Телеграфа» ожидает моей подписи, т. е. та роковая книжка, в которой помещена была статья под заглавием: «Утро у знатного барина, князя Беззубова». В ней выставлен какой-то князь Беззубов, имевший собак Жужу, Ами и любовницу, какую-то Александру Ивановну, чистившую князя по щекам за то, что он упрекал ее за нескромное гулянье в Марьиной роще с французом, и снова заключившую с ним мир за ломбардный билет в двадцать тысяч. Возвратясь из Петербурга за неделю до срока отпуска, я мог бы отказаться от цензурования этой книги «Телеграфа», но я всегда стыдился, как говорит пословица, чужими руками жар загребать. Взяв десятую книжку «Телеграфа», пошел я в типографию г. Семена; читаю: в глаза мне тотчас бросился стих из послания, предлагающий перетолкователям намек на князя Ю<супова>. Отправляют к издателю «Телеграфа» записку, прося его исключить этот стих. Получаю в ответ, что он не намерен исключить ни одной буквы. Что же оставалось цензору? Повиноваться уставу, ибо он не позволял цензорам никаких замечаний»¹⁷.

Из всех тогдашних цензоров лишь Глинка был способен так бесхитростно понимать цензурный устав. Неосмотрительно поступил Полевой, не вняв предостережению Глинки: поставив под удар друга-цензора, Полевой нанес непоправимый вред своему журналу.



Конец «Московского телеграфа»

Черные дни для Полевого наступили в 1833 году, когда министром народного просвещения был назначен Уваров. Получив повышение — до этого он был товарищем министра, — Уваров стал проводить еще более жесткую политику, чем его предшественник. 30 декабря 1833 года брат издателя Ксенофонт

Полевой писал В. И. Карлгофу: «Мы с Телеграфом подвигаемся раковым ходом и делаем и хлопочем более других журналистов, оттого, что и работаем усердно, да и цензурушка-голубушка заставляет часто делать вдвое, выключая целые статьи, искажая другие и вообще поступает с нами немилосердно. Особенно с тех пор, как министр просвещения — С. С. Уваров, цензоры с ума сошли. За невинную статью мою о Наполеоне он столкнул с места почтенного, заслуженного старика Двигубского и остальных загонял так, что они мечутся как угорелые кошки. Каково же литературе от этого? Каково нам? Представьте себе, что нам только 1 декабря позволили объявить о Телеграфе, таскают каждую книжку недели по три, по месяцу, потому что каждую строчку обсуживают полным присутствием цензуры, и проч.»¹⁸.

Речь шла о статье Ксенофонта Полевого «Взгляд на историю Наполеона» (о книге Вальтера Скотта). Уваров считал эту статью злонамеренной и 24 сентября 1833 года подал на высочайшее имя записку, предлагая запретить «Московский телеграф». Однако вопреки ожиданиям Николай I не согласился с Уваровым и повелел лишь предупредить издателя журнала. Обозленный министр поручил Ф. И. Брунову — одному из своих чиновников — найти обвинительный материал против журнала Полевого. Брунов в точности исполнил волю своего патрона: собрал воедино выписки из «Московского телеграфа», в которых обнаруживался дух либерализма. Чтобы не утруждать начальство сплошным чтением своего «труда», ретивый чиновник подчеркнул те слова, на которые следовало обратить особое внимание: вот она крамола! Приведем наугад несколько примеров из тетради Брунова.

«О современниках. Будьте только выше их и делайте с ними, что хотите. Они выслушивают брань на все, что украшает и возносит век; будут смеяться даже над самими собою <...>

Один поэт чрезвычайно польстил одному римскому императору похвальной надписью, но когда, по умерщвлении императора, упрекали поэта в лести, то он оправдался тем, что слово, употребленное им, двусмысленно и может быть истолковано: «всегда будет дураком» <...>

Франция долженствовала сделаться и сделалась местом того *безмерного*, векового *события*, которое целый

мир назвал и целые века будут называть *французскою революциею*. Без сомнения, сей переворот был французский, но, бывши французским, он был столько же и *европейский* <...>

Лафает, самый честный, *самый основательный* человек во французском королевстве, *чистейший из патриотов*, благороднейший из граждан, хотя он вместе с Мирабо, Сиесом, Баррасом, Баррером и множеством других был *один из главных двигателей революции* <...>

При столь новом состоянии дел и умов во Франции, так называвшийся прежде *большой свет спустил флаг*. Он скончался как монархия великого короля <...>

Разин, Булавин, Пугачев были страшными, но тщетными усилиями казацкой свободы <...>

Первый печатный лист был уже прокламация победы просвещенных *разночинцев* над *невеждами-дворянчиками*. Латы распались в прах <...>

Жизнью *народной свободы* кипели Новгород и Псков»¹⁹.

Вооружившись, Уваров стал ждать подходящего случая, который не замедлил представиться.

15 января 1834 года на сцене Александринского театра была поставлена верноподданническая пьеса Н. В. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла». «Сказывали, — писал в своих воспоминаниях Ксенофонт Полевой, — что 40 000 рублей было употреблено на постановку этой знаменитой пьесы, и самая блистательная публика наполняла ложи и кресла в первые представления ее на Александринском театре. Государь император удостоил ее своим вниманием и одобрением. «Рука всевышнего» казалась патриотическою, народною драмою, перед которою преклонялись все — и знатные, и простолюдины. О ней не произносили ничего кроме похвал»²⁰.

Впрочем, это не совсем так. Порой встречались иронические и даже неодобрительные суждения. Сохранился «ответ зрителя о драме Кукольника: ...зимою давали трагедию Нестора Васильевича Кукольника, которая имела большой успех, по достоинству литературному, и по многим отношениям. Не выдавший оную спрашивал у другого: «Вы видели «Рука всевышнего отечество спасла»? — «Видел». — «Как она вам понравилась, хороша ли?» — «Ложа моя была в углу, я сидел на правой стороне и мне *руки-то совсем не видать было!*»²¹

Остроумный ответ анонима живо передает неофициальные толки о пьесе. Среди петербургских журналистов трагедия также вызвала порицания. В. Д. Комовский писал 20 февраля брату поэта Языкова — А. М. Языкову, что редактор «Библиотеки для чтения» Сенковский «хочет разбранить *Руку всевышнего* и бранит — покуда еще непечатно»²². Знаменитый барон Брамбеус (это был псевдоним Сенковского) так и не выступил: счел за благо не перечить мнению царя. Между тем до Москвы отзыв Николая I дошел с запозданием, роковым для «Московского телеграфа».

«Прочитав драму Кукольника, Николай Алексеевич, — повествует его брат, — написал разбор ее, где строго выставлял и осуждал недостатки произведения, не лишеного достоинств, но составленного по ложной системе <...> Особенно резко отозвался он о ложном патриотизме, который преувеличениями своими вредит истине». И далее Ксенофонт Полевой подробно рассказывает, что брат его, приехав по своим делам в столицу, был оглушен неслыханным триумфом Кукольника. Незадачливый издатель «Московского телеграфа» отправился в театр посмотреть на пьесу «и был изумлен съездом публики в театр и необыкновенными изъявлениями одобрения пьесе. Первые ряды кресел были заняты высшими сановниками и генералами, ложи наполнены знатными семействами, и зала потрясалась от рукоплесканий. Николай Алексеевич повстречался в театре с одним из *влиятельных людей*, благосклонных к нему, и почти первым вопросом того было: «Напишет ли он в «Московском телеграфе» *одобрительное* известие о *патриотической* пьесе Кукольника?» Брат мой отвечал, что он уже написал разбор ее по печатному экземпляру, полученному им в Москве, но что этот разбор будет вовсе не одобрительным для пьесы. «И разбор ваш уже напечатан?» — спросил тот же знакомый. — «Нет еще: однако я уже отдал его для печатания в моем журнале». — «Что вы делаете, Николай Алексеевич!» — воскликнул чуть не с ужасом влиятельный знакомец. «Вы видите, как принимают здесь пьесу; надобно соображаться с этим мнением; иначе вы навлечете себе страшные неприятности!.. Прошу вас, как искренний ваш доброжелатель, примите самые деятельные меры, чтобы ваш неодобрительный разбор «Руки всевышнего» не появлялся

в печати. Напишите, если можно, завтра же, чтобы в Москве не печатали его»²³.

Полевой поспешил исполнить «просьбу» влиятельного знакомого; да и как было не поспешить? Ведь влиятельным знакомцем был не кто иной, как Бенкендорф.

Предупреждение шефа жандармов запоздало: книжка журнала с рецензией на драму Кукольника уже была почти полностью разослана подписчикам.

По возвращении в Москву Полевой вскоре был вызван в столицу. Ехал он на перекладных, в сопровождении жандармского унтер-офицера. В столице Полевой был помещен на квартире Дубельта, начальника штаба корпуса жандармов. Вскоре ему было приказано явиться на дом к Бенкендорфу. Когда Полевой вошел в кабинет шефа жандармов, там уже находился Уваров. Начался допрос. Обвинителем выступал Уваров, а Бенкендорф «останавливал резкие выходки и обвинения министра народного просвещения». Уваров начал с рецензии на драму Кукольника. Полевой смело отбивался: «Более и более одушевляясь, он развил свой взгляд так убедительно, что граф Бенкендорф стал поддерживать его и иногда возражать Уварову...»²⁴ Продолжение допроса перенесли на следующий вечер.

Уваров привез толстую тетрадь выписок из «Московского телеграфа» — вот когда пригодилось служебное рвение Брунова — и стал обвинять Полевого в неблагонадежном направлении журнала...

В пику Уварову Бенкендорф постарался смягчить участь Полевого, в чем немного и преуспел, но спасти журнал не смог: 3 апреля 1834 года по высочайшему повелению «Московский телеграф» был закрыт.

Приступая вскоре к изданию «Исторической библиотеки», Полевой писал, «что непредвиденные и независимые от воли моей обстоятельства заставляют меня прекратить издание Московского телеграфа...». По приказу Уварова объяснение Полевого тщательно отредактировали и до читателей оно дошло в сокращенном и измененном виде: «по причине прекращения вышеозначенного повременного издания»²⁵.

Трусливая увертка Уварова никого не обманула. Публика отлично знала, что «Московский телеграф» умер насильственной смертью. В Москве и в Петербурге пошла по рукам анонимная эпиграмма:

Рука всевышнего три чуда совершила:

Отечество спасла,

Поэту ход дала

И Полевого удушила.

Закрытие «Московского телеграфа» за недоброжелательный отзыв о пьесе Кукольника возмутило даже тех, кто по своим общественным взглядам не симпатизировал Полевому. Консервативно настроенный сенатор К. Н. Лебедев записал в свой дневник: «Запретили «Телеграф». Это, было самое страшное запрещение. Давно бы надобно было прекратить это назойливое издание, где вздор говорили с такою дерзостью и где порицали всякий труд, всякое положительное знание; но запретить его за критику на драму г. Кукольника, которую я не читал и которую, начав читать после запрещения «Телеграфа» не мог кончить — этого я до сих пор не понимаю. Между тем сколько было толков, и не они ли способствовали решительному непредставлению драмы, которая без этого, может быть, удержалась бы на несколько времени из приличия, если это было нужно для правительства?»²⁶

Эта дневниковая запись имеет двойной интерес. Начнем с того, что современники сочли курьезным повод, избранный для устранения «Московского телеграфа». Правительство вело двойную игру: по сути дела, оно закрыло журнал Н. А. Полевого за его оппозиционность, за прославление буржуазных порядков Западной Европы, за нескрываемое сочувствие к требованиям и нуждам третьего сословия; формально же «Московский телеграф» был запрещен за отзыв о пьесе Кукольника. Общественному мнению претило двуличие правительства.

Однако, как мы узнаем из записи К. Н. Лебедева, публика помимо скрытого раздражения и открыто выразила свое несогласие с действиями правительства: она перестала посещать представления, и пьеса Кукольника бесславно пала.

Знаменателен отзыв Пушкина — 7 апреля 1834 года он записал в дневнике: «Телеграф» запрещен. Уваров представил государю выписки, веденные несколько месяцев и обнаруживающие неблагонамеренное направление, данное Полевым его журналу. <...> Жуковский говорит: — Я рад, что «Телеграф» запрещен, хотя жалею что запретили. «Телеграф» достоин был участи своей; мудро с большей наглостью проповедовать якобы-

низм перед носом правительства, но Полевой был баловень полиции. Он умел уверить ее, что его либерализм пустая только маска».

В этом неприязненном отзыве явно проступает грань, отделившая в 1830-е годы дворянскую оппозицию от буржуазной. Пушкин и Жуковский расценивали запрет «Московского телеграфа» как удар по враждебному им журналу. Это было отрадно. В то же время подобная мера правительства еще более стесняла отечественную прессу. Это было горько.

Если среди передовой дворянской общественности конец «Московского телеграфа» вызвал двойственную реакцию, то представители третьего сословия безоговорочно сочувствовали Полевому. Директор Московской губернской гимназии Матвей Алексеевич Окулов писал 25 апреля 1834 года Уварову: «Что же касается до запрещения журнала Полевого, то почти все единогласно говорят, что давно бы было пора; ибо ни одной статьи в оном никогда не было писано без цели вредной, а класс купечества весьма недоволен и говорит, что Полевому от того запретили, что он всех умнее. В Москве вот все что мог узнать, и все удивляются, что и Надеждина до сих пор не запрещают»²⁷.

В последней фразе намек на журнал Н. И. Надеждина «Телескоп». Корреспондент Уварова словно в воду глядел: два года спустя за опубликование «Философического письма» Чаадаева журнал Надеждина был также запрещен.

В 1832 году был закрыт «Европеец», в 1834 году — «Московский телеграф», в 1836 году — «Телескоп». Так методично и последовательно расправлялось царское правительство с передовыми печатными органами.



Славная смерть „Телескопа“



Оно упало, как бомба...

«В Москве вместо запрещенного «Телеграфа» стал выходить журнал «Телескоп»; он не был столь долговечен, как его предшественник, зато смерть его была поистине славной. Именно в нем было помещено знаменитое письмо *Чаадаева*. Журнал немедленно запретили, цензора уволили в отставку, главного редактора сослали в Усть-Сысольск. Публикация этого письма была одним из значительнейших событий. То был вызов, признак пробуждения; письмо разбило лед после 14 декабря. Наконец пришел человек, с душой, переполненной скорбью; он нашел страшные слова, чтобы с похоронным красноречием, с гнетущим спокойствием сказать все, что за десять лет накопилось горького в сердце образованного русского. Письмо это было завещанием человека, отрекающегося от своих прав не из любви к своим наследникам, но из отвращения; сурово и холодно требует автор от России отчета во всех страданиях, причиняемых ею человеку, который осмеливается выйти из скотского состояния. <...>

Письмо Чаадаева прозвучало подобно призывной трубе; сигнал был дан, и со всех сторон послышались новые голоса; на арену вышли молодые бойцы, свидетель-

ствуя о безмолвной работе, производившейся в течение этих десяти лет»¹.

Так писал Герцен в своей знаменитой статье «О развитии революционных идей в России» (1850), навсегда определив значение письма Чаадаева в истории русской общественной мысли.

О колоссальном впечатлении, произведенном «Философическим письмом», Герцен вспоминал и в «Былом и думах»: «...мысль стала мощью, имела свое почетное место вопреки высочайшему повелению. Насколько власть «безумного» ротмистра Чаадаева была признана, настолько «безумная» власть Николая Павловича была уменьшена»².

А недавно был напечатан документ, полностью подтверждающий оценку Герцена. Документ этот — донесение австрийского посла в Петербурге графа Фикельмона канцлеру Меттерниху от 7 ноября 1836 года — написан сразу же после опубликования «Философического письма»:

«В Москве в литературном периодическом журнале под названием «Телескоп» напечатано письмо, написанное русской даме полковником в отставке Чаадаевым; он задался целью выяснить с исторической точки зрения причины, которые столь продолжительное время удерживали русскую нацию в невежестве и варварстве и которые со времен Петра Великого привили ей ложную цивилизацию, придавшую только внешний лоск высшим классам и оставившую большинство народа коснеть в прежнем варварстве. Первоначально это письмо было написано по-французски несколько лет тому назад; оно является первым из серии писем, общее количество которых мне неизвестно; я читал первое и третье. Они не предназначались для опубликования; однако автор проявил непоследовательность, согласившись на перевод и напечатание первого письма; московский цензор пропустил его, то ли не оценив его, то ли по нерадению. Оно упало, как бомба, среди русского тщеславия и тех начал религиозного и политического первенствования, к которым весьма склонны в столице. Автор считает, что своим продолжительным невежеством и всеми своими бедами Россия обязана гибельному решению заимствовать религию и цивилизацию из Византии, падавшей от гнилости, вместо того, чтобы примкнуть к римской церкви, которая так высоко вознесла цивилизацию на всем

Западе. Эта тема развернута с большим талантом, но и с чувством непомерной горечи по отношению к своей стране, которое сильно унижает ее. Этого одного указания достаточно, чтобы дать понять Вашей Светлости, какое впечатление должна была произвести такая публикация; оно тем более значительно, что автор заканчивает утверждением, что Россия никогда не сможет достичь истинной цивилизации, пока она будет отделять себя, как это происходит до сих пор, от могучего интеллектуального движения Запада, понимая, однако, это движение в религиозном и истинно монархическом смысле. <...> Император, исходя из того, что только больной человек мог написать в таком духе о своей родине, ограничился пока распоряжением, чтобы он был взят под наблюдение двух врачей и чтобы через некоторое время было доложено о его состоянии. Поступая подобным образом, император имел явное намерение как можно скорее прекратить шум, вызванный этим письмом...»³

Николай I не достиг своей цели. Шум, вызванный письмом Чаадаева, не умолкал.



«Он в Риме был бы Брут...»

Незаурядная личность Петра Яковлевича Чаадаева оказала огромное влияние на историю русской общественной мысли.

В раннем детстве потерявший родителей, будущий философ воспитывался у ближайших родственников своей матери князей Щербатовых. Дедом Петра Яковлевича был писатель, публицист и историк Михаил Михайлович Щербатов, и естественно, что домашняя интеллектуальная атмосфера способствовала воспитанию разностороннему и гуманному. Правда, Михаил Михайлович скончался в конце 1790 года, когда будущему автору «Философических писем» еще не было четырех лет, но культурная традиция поддерживалась в семье. В 1808 году П. Я. Чаадаев стал студентом словесного отделения Московского университета, где он подружился с Гри-

боевым, Иваном Якушкиным и Николаем Тургеневым. По свидетельству Жихарева, молодой Чаадаев, любитель танцев и светских развлечений, «оказывался в то же время чрезвычайно умным, начитанным, образованным и в особенности гордым и оригинальным юношей. Склад его речи и ума поражал всякого какой-то редкостной и небывалой невиданностью, чем-то ни на кого не похожим»⁴.

В 18 лет Чаадаев становится военным и принимает боевое крещение при Бородине, участвует в сражениях с наполеоновской армией. Современники отмечают его решительность и смелость.

Окончилась победой война с Наполеоном. В 1816 году Чаадаев — корнет лейб-гвардии гусарского полка, который квартировал в Царском Селе. Здесь, в доме Карамзина, состоялось знакомство Чаадаева с лицеистом Пушкиным.

Он вышней волею небес
Рожден в оковах службы царской;
Он в Риме был бы Брут, в Афинах Периклес,
А здесь он — офицер гусарской.
«К портрету Чаадаева»

Пушкин не ошибался, предполагая в своем старшем друге таланты разносторонние.

В конце 1817 года Чаадаев получает чин ротмистра и поселяется в Петербурге, назначенный адъютантом командира гвардейского корпуса И. В. Васильчикова. В столицу переезжает и Пушкин, ставший после окончания Лицея чиновником Министерства иностранных дел. Дружба их крепнет, а вскоре Пушкин посвящает ему вольнолюбивое послание, которое, естественно, не могло быть напечатано по цензурным условиям, но получило широкое распространение в списках.

К Чаадаеву

Любви, надежды, тихой славы
Недолго нежил нас обман,
Исчезли юные забавы,
Как сон, как утренний туман;
Но в нас горит еще желанье,
Под гнетом власти роковой
Нетерпеливою душой

Отчизны внемлем призыванье.
Мы ждем с томленьем упованья
Минуты вольности святой.
Как ждет любовник молодой
Минуты верного свиданья.
Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!

Пророчество Пушкина сбылось лишь спустя столетие. «Нетерпеливою душой» Пушкин и Чаадаев вынуждены были постигать трудную науку терпения.

Весной 1820 года за свободолюбивые стихи и язвительные эпиграммы на сильных мира сего Пушкина ожидало суровое наказание. Чаадаев вместе с Карамзиным и другими влиятельными друзьями молодого поэта приняли участие в его судьбе — Пушкина перевели по службе на юг.

А вскоре в опале оказался и сам Чаадаев, вынужденный подать в отставку в начале 1821 года (вероятно, попало в перлюстрацию его письмо, в котором он с независимостью писал о высокопоставленных лицах).

На юге Пушкин пишет два послания к Чаадаеву: «В стране, где я забыл тревоги прежних лет» (1821) и «Чаадаеву. С морского берега Тавриды» (1824), в последних строках которого поэт с горечью вспоминает неоправдавшийся оптимизм конца 1810-х — начала 1820-х годов.

Чаадаев, помнишь ли былое?
Давно ль с восторгом молодым
Я мыслил имя роковое
Предать развалинам иным?
Но в сердце, бурями смиренном,
Теперь и лень и тишина,
И, в умиленье вдохновенном,
На камне, дружбой освященном,
Пишу я наши имена.

Пушкин сравнивает себя и Чаадаева с героями греческого мифа Орестом и Пиладом, самоотверженная дружба которых стала для людей символом братства.

Послание удалось напечатать в «Северных цветах на 1825 год» в «Отрывке из письма к Д<ельвигу>».

Шли трудные 1820-е годы. Революция потерпела неудачу в ряде стран Западной Европы, в России все сильнее чувствовалось пагубное влияние Аракчеева. Все эти события наложили грустный отпечаток на последнее послание Пушкина к Чаадаеву.

Между тем, выйдя в отставку, Чаадаев, член декабристского Союза Благоденствия, несколько лет живет за границей, и, вероятно, только отсутствие его 14 декабря 1825 года в России спасло от ссылки в Сибирь. В августе 1826 года при возвращении на родину Чаадаев был арестован, но спустя некоторое время освобожден за неимением явных улик. Вскоре, в сентябре 1826 года из Михайловской ссылки был возвращен Пушкин. Кто знал шесть лет тому назад, при каких печальных обстоятельствах произойдет их встреча?

Неумолимое время зачеркнуло разницу лет. Теперь они встречались не как старший и младший, а как равные собеседники, умудренные горьким опытом жизни, пережившие поражение декабристов на Сенатской площади.



Первые неудачи

Кругом царило раболепие. По словам Герцена, «аристократическая независимость, гвардейская удадь александровских времен — все это исчезло с 1826 годом».

Только непоколебимая вера в грядущее торжество человеческого разума помогла устоять и Пушкину, и Чаадаеву в трудные годы николаевского царствования.

Чаадаев удаляется от общества, ведет затворнический образ жизни. Запершись в своем кабинете, читает,

размышляет, пишет. Появляется историко-философский цикл — «Философические письма».

Появляется в рукописи. Но пройдет много лет, пока будет напечатан полный текст этих писем. Лишь столетие спустя, в 1935 году в томе 22 — 24 «Литературного наследства» Д. Шаховской полностью восстановит труд Чаадаева⁵.

Но о всех цензурных препонах, которые десятилетиями мешали зазвучать во весь голос «Философическим письмам» Чаадаева, здесь мы писать не будем. Тема эта слишком обширна и хронологически не укладывается в рамки нашего повествования. Ограничимся лишь началом цензурных мытарств Чаадаева.

Чаадаев был человеком крайностей. Он не умел и не хотел останавливаться на полдороге. Всем своим существом он отвергал духовную нищету самодержавия. Раболепие православной церкви перед светской властью вызывало презрение московского философа, погружившегося в сложные историко-философские поиски. Он не стал цареубийцей Брутом, он не стал государственным деятелем Периклом, он перестал быть гусарским офицером: он стал философом, чтобы объяснить себе и другим запутанные события отечественной истории. Задача была трудной, и Чаадаев пришел к парадоксальному выводу: он обратил свои взоры к Ватикану, полагая, что могущественное по своему влиянию на общество католичество может спасти русское общество от произвола и притеснений государственной власти. Повторим — Чаадаев был человеком крайностей, и, утвердившись в этой мысли, он стал отвергать все то, что, по его убеждению, мешало торжеству католической веры. В «Философических письмах» Чаадаев безжалостно «расправляется» с античной культурой, порицает реформацию на Западе и православие в России. Он мечтает о «революции духа», мечтает стать пророком, которому предназначено свыше спасти «сбившуюся с пути Россию», и пытается обратиться в свою веру Пушкина. В письмах 1829—1831 годов московский философ призывает поэта познать «тайну века», обратиться с «призывом к небу» и найти обильную «поэтическую пищу» в назревающем духовном перевороте. Однако Пушкин не разделяет взглядов Чаадаева и вступает с ним в полемику. 6 июля 1831 года Пушкин писал Чаадаеву: «Ваше понимание истории для меня совершенно ново, и я не всегда могу согласиться с вами: на-

пример, для меня непостижимы ваша неприязнь к Марку Аврелию и пристрастия к Давиду (псалмами которого, если только они действительно принадлежат ему, я восхищаюсь). Не понимаю, почему яркое и наивное изображение политеизма возмущает вас в Гомере. Помимо его поэтических достоинств, это, по вашему собственному признанию, великий исторический памятник. Разве то, что есть кровавого в Илиаде, не встречается также и в Библии? Вы видите единство христианства в католицизме, то есть в папе. Не заключается ли оно в идее Христа, которую мы находим также и в протестантизме? Первоначально эта идея была монархической, потом она стала республиканской. Я плохо излагаю свои мысли, но вы поймете меня. Пишите мне, друг мой, даже если бы вам пришлось бранить меня. Лучше, говорит Экклезиаст, внимать наставлениям мудрого, чем песням безумца»⁶.

Письмо Пушкина написано из Царского Села. Весной 1831 года при отъезде из Москвы поэт взял у Чаадаева одно из «Философических писем» (прежде оно считалось третьим, теперь после восстановления всего цикла — седьмым), чтобы напечатать его по-французски у петербургского книгопродавца Беллизара, но не смог выполнить своего намерения. Конечно, не спор Пушкина с мыслями Чаадаева послужил препятствием. Вероятно, по приезду в столицу Пушкин посоветовался с Жуковским (известно, что Пушкин давал читать Жуковскому рукопись Чаадаева), и они пришли к выводу, что духовная цензура не разрешит печатать сочинение с восхвалением католичества. В конце августа 1831 года Пушкин вернул рукопись Чаадаеву.

В ноябре 1832 года Чаадаев пытается издать по-французски два «Философических письма» — шестое и седьмое — у московского книгоиздателя Семена, но не получает разрешения цензуры.

По утверждению М. Лемке, Чаадаев «в 1835 или 1836 году отдает два письма открывавшемуся тогда «Московскому наблюдателю», где они не появляются»⁷.

Летом 1835 года Чаадаев посылает одно из писем в Париж А. И. Тургеневу с просьбой опубликовать за границей. Опальный А. И. Тургенев не рискует взять на себя ответственность за подобную публикацию⁸. Словом, Чаадаев терпел неудачу за неудачей.

Зато верноподданнический драматург Нестор Кукольник шел от триумфа к триумфу.

1 мая 1835 года Чаадаев с возмущением писал в Париж А. И. Тургеневу о новой пьесе Кукольника «Скопин-Шуйский»: «Вам известно, что этот Скопин-Шуйский одно из замечательнейших явлений нашей истории, единственное, быть может, по своему размеру на всем протяжении наших летописей. Это цивилизованный герой, герой на западный лад. Между тем в драме не он является первенствующим лицом, а Ляпунов. Этот последний — дикарь, варвар, своей варварской грузностью совершенно подавляющий Шуйского, и он — является великим человеком данного поэтического произведения. Ему, следовательно, аплодисменты, ему фанатизм публики. Вам понятно, куда клонит эта прекрасная концепция. Там есть места, исполненные дикой энергии и направленные против всего, идущего с Запада, против всякого рода цивилизации, а партер этому неистово хлопает! Вот, мой друг, до чего мы дошли»⁹.

В запальчивых тирадах Ляпунова слышалась уваровская формула самодержавия, православия и народности.

Да знает ли ваш пресловутый Запад,
Что если Русь восстанет на войну,
То вам почудится седое море,
Что буря гонит на берег противный!..
Мы можем затопить, как наводнение!
Мы можем, как пожар, весь Запад сжечь!
У нас есть Крест, святейший из Крестов!
У нас есть меч, сильнейший из мечей!¹⁰

Антизападнические филиппики «великого» Нестора Кукольника были тем досаднее московскому философу, что его собственное сочинение продолжало лежать под спудом.

Прошел еще год. Весной 1836 года в Москву приехал Пушкин. 25 мая 1836 года Чаадаев сообщал А. И. Тургеневу о своей беседе с поэтом: «У нас здесь Пушкин. Он очень занят Петром Великим. Его книга придется как раз кстати, когда будет разрушено все дело Петра Великого: она явится надгробным словом ему. Вы знаете, что он издает также журнал под названием Современник. Современник чего? XVI-го столетия, да и то нет?»¹¹

Чаадаев пишет резко и раздраженно. Сейчас самое время дать бой квасному патриотизму Нестора Кукольника и всей верноподданнической камарильи. Но как обойти цензурные препоны? Как будто нет никакой на-

дежды, а между тем первое «философическое письмо» неожиданно-негаданно прорывает «умственные плотины».



Пятнадцатая книжка «Телескопа»

Цензурное разрешение этой последней и ставшей потом знаменитой книжки «Телескопа» было дано 29 сентября 1836 года. На страницах 275-310 — «Философические письма» к г-же***. Письмо первое. Напечатано без подписи, да она и не была нужна — все знали, что его автором был Петр Яковлевич Чаадаев. Под статьей значилось: «Некрополис. 1829, декабря 17». По-гречески, некрополис — город мертвых. Автор писал об отсталости России, о неразвитости общественного сознания, о равнодушии ко всем общественным вопросам.

В «Телескопе» должно было появиться еще одно, третье «философическое письмо» Чаадаева. Оно было набрано и одобрено к печати цензором А. Болдыревым 5 октября. Но следующий номер журнала не успел выйти: «Телескоп» был запрещен. Корректурa журнала с невыведшим «философическим письмом» сохранилась в коллекции П. Я. Дашкова¹².

Редактор журнала Н. И. Надеждин был выслан в Усть-Сысольск под присмотр полиции, цензор А. В. Болдырев отставлен от службы.

П. Я. Чаадаев был объявлен сумасшедшим.

«Журнальная статья Чаадаева, — вспоминал хозяин московского литературного салона Д. Н. Свербеев, — произвела страшное негодование публики и потому не могла не обратить на него преследования правительства. На автора восстало все и все с небывалым до того ожесточением в нашем довольно апатичном обществе (я говорю только о Москве) и, заметно, восстало не только за оскорбленное православие, сколько за грубые упреки современной России и, главное, высшему нашему обществу»¹³.

Подробней пишет об этом М. И. Жихарев, биограф Чаадаева:

«Большинство без дальних околичностей называло статью антинациональной, невежественною и вздорною, не стоящую никакого внимания, а между тем, непрерывающимися про нее бранчивыми толками и суждениями само озабочивалось об окончательном опровержении и уничтожении своего мнения. Просвещенное меньшинство находило статью высокозамечательною, но в конец ложною, чему, по его понятиям, причиною был принятый за точку отправления и в основание положенный чрезвычайно затейливый и специфически обманчивый софизм. Большинство, из которого бесполезно было бы исключать великолепных барынь и людей при крупных чинах и с громкими именами, на словах собиралось вооружиться уничтожающим презрением, а на деле обнаруживало распетушившееся, самое разъяренно-ненавидящее озлобление; меньшинство готовилось к спокойному, благородному, приятному, исполненному изящной вежливости и утонченного приличия, научно критическому опровержению. Безусловно сочувствующих и совершенно согласных не было ни одного человека»¹⁴.

Из писем А. И. Тургенева видно, что опровержение «Философического письма» писал Баратынский¹⁵. Довел ли он свою работу до конца, неизвестно.

Не найдены до сих пор и возражения Вяземского, которые он выслал А. И. Тургеневу. «Письмо твое о письме, — отвечал А. И. Тургенев Вяземскому, — многим чрезвычайно понравилось... Ежедневно, с утра до шумного вечера (который проводят у меня в сильном и громогласном споре Чаадаев, Орлов, Свербеев, Павлов и прочие) оглашаем я прениями собственными и сообщаемыми из других салонов об этой филиппике»¹⁶.

Вскоре правительственные репрессии вынудили просвещенное меньшинство умерить свою полемику с Чаадаевым. 30 октября Шевырев и Павлов сообщили А. И. Тургеневу об отобрании бумаг у Чаадаева: «Я поехал к нему с Павл<овым>, нашел его хотя в душевном страдании, но довольно спокойным; он уже писал ко мне и просил книг, предлагал писать к гр. Бен<кендорфу>!! И мой портрет взяли у его! И верно донесено будет о сем визите»¹⁷. В руки III Отделения при обыске у Чаадаева попал брюлловский портрет А. И. Тургенева с подписью: «Без боязни обличаху».

В Петербурге «Философическое письмо» также вызвало бурю порицаний.

3 ноября 1836 года дочь Карамзина Софья Николаевна писала брату Андрею: «Я должна рассказать тебе о том, что занимает все петербургское общество, начиная с литераторов, духовенства и кончая вельможами и модными дамами; это — письмо, которое напечатал Чадаев в «Телескопе», «Преимущество католицизма перед греческим исповеданием», источником, как он говорит, всяческого зла и варварства в России, стеною воздвигнутой между Россией и цивилизацией — исповеданием, принесенным из Византии со всей ее испорченностью и т. д. Он добавляет разные хорошенькие штучки о России, «стране несчастной, без прошлого, без настоящего и будущего», стране, в которой нет ни одной мыслящей головы, стране без истории, стране, в которой возникли лишь два великана: Петр I, мимоходом набросивший на нее плащ цивилизации, и Александр, прошедший победителем через Европу, ведя за собой множество людей, внешняя доблесть и мужество которых были не чем иным как малодушной покорностью, людей, у которых «человеческое только лицо, и к тому же безо всякого выражения».

Как ты находишь все эти ужасы? Недурно для русского! И что скажешь ты о цензуре, пропустившей все это? Пушкин очень хорошо сравнивает ее с пугливой лошастью, которая ни за что, хоть убейте ее, не перепрыгнет через белый платок, подобный запрещенным словам, вроде слов «свобода», «революция» и пр., но которая бросится через ров потому, что он черный, и ломает там себе шею. Это письмо вызвало всеобщее удивление и негодование»¹⁸.

Название «Преимущества католицизма перед греческим исповеданием» не принадлежит Чаадаеву — так называли «Философическое письмо» в салоне Карамзиных, и надо признать, что оно довольно точно, хотя и односторонне излагает смысл статьи, напечатанной в «Телескопе». Однако оценка С. Н. Карамзиной письма Чаадаева, являясь отголоском общего мнения, не отражает существа письма. В этом отношении куда более проницательным оказался ее брат Александр, который соотнес «Философическое письмо» с падением нравов, измелечанием общественных интересов. «Видя такую всеобщую гадость в жизни, — писал он брату Андрею

5 ноября, — можно помешаться и даже написать письма вроде Чадаева, о которых говорит тебе сестра. В гали-матье этого человека, право, иногда есть довольно справедливые мысли, только точка зрения его совершенно ложная: он все зло видит только у нас и все ругает бедную Россию там, где нужно ругать весь век, все человечество. Кроме того, он смешивает частности одного времени с общим характером народа и, наконец, все увеличивает, доказывает вред, происшедший от одной причины, а не видит, что эта же самая причина спасла нас от других, может быть, бóльших бедствий. Словом, видно, что он человек с большим умом, но, к несчастью, несколько помешался от излишнего самолюбия или от того, что слишком влюбился в свои мысли и мнения, всмотрелся в них пристально и забыл все, что видел прежде, все, что слышал прежде, все, что не непосредственно принадлежало к этим мыслям, которые, наконец, свели его несколько с ума»¹⁹.

Проницательная оценка Александра Карамзина обнаруживает внимательного и умного современника, который, не поддаваясь всеобщему возбуждению, пытается найти истинную причину исторического пессимизма Чадаева и обнаруживает ее в удушающей атмосфере николаевского царствования.

Таких дальновидных читателей, каким оказался Александр Карамзин, было немного, но среди немногих прежде всего выделяется Пушкин. Конечно, поэт отверг историко-философскую концепцию Чадаева. В письме от 19 октября 1836 года Пушкин убедительно возражал автору «Философического письма»: «Что же касается нашей исторической ничтожности, то я решительно не могу с вами согласиться. Войны Олега и Святослава и даже удельные усобицы — разве эта не та жизнь, полная кипучего брожения и пылкой и бесцельной деятельности, которой отличается юность всех народов? Татарское нашествие — печальное и великое зрелище. Пробуждение России, развитие ее могущества, ее движение к единству (к русскому единству, разумеется), оба Ивана, величественная драма, начавшаяся в Угличе и закончившаяся в Ипатьевском монастыре, — как, неужели все это не история, а лишь бледный и полузабытый сон?»²⁰

И в то же время Пушкин понимал, какая внутренняя тревога вызвала взрыв отчаяния у автора «Философического письма». «Поспориw с вами, я должен вам ска-

зять, — признавался Пушкин Чаадаеву, — что многое в вашем послании глубоко верно. Действительно, нужно сознаться, что наша общественная жизнь — грустная вещь. Что это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести в отчаяние. Вы хорошо сделали, что сказали это громко»²¹.

Пушкин по достоинству оценил гражданский подвиг Чаадаева. Однако, узнав от К. О. Россета о правительственных гонениях, письмо Чаадаеву не отправил, а на последней странице его написал шотландскую поговорку: «Ворон ворону глаза не выклюнет».

И другой знаменитый современник — Герцен писал позднее в «Былом и думах»:

«Летом 1836 года я спокойно сидел за своим письменным столом в Вятке, когда почтальон принес мне последнюю книжку «Телескопа». Надобно жить в ссылке и глуши, чтобы оценить, что значит новая книга. Я, разумеется, бросил все и принялся разрезать «Телескоп» — «Философские письма», писанные к даме, без подписи. В подстрочном замечании было сказано, что письма эти писаны русским по-французски, т. е. что это перевод. Все это скорее предупредило меня против статьи, чем в ее пользу, и я принялся читать «критику» и «смесь».

Наконец дошел черед и до «Письма». Со второй, третьей страницы меня остановил печально-серьезный тон: от каждого слова веяло долгим страданием, уже охлажденным, но еще озлобленным. Эдак пишут только люди, долго думавшие, много думавшие и много испытывавшие; жизнью, а не теорией доходят до такого взгляда... Читаю далее — «Письмо» растет, оно становится мрачным обвинительным актом против России; протестом личности, которая за все вынесенное хочет высказать часть накопившегося на сердце. <...>

«Письмо» Чаадаева было своего рода последнее слово, рубеж. Это был выстрел, раздавшийся в темную ночь; тонуло ли что и возвещало свою гибель, был ли это сигнал, зов на помощь, весть об утре или о том, что его не будет, — все равно надобно было проснуться.

Что, кажется, значат два-три листа, помещенных в ежемесячном обозрении? А между тем, такова сила речи сказанной, такова мощь слова в стране, молчащей и не привыкнущей к независимому говору, что «Письмо»

Чаадаева потрясло всю мыслящую Россию. Оно имело полное право на это. После «Горе от ума» не было ни одного литературного произведения, которое сделало бы такое сильное впечатление»²².



Версия неофициальная

Николай I объявил Чаадаева сумасшедшим. Верховный вершитель судеб России не сомневался в том, что человек в здравом уме не мог написать «Философического письма». Даже само название сочинения Чаадаева должно было вызывать раздражение самодержца. Философия и военная муштра — вещи несовместимые. А Николай I, как известно, превыше всего ценил шагистику. Будь его воля, он бы и мыслям повелел шагать по установленному ранжиру. Но, увы, мысли не подчинялись примитивным приемам шагистики, были враждебны порядку, который он пытался насадить в России, и в первую очередь в столицах — в Москве и Петербурге. Независимая мысль Чаадаева была предана светской анафеме.

Дед Чаадаева князь М. М. Щербатов написал в свое время сочинение «О повреждении нравов в России» (издал его Герцен в Лондоне в 1858 году вместе с книгой Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву»). Теперь его внук Петр Яковлевич Чаадаев был объявлен поврежденным в уме. По «логике» Николая I источник бед был не в нравах, а в уме отставного ротмистра Чаадаева. Сбывалось пророчество Грибоедова — горе от ума, горе уму.

По личному распоряжению царя, медики должны были посещать Чаадаева на Басманной, бесцеремонно вторгаться в его квартиру и свидетельствовать его умственные способности. Таким образом, официальная версия о сумасшествии приобретала зримые, осязаемые черты.

Между тем, ходила и иная, неофициальная версия,

которая получила довольно широкое распространение в обществе. Эта версия не была санкционирована свыше, ибо напоминала о грозных событиях, которые Николай I не любил вспоминать даже наедине с самим собой.

Автором неофициальной версии был не кто иной как министр народного просвещения С. С. Уваров. В Отделе письменных источников Государственного Исторического музея в личном архиве С. С. Уварова сохранилось дело о запрещении журнала «Телескоп». В подробной докладной записке С. С. Уварова (подлинник по-французски) анализируется общественная обстановка в Москве, которая, по мнению министра, способствовала появлению в печати «Философического письма» Чаадаева. Недвусмысленно намекая на М. Ф. Орлова и Чаадаева, С. С. Уваров утверждал, что на общественное мнение москвичей тлетворно, пагубно влияют лица, связанные с событиями 14 декабря, которым правительство разрешило жить в Москве. По мнению министра народного *по-мрачения* (а не просвещения!), в Москве существует благодатная почва для их зловредного влияния; что в древней столице мероприятия правительства встречают порой противодействие независимого общественного мнения; что в Москве много выходцев из различных классов — купцы, промышленники, иностранцы; в Московском университете учится вольномыслящая молодежь, приезжающая со всех концов страны. В конечном счете мысль С. С. Уварова сводилась к тому, что «Философическое письмо» Чаадаева явилось идейным отголоском 14 декабря²³.

Подобная точка зрения была куда более дальновидной, нежели фельдфебельская версия о сумасшествии Чаадаева. С. С. Уваров рассматривал «Философическое письмо» в общем контексте общественных событий, которые подспудно продолжали чувствоваться в России. С. С. Уваров был не одинок в своих предположениях. Сходная версия изложена в дневнике сенатора К. А. Лебедева: «Москва есть глава оппозиции Петербурга, следовательно правительства, которого он есть средоточие и вершина. Странное дело! Эти провинциалы, которые так просты, так малодушны, эти старосветские помещики живут, только тем и дышут, чтобы судить и рядить о действиях правительства, о наших внешних отношениях, и все это в невыгодную сторону. <...> Провинциалы готовы разметать все места по камню, молодежь готова

согнать всех директоров и управляющих. <...> Письмо писано г. Чаадаевым, приятелем генерала Орлова (Михаила) и прочих, памятных по своему уму, образованию и подозрению в 14-м декабры. Это ропот на современную, выраженный главою порицателей. <...> № журнала врут по рукам»²⁴.

Имеются веские основания полагать, что уваровская версия была известна не только в Москве, но и в Петербурге, что Пушкин и Вяземский прекрасно знали о доносном характере докладной записки Уварова. Чтобы в этом убедиться, нам надо познакомиться с историей, которая выведет нас на секретное досье С. С. Уварова.

14 сентября 1836 года, по решению Совета Петербургского университета, была подписана к печати книга «О системе прагматической русской истории. Рассуждение, написанное на степень доктора философии Николаем Устряловым». Отпечатанная в типографии во второй половине октября, в продажу она не поступила; это был по существу автореферат диссертации, который раздавался по указанию автора. Предвидя, что его сочинение, содержащее резкую критику Карамзина-историка, неминуемо вызовет раздражение Пушкина, Н. Г. Устрялов сделал дипломатический демарш: он послал Пушкину дарственный экземпляр, а в сопроводительном письме обратился к издателю «Современника» с нижайшей просьбой: «...благоволите пройти об ней молчанием в «Современнике»²⁵.

Пушкин оказался вынужденным удовлетворить просьбу Н. Г. Устрялова по цензурным условиям. Представитель официозной историографии Н. Г. Устрялов пользовался особой протекцией С. С. Уварова. Тем не менее Вяземский написал открытое письмо на имя министра народного просвещения с резкой критикой взглядов Н. Г. Устрялова и хотел напечатать его в «Современнике».

Пушкин — Вяземскому: «Письмо твое прекрасно, форма М<илостивый> Г<осударь>, или о etc., кажется, ничего не значит, главное: дать статье как можно более ходу и известности. Но, во всяком случае, цензура не осмелится ее пропустить, а Уваров сам на себя розог не принесет. Бенкендорфа вмешать тут мудрено и неловко. Как же быть? Думаю, оставить статью, какова она есть, а впоследствии времени выбирать из нее все, что можно будет выбрать — как некогда делал ты в

Литературной» Газете со статьями, не пропущенными Щегловым»²⁶.

Открытое письмо Вяземского С. С. Уварову осталось под спудом и было напечатано лишь несколько десятилетий спустя, при выходе полного собрания сочинений писателя. Здесь не место давать подробный анализ этого письма, одобренного Пушкиным. Коснемся лишь той части письма, где Вяземский писал о «Философическом письме» Чаадаева. Остроумный полемист, Вяземский решительно опровергает неофициальную версию С. С. Уварова. Министерство народного просвещения, утверждал Вяземский, поддерживает исторический скептицизм М. Т. Каченовского, который он проповедовал в Московском университете, а следовательно косвенным виновником появления «Философического письма» является сам С. С. Уваров.

«Исторический скептицизм, терпимый и даже поощряемый Министерством просвещения, неминуемо довел до появления в печати известного письма Чаадаева, помещенного в *Телескопе*. Напрасно искать в сем явлении тайных пружин, движимых злоумышленными руками»²⁷, — писал Вяземский.

Ясно, что эти строки метили в С. С. Уварова и, конечно же, отповедь министру народного просвещения изустно передавалась по Петербургу и в Москве.

Полемический ход Вяземского точен и безупречен. Он искусно опровергал политическое обвинение, которое С. С. Уваров выдвигал против Чаадаева.

Но если теперь, спустя полтора столетия, проанализировать неофициальную версию С. С. Уварова, то следует признать, что в своей интерпретации министр народного просвещения не без основания усмотрел глубинную связь между событиями 14 декабря и «Философическим письмом» Чаадаева. Поражение декабристов на Сенатской площади способствовало тому, что Чаадаев столь мрачно оценил прошлую историю России.

Противоположности порой сходятся. По сути дела, Герцен и Уваров соотнесли «Философическое письмо» Чаадаева с событиями 14 декабря.

Но на этом общем утверждении сходство кончается. В оценке этой связи взгляд Герцена и точка зрения Уварова полностью расходятся.

Уваров расценивает события на Сенатской площади как дело рук безответственных злоумышленников и по-

лагает, что «Философическое письмо» продолжает ту же вредоносную линию, наносит ущерб правительственной идеологии самодержавия.

Герцен же всячески превозносит декабристов и всю свою жизнь пропагандирует их революционный почин. Естественно, что негативной позиции Уварова Герцен противопоставляет диаметрально противоположную точку зрения, считает, что «Философическое письмо» Чаадаева «разбило лед после 14 декабря».

Уваров отвергает «Философическое письмо» и порицает его автора.

Герцен показывает величайшую историческую ценность «Философического письма», его огромную роль в пробуждении общественного сознания у передовых людей того поколения, которое шло на смену первым русским революционерам.



Между Сциллой и Харибдой



Милость и право

Некоторые перемены во взаимоотношениях Пушкина с высочайшей и общей цензурой произошли за 1832 и 1833 годы.

В начале 1832 года вышел альманах «Северные цветы на 1832 год», где было помещено стихотворение Пушкина «Анчар, дерево яда» и некоторые другие стихи.

7 февраля Бенкендорф направил Пушкину письмо, где требовал объяснений, почему на стихи эти, и прежде всего на «Анчар», не было предварительно испрошено высочайшего дозволения¹.

Пушкин ответил в тот же день. «Я всегда твердо был уверен, — писал он, — что высочайшая *милость*, кою неожиданно был я удостоен, не лишает меня и *права*, данного государем всем его подданным: печатать с дозволения цензуры»². Пушкин подчеркнул слова «милость» и «право», потому что милость оборачивалась бесправием. В 1826 году он вынужден был спешно останавливать в цензуре все свои стихи, не просмотренные высочайшим цензором³; а в декабре 1827 года писал Погодину даже с некоторой запальчивостью: «Я не лишен прав гражданства и могу быть цензорюван нашею цензурою, если хочу, — а с каждым нрав<оучительным> четверост<и-

шием> я к высшему цензору не полезу — скажите это им»⁴. Пушкин спорил с «ними» — этими неизвестными нам скептиками, может быть, из цензурного ведомства, и упрямство его и раздражение увеличивалось, потому что он сам не был уверен в правоте своих слов. Приходилось считаться с действительностью — «милость» была докучной и тягостной опекой, лишавшей его даже той эфемерной свободы движений, которой пользовались другие. Для журналиста она становилась непреодолимым препятствием, грозя постоянной задержкой, нарушением периодичности, потерей подписчиков. Теперь, в 1832 году, приходило время раз и навсегда определить свои права и преимущества или отказаться от всякой мысли издавать когда-либо журнал, а план этот не исчезал у Пушкина многие годы.

Он просит у Бенкендорфа аудиенции, чтобы объяснить все это лично. Неизвестно, как протекал разговор, но через десять дней он пишет новое письмо: «[Подвергаясь] один особой, от Вас единств<енно>зависящей цензуре — я, вопреки права, данного госуд<арем>, изо всех писателей буду подвержен самой стеснительной цензуре, ибо весьма простым образом — сия цензура будет смотреть на меня с предубеж<дением> и находить везде тайные применения, allusions и затруднительности <...>

Осмеливаюсь просить об одной милости: впредь иметь право с мелкими сочинениями своими относиться к обыкновенной цензуре»⁵.

Письмо было настолько резким, в испрашиваемой «милости» — ввести благодеяние в терпимые границы — было столько неприкрытой иронии, что посылать его было просто опасно. Письмо осталось в черновике.

Стремление освободиться от опеки, однако, не исчезало, и 6 декабря 1833 года, получив от книгопродавца Смирдина предложение участвовать в замышляемом журнале «Библиотека для чтения», Пушкин вновь обращается к Бенкендорфу:

«Я могу согласиться только в том случае, когда он <Смирдин> возьмется мои сочинения представлять в цензуру и хлопотать об них на равне с другими писателями, участвующими в его предприятии; но без Вашего согласия я ничего не хотел сказать ему решительного»⁶.

На этом письме стоит резолюция: «Отвечать: 1-е. Что пиесы его для журнала Смирдина назначаемые могут

быть печатаемы в оном по рассмотрении ценсурою на равне с другими»⁷.

Письменного ответа Бенкендорф Пушкину не дал, но объявил ему решение устно 15 декабря 1833 года⁸.

Первой из «писес», которая, хотя и не безусловно, падала под резолюцию Бенкендорфа, была «Анджело», предназначенная для альманаха «Новоселье», непосредственно примыкавшего к «Библиотеке для чтения».



«Анджело»

В 1833 году князь Карл Ливен, суховатый и педантичный гернгутер, с его порядочностью, размеренностью и склонностью поверять ценность вещей заповедями лютеранской библии, покинул пост министра народного просвещения, передав бразды уже известному нам Уварову.

Уваров приехал в Петербург и произнес речь. Он говорил перед чиновниками министерства и в отдельности — с цензорами. Смысл речи Уварова сводился к тому, что цензорам следует постигать систему своей деятельности не из одного устава, но из самых обстоятельств и хода вещей⁹.

Это было несколько туманно и доброго ничего не предвещало. Обстоятельства были неясны и определялись по разумению. Впрочем, они начали проясняться, когда новый министр добился запрещения «Московского телеграфа» и предупредил, что наложит тяжелую руку на «Библиотеку для чтения». Недолго пришлось ждать и Пушкину.

9 апреля 1834 года цензор Никитенко сделал в своем дневнике следующую запись: «Я представил ему <министру> <...> сочинение или перевод Пушкина «Анджело». Прежде государь сам рассматривал его поэмы, и я не знал, имею ли я право цензировать их. Теперь министр приказал мне поступать в отношении к Пушкину на общем основании. Он сам прочел «Анджело» и потребовал, чтобы несколько стихов были исключены»¹⁰.

Уваров приказал изъять из поэмы 8 стихов, по его мнению, не вполне отвечавших требованиям строгого православия. Пока своевольный карандаш министра разгуливал по рукописи, Никитенко и ничего не подозревавший сочинитель обменивались любезными письмами о цензуровании «Повестей, изданных Александром Пушкиным».

Между 9 и 11 апреля Пушкин узнал о купюрах в «Анджело». «Он взбесился, — записал Никитенко в дневнике. — Смирдин платит ему за каждый стих по червонцу, следовательно, Пушкин теряет здесь несколько десятков рублей. Он потребовал, чтобы на место исключенных стихов были поставлены точки, с тем, однакож, чтобы Смирдин все-таки заплатил ему деньги и за точки!»¹¹

Никитенко удивлялся корыстолюбию Пушкина и негодовал на его педантизм. Это было не совсем справедливо; точки ставились во имя словесности, а не коммерции, и к ним мы еще вернемся, говоря о «Современнике».

Пушкин еще не знал, какую роль играет в этом деле Уваров. Он был совершенно убежден, что «скудоумные исправления» — инициатива Никитенко и Смирдина. Поэт действует решительно и, быть может, опрометчиво; и для начала добивается передачи другому цензору «Повестей, изданных Александром Пушкиным». Никитенко пытался объяснить с ним через Плетнева, но Пушкина объяснения не убедили. Тем временем цензурование альманаха «Новоселье» было закончено, и между 19 и 21 апреля 1834 года книга вышла в свет. На стр. 49—80 была напечатана искаженная Уваровым и обезображенная опечатками поэма «Анджело».

Это было вовсе не безразлично и не только потому, что цензура впервые за много лет столь открыто и бесцеремонно вторгалась в его творчество, но и потому, что «Анджело» был его любимым детищем. Он жаловался Нащокину, что критики не обратили внимания на эту «пиесу» и даже считали ее в числе слабейших его сочинений. Сам он думал иначе: «...ничего лучше я не написал»¹².

Анджело был характер шекспировский, не похожий на привычные, «однолинейные» — хоть бы на мольеровского Тартюфа. В лицемере, чьи тайные страсти противоборствовали явным действиям, обнаруживалась глубина необычайная. Пушкин нашел его в «Мере за меру» Шекспира, начал переводить комедию, а потом образ Андже-

ло стал расти и раскрываться ему в потаенных уголках своего сумрачного духа; тогда он оставил Шекспира и стал писать своего Анджело. И основной пружиной действия он сделал излюбленную идею, не покидавшую его с 1826 года,— милосердие. И вновь поднял вопросы о деспотизме и законности¹³.

Прошло несколько месяцев.

Пушкин готовил к изданию два тома своих «Поэм и повестей» и одновременно четвертую часть «Стихотворений Александра Пушкина», куда должны были войти стихи, уже напечатанные ранее в «Библиотеке для чтения». В ноябре 1834 года он препроводил этот том в канцелярию III Отделения «по предписанному пред сим порядку». 4 декабря рукопись «Стихотворений», «рассмотренная по приказанию его сиятельства графа Бенкендорфа», возвращается назад к автору.

Если мы взглянем на оборот титульного листа изданного тома, мы обнаружим там цензорскую визу.

Приказание Уварова начинало действовать. Не только стихи в журнале, но и собственные книги Пушкина проходили теперь цензуру министерства народного просвещения, вне всякой зависимости от того, смотрело их или не смотрело III Отделение¹⁴.

Цензором всех трех книг был назначен тот же Никитенко, получивший от Уварова приказание рассматривать сочинения Пушкина на общем основании.

22 января 1835 года он одобрил обе книги «Поэм и повестей»; 29 апреля — четвертую часть «Стихотворений»¹⁵. Можно было бы подумать, что взаимоотношения Пушкина с цензурой вошли в обычную колею, если бы не один примечательный документ, на котором стоит несколько задержаться.

Существует письмо Уварова Дондукову-Корсакову от 24 января 1835 года. Оно гласит:

«Господину Попечителю С.-Петербургского учебного округа.

Возвращая при сем представленные Вашим сиятельством два стихотворения А. Пушкина, покорнейше прошу предложить цензуре, не стесняясь написанным на сих стихотворениях дозволением к печатанию, сличить оные с тем, как они были уже однажды напечатаны и одобрить оные ныне в том же виде, в каком сии пиесы были дозволены в первый раз.

Министр народного просвещения Сергей Уваров»¹⁶.

Что дает нам письмо Уварова?

Мы узнаем из него, что Дондуков-Корсаков посылал министру для разрешения какие-то напечатанные уже стихи Пушкина, которые, очевидно, не решился пропустить сам. Нет сомнения, что это были стихи, предназначенные для трех цензурированных Никитенко пушкинских книг.

Видимо, об этих стихах возник спор, и спор серьезный, если председатель цензурного комитета не смог разрешить его своими силами. Конфликт же мог возникнуть только в том случае, если автор внес в первопечатный текст какие-то изменения, например, восстановил строки, выпущенные цензурой.

Мы не можем с уверенностью сказать, о каких именно стихах Пушкина упоминает в своем письме Уваров, так как рукописи произведений, вошедших в «Стихотворения» и «Поэмы и повести», сохранились не полностью, и неизвестно, что вычеркивала из них цензура. Но мы вправе предположить, что одно из них «Анджело» — поэма, которую сам Пушкин именовал «стихотворением» и которую он хотел исправить для переиздания, как сам скажет об этом несколько позже. Тогда станет совершенно понятно, почему Дондуков обратился к Уварову: министр «редактировал» «Анджело» сам и право снять вето с вычеркнутых строчек принадлежало только ему.

Уваров категорически потребовал сохранить купюры. Решение его было окончательным и обжалованию не подлежало.

Сличение «писес» с их печатным текстом было поручено цензору Никитенко.

4 апреля кончили печатать первый том; 10 апреля он получил билет на выпуск из типографии. Том второй был отпечатан 19 июля, и 25 июля на него был выдан билет¹⁷.

Виза фактора Военной типографии инспекторского департамента военного министерства от 19 июля 1835 года заверяла, что «книга под заглавием: поэмы и повести Александра Пушкина, часть вторая, <...> по силе § 37-го Устава о цензуре, с прилагаемыми при том одобренными ценсурой печатными Книгами, напечатана во всем сходно». Другими словами, что в текст не было внесено ни единой поправки сравнительно с тем, как он был отпечатан в первый раз.

Поэма «Анджело» в новом издании была как две капли воды похожа на свое «первое издание» в «Ново-

селье». Все искажения, все цензурные замены, даже все опечатки были сохранены.

* * *

В конце прошлого века между исследователями Пушкина разгорелся спор об истории текста «Анджело». Спор этот имел свои основания.

Дело в том, что 11 апреля 1835 года, как раз в то время, когда Пушкин готовился отдать в типографию второй том «Поэм и повестей», он обратился с письмом к Бенкендорфу и сообщил, что крайне желал бы напечатать свое новое произведение «по причинам, объясненным в предисловии»¹⁸. Бенкендорф принял Пушкина 16-го числа, и рукопись отправилась заведенным путем к высочайшему цензору, который вернул ее в мае, с разрешением напечатать, «за исключением собственноручно отмеченных мест». Было решено, что эта рукопись — «Анджело», и спор шел лишь о том, какие именно места вычеркнул из нее царь.

Тем временем самая рукопись поэмы, доселе хранившаяся у П. В. Жуковского, сына поэта, была приобретена Публичной библиотекой. Никаких помет Николая I в ней не было; очевидно, Пушкин представлял ко двору не ее. Но она была полнее, чем печатный текст, и стало ясно, что вычеркнуто при печатании. Спор замолк. Было признано, что купюры печатного текста сделаны Николаем I¹⁹.

Никто из участников спора не обратил внимания на дневник Никитенко, опубликованный полностью еще в 1893 году; между тем запись Никитенко спутывала все карты споривших.

Неразрешимые противоречия возникают и в том случае, если мы примем, что 16 апреля Пушкин передал Бенкендорфу рукопись «Анджело», как указывалось до недавнего времени в комментированных изданиях писем Пушкина. Тогда станет непонятным, каким образом Николай I и Уваров совпали в своих замечаниях. Или Пушкин не принял замечаний Николая I? Это трудно допустить.

Но главное даже не в этом, а в том, что никакого «предисловия» в «Анджело» нет.

Речь шла о другом произведении.

Это произведение — «Путешествие в Арзрум», которое Пушкин собирался издать в то время²⁰. «Предисло-

вие» к нему было написано в окончательном виде 3 апреля 1835 года, и причины, объясненные в нем, действительно были очень серьезные.

В 1834 году французский дипломатический агент Виктор Фонтанье издал книгу «Путешествия на Восток, предпринятые по повелению французского правительства с 1830 по 1833 годы». Среди имен участников арзрумского похода 1829 года — военачальников, окружавших командующего, графа Паскевича, — Фонтанье упомянул имя «барда», «Мг. Pouchkine», который «оставил столицу, чтобы петь подвиги своих соотечественников», однако нашел в Арзруме «предмет не поэмы, а сатиры»²¹.

Фонтанье не было дела до Пушкина; он защищал французскую политику на Востоке и нападал на политику Николая I. Но колкий намек Фонтанье был очень некстати для Пушкина.

Еще в 1829 году, после приезда Пушкина из Арзрума, «Северная пчела» и «Вестник Европы» во всеуслышание заявляли, что Пушкин не желает воспеть славу русского оружия на Кавказе, а отделяется мелкими стихотворениями, вовсе к делу не относящимися. Пушкин был взбешен: даже Николай I не давал ему заказов столь откровенно, как благонамеренные журналисты.

Теперь Фонтанье говорил буквально то же — и о намерении Пушкина «воспеть героя» и об отказе от этого намерения — да еще брал «русского барда» себе в союзники. В довершение всего он ничтоже сумняшеся настраивал против Пушкина генерал-фельдмаршала графа Паскевича, который тоже рассчитывал на оду и был обманут в своих ожиданиях.

Замечания Фонтанье были оскорбительны там, где автор их говорил о намерении Пушкина стать чьим-то «бардом»; в остальном они выглядели для Пушкина прямой провокацией, тем более что содержали зерно истины. Пушкин решает опубликовать свои путевые заметки и в предисловии ответить Фонтанье, а заодно и отечественным журналистам.

С этим он обращается к Бенкендорфу, имея в виду издать «Путешествие» отдельной книгой²³. Если бы он печатал его в журнале, он бы, вероятно, теперь обращался в обычную цензуру.

Рукопись «Путешествия в Арзрум», представленная в высочайшую цензуру, не сохранилась. Но, сопоставляя

различные данные, мы можем предположить, что высочайший цензор исключил из нее описание встречи с опальным генералом Ермоловым и, может быть, еще два места: о жалком положении черкесских заложников во Владикавказе и о безграмотном офицере, принявшем за официальную бумагу пушкинское «Послание к калмычке»²⁴.

Судьба «Путешествия в Арзрум» беспокоила Пушкина тем больше, что за плечами его был уже опыт «Поэм и повестей». Издание книги, казалось бы, становилось реальностью, но с реальностью мешались фантастика и нелепость. Вначале он был освобожден от общей цензуры по личному повелению Николая I, как признанный глава русской литературы. Изнемогая под тяжестью этой милости, он потратил несколько лет, чтобы вернуть себе какую-то свободу — и оказался уже официально под двумя цензурами. Ничего подобного до сих пор не было в русской словесности — разве что произведения «государственных преступников» — декабристов, отправлявшиеся на просмотр в III Отделение, а потом уже в обычную цензуру. Но то был случай особый, и циркуляры на сей счет шли под грифом «секретно». Здесь произвол чинился среди бела дня.



Уваров и Дондуков

Назревал конфликт с новым цензурным ведомством. Собственно говоря, в 1835 году он не возник, а только обострился. Начался же он раньше, и теперь нам нужно подняться к его истокам, к тому времени, когда Уваров еще не был министром народного просвещения.

Граф Сергей Семенович Уваров получил свой титул поздно, уже после смерти Пушкина. Изначала он не принадлежал к титулованному роду. Ф. Ф. Вигель, личный его враг, человек, как мы увидим и далее, злоречивый и не чуждавшийся сплетен, в своих мемуарах намекал

довольно прозрачно на темное его происхождение, будто бы связанное с некоторыми секретами знатных семейств. Далее рассказ Вигеля становится, впрочем, более определенен и ясен.

«Рано лишился Уваров... отца своего. В родстве с Куракиными да с Голицыными, воспитанный на знатный манер каким-то ученым аббатом, он спозаранку исполнился аристократического духа. Признанный вельможею, любимец двух императоров—Павла и Александра, дальний родственник его, Федор Петрович Уваров дал новый блеск мало известному дотоле его фамильному имени. Мальчик был от природы умен, отменно понятлив в науках, чрезвычайно пригож собою, говорил и писал по-французски в прозе и в стихах как настоящий француз; все хвалили его, дивились ему, и все это вскружило ему голову. Семнадцати лет не боле попал он ко двору камер-юнкером пятого класса.

Но вдруг и на него пришла невзгода. Мать его, желая обоим сыновьям своим, особенно старшему, доставить средства для поддержания себя блистательным образом в свете, за большие проценты отдала все имение свое под залог по казенному питейному откупу. Она умерла, откупщик сделался несостоятелен, страшное взыскание пало на имение, и совершенное разорение угрожало Уварову. Чтобы сохранить довольно завидное положение, в котором он находился, готов он был на все. Одна фрейлина, богатая графиня Разумовская, двенадцатью годами его старше, которая, не знаю по какому праву, имея родителей, могла располагать собою, давно была в него влюблена; а он об ней думать не хотел. Узнав о крайности, к которой он приведен, она без обиняков предложила ему руку свою, и он с радостью принял ее. Этот брак в полном смысле составил фортуна его.

Вскоре после совершения его тесть его, граф Алексей Кириллович, назначен был министром народного просвещения. Он тотчас доставил ему, с чином действительного статского советника, места попечителя санктпетербургского учебного округа и президента академии наук, оставшиеся праздными после удалившегося, прежде всемогущего Новосильцева. И ему было тогда только двадцать три года от роду»²⁵.

Мы можем добавить к рассказу Вигеля, что не одной «фортуны» был обязан Уваров своей карьерой. Природные дарования его, проявившиеся в детстве, разверну-

лись с годами. Он был образован и блестящ. Он был историком, археологом, знатоком античных литератур, политиком и светским человеком, литератором-дилетантом, знакомцем Гете и других европейских знаменитостей. Он был в числе учредителей «Арзамаса» и в начале 1820-х годов пользовался не без оснований репутацией либерала. Но теперь наступало время, когда сбываются честолюбивые сны.

Много лет назад юный Сергей Уваров, бывший тогда на дипломатической службе за границей, увидел во сне, что он стал министром просвещения. Старый сон оказывался вещим, но для осуществления его требовались некоторые усилия. Уваров разрывает или ослабляет свои прежние литературные связи во имя связей придворных. Ему мало дела, что старые друзья говорят ему о карьеризме чуть что не в лицо. Он делает свое дело, — как и раньше, оставаясь человеком *comme il faut*. Он покровительствует Пушкину при дворе (иной раз слишком усердствуя не на пользу делу) — и глядя на их внешние отношения в начале 1830-х годов, можно подумать, что ни единое облачко не омрачает взаимного расположения двух светских и литературных знакомых, прежних «арзамасских братьев», — если бы не одно упоминание в мемуарах Греча, звучащее как резкая диссонирующая нота. Оно относится к 1830 году, столь трудному для Пушкина, когда начинается травля его на страницах «Северной пчелы». «Однажды, кажется у А. Н. Оленина, — рассказывает Греч, — Уваров, не любивший Пушкина, гордого и не низкопоклонного, сказал о нем: «что он хвалится своим происхождением от негра Аннибала, которого продали в Кронштадте (Петру Великому) за бутылку рома!» Булгарин, услышав это, не преминул воспользоваться случаем и повторил в «Северной пчеле» этот отзыв. Сим объясняются стихи Пушкина «Моя родословная»²⁶.

Факты, о которых говорит Греч, хорошо известны. 7 августа 1830 года Булгарин напечатал в «Пчеле» «Второе письмо из Карлова», где рассказал о некоем поэте «в Испанской Америке», подражателе Байрона, предок которого, негр, был куплен шкипером за бутылку рома. Это была одна из самых непристойных выходок Булгарина, на которую Пушкин ответил «Моей родословной», эпиграммами и полемическими статьями.

Нам неизвестно, знал ли Пушкин, чьи слова повто-

ряет Булгарин в печатном пасквиле. Но его знаменитый ответный памфлет, как это ни странно, лишь краем задевал непосредственного автора «Второго письма из Карлова». «Моя родословная» острее своим направлена не против Булгарина. Она обращена к «новой аристократии», к нуворишам, рвущимся к власти, к «надменным потомкам Известной подлостью прославленных отцов», в своем неудержимом стремлении к социальным вершинам, попирающим национальную культуру и историческую традицию. Уваров по рождению и положению принадлежал к «новой аристократии».

Тем не менее борьба — острейшая, чреватая политической крамолой, — шла между Пушкиным и Булгариным. Уваров оставался в тени. Его имя не упоминалось в связи с ней даже намеком, и Греч был, вероятно, единственным, кто назвал потом в печати имя вольного или невольного подстрекателя, бросившего первый камень. Быть может, последствия светского злословия Уварова были несколько неожиданны и нежелательны для него самого. Во всяком случае, в ближайшие последующие годы он сохраняет по отношению к Пушкину лояльность, переходящую в предупредительность.

Безмолвный свидетель развернувшейся войны, литературной и общественной, — был ли он свидетелем нейтральным и бесстрастным? Что думает он в то время, когда по рукам начинают ходить строки «Моей родословной»:

Не торговал мой дед блинами,
Не ваксил царских сапогов,
Не пел с придворными дьячками,
В князя не прыгал из хохлов
И не был беглым он солдатом
Австрийских пудренных дружин;
Так мне ли быть аристократом?
Я, слава богу, мещанин.

«Пел с придворными дьячками» Алексей Григорьевич Разумовский, фаворит Елизаветы Петровны, сын украинского реестрового казака Розума. Он участвовал потом в дворцовом перевороте 1741 года, после чего стремительно пошел в гору, получил вскоре графский титул и несметные богатства. Племянник его, Алексей Кириллович, был тестем Уварова, отцом той самой фрейлины, ко-

торая, по рассказу Вигеля, составила «фортуна» Сергея Семеновича.

Пушкин это прекрасно знает. Не только в московском, «грибоедовском», но и в петербургском обществе родственные связи, самые отдаленные, известны даже новичкам. Пушкин неосторожен и не дипломатичен: он задевает многое и многих — Кутайсова, Безбородку, Клейнмихеля, павловских и екатерининских фаворитов, чья родня окружает трон. Но он пишет не «личность», а социальный памфлет.

Уваров — косвенный адресат памфлета, плоть от плоти фаворитов прежних и новых времен, — осторожен и дипломатичен. Очень трудно предположить, что он ничего не слышал о «Моей родословной», — он, связанный ближайшими узами со всем немногочисленным литературным Петербургом. И тем более известны ему анонимные статьи в пушкинской «Литературной газете», направленные все против той же «новой аристократии». Но он не принимает их на свой счет. Он ждет.

Ждет же он потому, что Пушкин ему нужен.

Он не добился еще того, на что он рассчитывал. Путь к богатству, власти и почестям оказывался тернист, и, слишком круто повернув на него, бывший арзамасец оттолкнул от себя прежних друзей и повредил своей общественной репутации. Пушкин мог отчасти поправить его дела, восстановив старые связи. Это было бы бесполезно, но не в этом был основной план, и ради столь ничтожного повода Уваров бы не стал заглушать в себе голос неприязни. Но он знал, что «Литературная газета» доживает последние дни, что она не оправдала надежд Пушкина, знал, что Пушкин не отказался от планов своей газеты и хлопочет теперь о ее разрешении. Представлялась возможность направить его перо. Первый поэт России станет политическим публицистом, пишущим «в нужном духе». До сих пор добиться этого не удалось даже императору. Это сделает он, Уваров; он преодолеет недоверие к Пушкину его величества, и благонамеренная газета станет выходить под бдительным оком министерства народного просвещения. В этом будет заслуга Уварова, — его одного, — заслуга неоспоримая в глазах верховной власти. Да, это была большая игра, достойная политика и честолюбца, и ради нее стоило поступиться многим.

Он ищет путей к Пушкину и обращается за посредни-

чеством к Вигелю, прося его написать письмо и подготовить почву для деловых переговоров. Письмо должно быть кратким, осторожным и содержать все нужные комплименты и соблазнительные предложения. Конечно, он не раскрывает Вигелю своих карт, но Вигель слишком умен, чтобы не догадаться. Вообще на Уварова нашла странная слепота: конфиденент был выбран из рук вон плохо. Вигель не терпел Уварова. Теперь враг был в его руках, и он, с наслаждением смакуя свою месть, шаг за шагом приоткрывает Пушкину планы честолюбца. Его июньское или июльское письмо 1831 года написано пером мастера, — как и его поздние мемуары, и, так же как они, изобилует язвительными намеками, двусмысленными обиняками, наивно-саркастическими репликами. Он пишет гротескный портрет «царедворца, раздраженного неудачами, но который никогда не зайдет так далеко в своем злопамятстве, чтобы отказаться от значительной должности». Теперь «он стал гораздо любезнее, чем раньше» и хорошо относится к нему, Вигелю, который платит ему также своим искренним расположением. Пушкина же с некоторых пор он просто боготворит. Искусное и желчное перо передает охватившее Уварова нетерпение. «Он с жаром, я сказал бы даже — с детской непосредственностью ухватился за идею вашего проекта. Он обещает, клянется помочь его осуществлению; с того момента, как он уверился в ваших благих намерениях, он готов преклоняться перед вашим талантом, которым до сих пор только восхищался. Ему не терпится увидеть вас почетным членом своей Академии наук; первое свободное академическое кресло у Шишкова должно быть предназначено вам, оставлено за вами; вы — поэт, и не обязаны служить, но почему бы вам не быть при дворе?.. Словом, только одно счастье и слава ждет того, кто не довольствуется тем, чтобы быть украшением своего отечества, но и хочет послужить ему своим пером».

Лишь в самом конце письма Вигель рассказывает о прямом поручении Уварова, осуществляя свою месть до конца. «Он очень хочет, чтобы вы пришли к нему, но желал бы, для большей верности, чтобы вы написали ему и попросили принять вас и назначить час и день, вы получите быстрый и удовлетворительный ответ. В вашей записке вы можете сослаться на меня, но не упоминайте о содержании настоящего письма. Оно должно было заключать в себе десять слов, как я заметил в начале, но,

как видно, я принадлежу к тем людям, которым требуется два часа для того, чтобы их высказать, и три страницы, чтобы их написать»²⁷.

Уваров сделал ошибку. Он не остерегся перед Вигелем. Но он спешит. Он больше не может ждать.

8 октября он сам обращается с письмом к Пушкину. Он «восхищен прекрасными, истинно *народными* стихами» «Клеветникам России», восхищен до такой степени, что не мог отказать себе в удовольствии сделать их французский перевод. Он посылает этот перевод Пушкину, с просьбой показать его и Жуковскому. Одновременно, уже не сообщая об этом Пушкину, он отправляет свой перевод Бенкендорфу²⁸.

Нет никаких сомнений, что вспышка вдохновения «инвалида, давно забывшего путь к Парнаусу», как именовал себя Уваров, была частью общего плана. Письмо значило: мы должны действовать вместе на арене большой политики. Письмо к Бенкендорфу было дипломатическим извещением: альянс Пушкина и Уварова близок к осуществлению и нуждается в высокой поддержке.

Уваров спешит.

Но Пушкин, кажется, ничего не понимает. Он отвечает 21 октября любезным и холодным письмом. «Стихи мои послужили Вам простою темою для развития гениальной фантазии. Мне остается от сердца благодарить Вас за внимание мне оказанное, и за силу и полноту мыслей, великодушно мне присвоенных Вами».

Полно, не насмешка ли это?

Проходит ровно год со времени письма Вигеля. Летом 1832 года в дневнике Н. А. Муханова, близко общавшегося в это время с Пушкиным и Вяземским, появляются две характерные записи. Одна из них — под 29 июня — сообщает, что Пушкин получил разрешение на газету. Это — известный в пушкинской литературе «Дневник», не увидевший света, остановившийся на первом номере, — вероятно, потому, что Пушкин был отвлечен творческими замыслами и не чувствовал в себе достаточно сил, чтобы сделаться журналистом из поэта. «Пушкин, — пишет Муханов, — будет издавать газету (Б<лудов> выпросил у государя на сие позволение) под заглавием Вестник, газета политическая и литературная; будет давать самые скорые сведения из Министерства внутренних дел». Через неделю — 7 июля — появляется вторая запись: «Оживленный спор с Уваровым о газете

Пушкина. Он оскорблен, что разрешение ему дано через министра внутренних дел, а не его министерством»²⁹.

Вряд ли Муханов, участвовавший в споре, представлял себе ясно глубину и степень раздражения Уварова и тайные источники, питавшие это раздражение. Речь шла о той же самой газете, которая занимала столь важное место в планах Уварова год тому назад. Пушкин уклонился и от содействия Уварова и от сотрудничества с ним, — и теперь в споре говорила не уязвленность, но бешенство, бешенство честолюбца, увидевшего крушение давно лелеемого плана, в жертву которому было принесено многое — вплоть до самолюбия.

Но теперь изменилось положение, так как с апреля 1832 года Уваров был товарищем министра народного просвещения — и предъявлял на Пушкина свои законные права.

С этого времени он будет добиваться, чтобы ни одна строка Пушкина не выходила в печать без санкции его министерства. В апреле 1834 года, уже министром, он накладывает вето на «Анджело». Парадокс заключался в том, что сам Пушкин, как мы видели, пытается в это время вывести некоторые свои произведения из-под высочайшей опеки и как будто по собственной воле способствует планам Уварова. Министр пользуется удобным моментом, чтобы утвердить свою неограниченную власть над русским просвещением. Это нужно ему вовсе не для того, чтобы облегчить судьбу Пушкина, — напротив: он полон стремления воздвигнуть свою очередную — самую значительную — «умственную плотину», предназначенную для Пушкина. Правой рукой его в этом деле оказывается князь Михаил Александрович Дондуков-Корсаков, председатель Санктпетербургского цензурного комитета.

К февралю 1835 года поэт уже осознает в полной мере грозящую ему опасность. Он записывает в дневнике: «В публике очень бранят моего Пугачева, а что хуже — не покупают. Уваров большой подлец. Он кричит о моей книге, как о возмутительном сочинении. Его клевет Дундуков (дурак и бардаш) преследует меня своим цензурным комитетом. Он не соглашается, чтобы я печатал свои сочинения с одного согласия государя. Царь любит, да псарь не любит»³⁰. И далее в дневнике появляется известная характеристика моральных качеств Уваро-

ва, которая полностью войдет через несколько месяцев в памфлет «На выздоровление Лукулла».

В апреле 1835 года все это особенно беспокоило Пушкина по многим обстоятельствам. Во-первых, нужно было печатать «Путешествие в Арзрум». Во-вторых, Пушкин собирался возобновить полученное им еще в 1832 году разрешение на издание газеты, которая бы дала ему материальную независимость. Цензура Уварова и Дондукова становилась на этом пути трудно преодолимым препятствием; можно было предвидеть, что каждый номер газеты будет задерживаться в цензурном комитете. К этому добавлялась история мучительного прохождения через руки цензоров «Поэм и повестей»: 10 апреля вышел наконец из печати первый том. Второй том — с искаженным Уваровым злополучным «Андже-ло» — готовили к набору.

Поэт пытается найти защиту у Бенкендорфа. В первой декаде апреля он набрасывает письмо, где говорит между прочим: «Прошу извинения, но я обязан сказать вам все. Я имел несчастье навлечь на себя неприязнь г. министра народного просвещения, так же как князя Дондукова, урожденного Корсакова. Оба уже дали мне ее почувствовать довольно неприятным образом. Вступая на поприще, где я буду вполне от них зависеть, я пропаду без вашего непосредственного покровительства»³¹. Он просит назначить для будущей газеты цензора из собственной канцелярии Бенкендорфа.

Просьба эта была совершенно неосуществимой. Хотя Бенкендорф имел большое влияние на Николая I и с нескрываемым недоброжелательством относился к новому министру народного просвещения, но не имел формального права вторгаться в его владения — да и не решился бы на это. Уваров входил в силу — и чем дальше, тем больше. Николай I полностью одобрял деятельность своего министра, энергично взявшегося за искоренение «якобинства», и не скупился на награды и титулы. В 1834 году Уваров был тайным советником, членом Государственного совета, сенатором, президентом Академии наук, председателем комитета устройства учебных заведений, членом совета о военно-учебных заведениях, не говоря уже об ученых званиях, которые в глазах императора имели меньше цены. Он мог противопоставлять свое мнение мнению высших сановников бюрократического аппарата, опираясь при этом на высочайшее дове-

рие. И просить в этом случае «непосредственного покровительства» Бенкендорфа было бесполезно и не дипломатично.

Впрочем, Пушкин этого письма и не послал, решив лучше изложить дело Бенкендорфу при личном свидании, о чем и написал ему 11 апреля, препроводив одновременно для высочайшего цензурования «Путешествие в Арзрум»³². 16 апреля Бенкендорф «просил пожаловать» к нему для беседы³³.

Разговор, происшедший вслед за письмами, принес мало утешительного. Разрешения на газету не последовало, а тем самым снимался и вопрос о цензуре. «Путешествие в Арзрум» было принято для просмотра. Что говорилось о цензуре — этого мы не знаем, и, видимо, никогда не узнаем.

Мы знаем только, что как раз в это время, в десятых — двадцатых числах апреля, Пушкина охватывает какой-то пароксизм негодования на Уварова и Дондукова. Он пишет свою знаменитую эпиграмму, задевающую обоих — «В Академии наук Заседает князь Дундук»³⁴. А 26 апреля изливает свой гнев в письме Дмитриеву; «...<Уваров> фокусник, а <Дондуков-Корсаков> его паяс <...> один кувыркается на канате, а другой под ним на полу»³⁵.

Это гнев, стремительный и неудержимый, захлестывающий тем более яростно и неотвратимо, что он — гнев бессилия. Позже, по свидетельствам современников, Пушкин жалел о своей эпиграмме на «Дондука»³⁶. Если бы разговор с Бенкендорфом кончился благоприятно для Пушкина, отзывы его о Дондукове и Уварове, вероятно, были бы мягче.

Он обращается к единственному оружию, оставшемуся в его распоряжении, но оружию страшному для противника — к эпиграмме и стихотворному памфлету.

«На выздоровление Лукулла» зреет уже и готовится в его письмах и разговорах. Но Уваров получит эту пощечину еще не сейчас — позже, через полгода.

Лето проходит у Пушкина в отчаянных попытках спастись от нищеты, которой он уже заглянул в лицо. А 28 августа, когда еще типографская краска не просохла на многострадальных томиках «Поэм и повестей», он отправляет в Главный цензурный комитет странное прошение, в котором за вежливо-официальными формулами читается раздражение и насмешка.

«Чсть имею обратиться в Главный комитет цензуры с покорнейшею просьбою о разрешении встретившихся затруднений.

В 1826 году государь император изволил объявить мне, что ему угодно быть самому моим цензором. В следствие высочайшей воли все, что с тех пор было мною напечатано, доставляемо было мне прямо от его величества из 3-го Отделения собственной его канцелярии при подписи одного из чиновников: *С дозволения Правительства.* <...>

Ныне по случаю *второго, исправленного* издания Анджело, перевода из Шекспира (неисправно и со своевольными поправками напечатанного книгопродавцем Смирдиным) г. попечитель С.<анкт> П<етер> Б.<ургского> учебного округа изустно объявил мне, что не может более позволить мне печатать моих сочинений, как доселе они печатались, т. е. с надписью чиновника собственной его величества канцелярии. Между тем никакого нового распоряжения не последовало, и таким образом я лишен права печатать свои сочинения, дозволенные самим государем императором.

В прошлом мае месяце государь изволил возвратить мне сочинение мое, дозволив оное напечатать, за исключением собственноручно замеченных мест. Не могу более обратиться для подписи в собственную канцелярию его величества и принужден утруждать Комитет всеуниженным вопросом: какую новую форму соизволит он предписать мне для представления рукописей моих в типографию?

28 августа
1835

Титулярный советник Александр
Пушкин³⁷.

Для нас ясно, о чем идет здесь речь. Письмо не об «Анджело», как обычно считается. Сочинение, возвращенное императором, — «Путешествие в Арзрум», полученное в мае 1835 года; и его-то судьба остро беспокоит Пушкина; об «Анджело» же он упоминает мимоходом, в качестве примера. Он жалуется на произвол Дондукова его патрону Уварову, а ядовитым «всеуниженным» вопросом в конце письма метит и в самого Уварова — председателя Главного цензурного комитета.

7 сентября, не дождавшись ответа Уварова, Пушкин выехал в Тригорское. Начиналась его творческая осень, три «беременные месяца», — бесплодная осень 1835 года.

Сегодня 14-ое сентября. Вот уж неделя, как я тебя оставил, милый мой друг; а толку в том не вижу. Писать не начинал и не знаю, когда начну. Зато беспрестанно думаю о тебе, и ничего путного не надумаю.

...Скажи Плетневу, чтоб он написал мне об наших общих делах.

Жена моя, вот уже и 21-ое, а я от тебя еще ни строчки не получил... Я все беспокоюсь и ничего не пишу, а время идет. <...> А о чем я думаю? Вот о чем: чем нам жить будет? Отец не оставит мне имения; он его уже вполвину промотал; ваше имение на волоске от гибели. Царь не позволяет мне ни записаться в помещики, ни в журналисты. Писать книги для денег, видит бог, не могу. У нас ни гроша верного дохода, а верного расхода 30 000. Все держится на мне да на тетке. Но ни я, ни тетка не вечны. Что из этого будет, бог знает. Покамест грустно.

29 сентября.

Канкрин шутит — а мне не до шуток. Г<осударь> обещал мне Газету, а там запретил; заставляет меня жить в П<етер>Б<урге>, а не дает мне способов жить моими трудами. Я теряю время и силы душевные, бросаю за окошко деньги трудовые и не вижу ничего в будущем...

<.....>

Что Плетнев? думает ли он о нашем общем деле? вероятно, нет. Я провожу время очень однообразно. Утром дела не делаю, а так из пустого в порожнее переливаю. Вечером езжу в Тригорское, роюсь в старых книгах да орехи грызу. А ни стихов, ни прозы писать и не думаю.

Пушкин — П. А. Плетневу

Около 11 октября.

Очень обрадовался я, получив от тебя письмо (дельное по твоему обычаю). Постараюсь отвечать по пунктам и обстоятельно: ты получил «Путешествие» от цензуры; но что решил комитет на мое всеуниженное прошение? Ужели залягает меня осленок Никитенко и забодает бык Дондук? Впрочем, они от меня так легко не отделаются... В ноябре я бы рад явиться к вам; тем более,

что такой бесплодной осени отроду мне не выдавалось. Пишу, через пень колоду валю. Для вдохновения нужно сердечное спокойствие, а я совсем не спокоен.

Плетнев ничего не мог ответить Пушкину, ибо судьба «всеуниженного прощения» была ему неизвестна. Со времени подачи его прошло уже полтора месяца. Комитет не давал о себе вестей и пока что «отдельвался» легко. Пушкин предпринимает новые шаги, выполняя свою неопределенную угрозу.

Что он мог сделать? На Дондукова можно было искать управы у министра. Кому жаловаться на министра, хранящего начальственное молчание?

В архиве Пушкина сохранился черновой набросок письма без даты. Оно адресовано Бенкендорфу.

Итак, снова Бенкендорф, как последнее прибежище. Это уже метания затравленного. И в тоне письма чувствуется смятение; оно сбивчиво и неясно.

«Обращаюсь к В<ашему> с<иятельству> с жалобой и покорнейшею просьбою.

По случаю затруднения цензуры [в пропуске] издания одного из моих стихотворений принужден я был во время Ваш.<его> отсут.<ствия> обратиться в Ценсурн.<ый> комитет с просьбой о разрешении встретив.<шегося> недоразумения. Но Комитет не удостоил просьбу мою ответом. Не знаю, чем мог я заслу<жить> таковое небрежение — но ни один из русск<их> писателей не притеснен более моего.

[— Сочинения мои, одобренные государем, остановлены при их появлении] — печатаются с своевольными поправками цензора, жалобы мои оставлены без внимания. Я не смею печатать мои сочинения — ибо не смею...»³⁹.

Письмо оборвано. Следы его теряются. Никаких сведений о нем в делах III Отделения нет.

И лично к Бенкендорфу оно попасть не могло. Шефа жандармов не было в Петербурге. Он уехал еще при Пушкине, 1 августа, за границу⁴⁰; в октябре был в Варшаве, потом в Москве, и выехал оттуда в столицу в ночь с 28 на 29 октября⁴¹. Пушкин писал наугад, может быть, и без надежды, раздраженный и оскорбленный⁴².

Тем временем просьба Пушкина лежала в канцелярии Уварова. Почти через месяц после ее получения министр народного просвещения велел составить ответ.

В октябре письмо уже лежало на столе петербургской квартиры Пушкина. Это было отношение за № 312 от 26 сентября 1835 года, гласившее:

«Господину титулярному советнику Пушкину.

По поданному Вами в Главное управление цензуры прошению относительно формы для представления в типографию рукописей Ваших сочинений, Управление определило объявить Вам, что рукописи, издаваемые с особого высочайшего разрешения, печатаются независимо от Цензуры министерства народного просвещения, но все прочие издания, назначаемые в печать, должны на основании высочайше утвержденного в 22 день <апреля> 1828 года Устава о цензуре быть представляемы в Цензурный комитет, которым рассматриваются и одобряются на общих Цензурных правилах.

О сем Канцелярия Главного управления цензуры, по предписанию господина министра нар<одного> про<свещения>, имеет честь вас уведомить.

Под<писал> мин<истр> нар<одного> пр<освещения> С. Уваров.

Верно: Правитель дел В. Комовский⁴³.

На первый взгляд, письмо это кажется странным. Оно как будто отменяет распоряжение Николая I или волею министерства просвещения вносит в него какие-то изменения.

На самом деле вовсе не так. Уваров знал, что делал. Копию письма он направил в III Отделение, за отсутствием Бенкендорфа, на имя Мордвинова. На копии стоит лаконичная помета: «Убрать». Это значило, что III Отделение принимает к сведению решение Главного управления цензуры и возражений не имеет.

Вернувшись в Петербург, Пушкин нашел в своей квартире ответ. Теперь обращение к Бенкендорфу становилось бессмысленным, и Пушкин от него отказался. Он возвращался в то положение, из которого был выведен «милостью» императора: его передавали цензуре, свирепствовавшей, как во времена легендарных Бирукова и Красовского.

Через несколько дней в его черновой тетради появляются первые наброски знаменитого стихотворения, обращенного к перенесшему тяжелую болезнь графу Шереметеву¹⁴:

...наследник твой,
Как ворон, к мертвечине падкий.
Бледнел и трясся над тобой,
Знобим стяжанья лихорадкой.

(.....)

Он мнил: «Теперь уж у вельмож
Не стану нянчить ребятишек;
Я сам вельможа буду тож;
В подвалах, благо, есть излишек.
Теперь мне честность — трын-трава!
Жену обсчитывать не буду,
И воровать уже забуду
Казенные дрова!»

А в конце декабря выходит в свет сентябрьский номер хронически запаздывающего «Московского наблюдателя» с напечатанным текстом стихотворения «На выздоровление Лукулла».

В январе следующего года обе столицы были полны толками о памфлете. Уварова узнали мгновенно. Ждали серьезных последствий для автора и журнала. «...Как же вы спроста напечатали «На выздоровление Лукулла»! Эх! Эх», — писал с досадой А. Веневитинов Погодину, причастному к делам издания «Московского наблюдателя».

Александр Булгаков, московский почт-директор, неизменный собиратель и регистратор светской хроники, летописец всех слухов, занимавших город хотя бы на два дня, заполнил рассказом об этих событиях несколько страниц своих любопытных воспоминаний (к сожалению, доселе не изданных).

«По случаю пожалования Станиславской ленты попечителю учебного округа и вице-президенту Академии наук князю Дондукову, которого министр народного просвещения особенно покровительствует, — рассказывал Булгаков, — известный наш поэт и сатирик Пушкин написал весьма язвительную эпигramму, которая более касалась до министра нежели до вице-президента.

Уваров, опорочивая и самые стихи и смысл оных, обращаясь к Пушкину, сказал ему: утверждаю, что Вы сочинитель сей эпигramмы. Автор Онегина, не желая заводить спора, отвечал: «Я признаю моими стихами токмо те, под коими написано имя мое!» Он искал случая отомстить Уварову, и случай представился. Богач граф Ше-

реметев поехал в Воронеж, где занемог отчаянно, по своему случаю востребован был из Петербурга доктор графа, который спас ему жизнь скорым и решительным средством, за что получил 25 т<ысяч> р<ублей> одновременно и 5000 р<ублей> пенсии по смерти. Известно, что Уваров и князь Репнин, яко ближайшие родственники графа и наследники его, ибо родная его тетка, бывшая замужем за графом Алек<сеем> Кирилов<ичем> Разумовским, была мать Уваровой и княгини Репниной. Скоро разнесся слух, что граф Шереметев умер в Воронеже. Уваров, не уверясь в истине слуха сего, потребовал запечатания всего имущества, находящегося в доме графа Шереметева в Петербурге. К нещастию, среди всех этих предварительных, преждевременных распоряжений и воздушных замков насчет огромного наследства получено было известие о совершенном выздоровлении Российского Крезуса. Сие дало Пушкину повод написать весьма едкую сатиру под заглавием Смерть Лукулла и напечатанную в Московском наблюдателе с подписью имени автора.

Благодарнее было бы Уварову себя не узнавать и ограничиться молчанием, вместо того он стал жаловаться в обиду, нанесенной не столько частному лицу, сколь сановнику, облеченному высоким званием министра. Пушкин был призван к графу Бенкендорфу, управляющему верховною тайною полициею.

— Вы сочинитель стихов на смерть Лукулла?

— Я полагаю признание мое лишним, ибо имя мое не скрыл я.

— На кого вы целите в сочинении сем?

— Ежели вы спрашиваете меня, граф, не как шеф жандармов, а как Бенкендорф, то я вам буду отвечать откровенно.

— Пусть Пушкин отвечает Бенкендорфу.

— Ежели так, то я вам скажу, что я в стихах моих целил на вас, на графа Ал<ександра> Хр<истофоровича> Бенкендорфа.

Как ни было важно начало сего разговора, граф Бенкендорф не мог не рассмеяться, а Пушкин на смех сей отвечал немедленно сими словами: «вот видите, граф, вы этому смеетесь, а Уварову кажется это совсем не смешно» — Бенкендорфу иное не оставалось, как продолжать смеяться и объяснение так и кончилось для Пушкина...»⁴⁵

Так рассказывает Булгаков, передавая голос молвы.

В общих чертах события, по-видимому, так и развивались, но в передаче они утрачивали акценты и детали и становились похожими на анекдот. Сцена между Пушкиным и Бенкендорфом производит впечатление такого анекдота — в меньшей степени у Булгакова, в большей — у других мемуаристов, например у Куликова, который повествовал со слов друга Пушкина П. В. Нащокина, добавляя от щедрот своих разные фантастические подробности. Разговор с Бенкендорфом, действительно, произошел, и очень вероятно, что шеф жандармов с тайным удовольствием видел своего недруга выставленным на общее посмешище, но для Пушкина дело так просто не кончилось. Он получил выговор, ему передали о неудовольствии царя, он должен был писать объяснение, доказывая, что сатира не содержит характеристических признаков лица, что обличение порочного скупца в ней — общее место. Это было наивно и никого не обманывало. В феврале дело едва не дошло до открытого конфликта с князем Н. Г. Репниным, вторым наследником Шереметева, которого Пушкин вовсе не хотел задевать... И так далее, и так далее.

Тучи сгушались над Пушкиным. Иногда он жалел о том, что написал свой блестящий памфлет⁴⁶. «На выздоровление Лукулла» ему не простили и после смерти — ни Уваров, ни Бенкендорф, который видел в стихотворении опасное ослушание.

В XVIII веке русские сатирики брали на себя роль судей и обвинителей сильных мира сего. Суд шел скорый и неумытный — над их делами и моралью. Слово сатирика было его общественным делом.

Рылеев написал «К временщику» — безвестный чиновник, литератор вызывал на поединок графа Аракчева. В самом этом факте была политика — нарушение незыблемых, казалось, законов государственной иерархии — писаных и неписаных.

Памфлет Пушкина был не простой «личностью». Он противопоставлял общественное мнение носителю «мирской власти». Александр Тургенев писал, что в нем больше политики, чем в сообщениях о парижских политических новостях⁴⁷.

Бенкендорф мог втайне сочувствовать Пушкину, пока дело шло о некоем карьеристе и нуворише по имени Уваров, человеке ему неприятном и недостойном уваже-

ния. Но Пушкин поднимал руку на министра народного просвещения Сергея Семеновича Уварова, и здесь личные пристрастия должны были отступить на задний план.

При начале истории взаимоотношений Пушкина с «высочайшей» и общей цензурой стоит резолюция Николая I 1826 года, переданная Пушкину Бенкендорфом:

«Сочинений Ваших никто рассматривать не будет; на них нет никакой цензуры; государь император сам будет и первым ценителем произведений Ваших и цензором»⁴⁸.

Последней вехой этих взаимоотношений была другая резолюция. 31 декабря 1835 года Пушкин представил на рассмотрение Николаю I «Записки Моро-де-Бразе», со своими примечаниями, — любопытнейший исторический документ, который он собирался издавать. Никакого письменного ответа не последовало; в делах III Отделения нет упоминаний о судьбе записок. Видимо, Николай I возвратил их. В 1837 году они были в руках у Жуковского, который собирался издать их в «Современнике». Он испросил разрешения у Николая I:

«Записки Моро и Бразе <так!> были приготовлены Пушкиным к напечатанию. Не угодно ли будет В<ашему> И<мператорскому> Вел<ичеству> взглянуть на этот манускрипт, который я желал бы отдать в печать прежде своего отъезда.

Жуковский».

Николай I написал карандашом на полях:

«Пушкин присылал мне сии записки для прочтения, сколько припомнить могу, в прошлую зиму; они любопытны; но может быть цензура кое-что не пропустит, почему полагаю нужным туда и препроводить»⁴⁹.

Понадобилось десять лет, чтобы даровать первому русскому поэту привилегию печататься без цензуры и затем взять ее обратно. Десять лет и десятки дипломатических ходов, приемов и официальных бумаг. И все же трудно сказать, что было бóльшим благом — или бóльшим злом — самая ли привилегия или ее отмена.

После смерти Пушкина Жуковский написал Бенкендорфу письмо, где с резкой откровенностью высказал все, накипевшее у него за долгие годы:

«Государь император назвал себя его цензором. <...> Скажу откровенно, эта милость поставила Пушкина в самое затруднительное положение. <...> На многое, замеченное государем, не имел он возможности

делать объяснений; до того ли государю, чтобы их выслушивать? И мог ли Пушкин осмелиться представлять на благоусмотрение государя то, что всякую минуту без всякого затруднения могла и должна была принимать от него обыкновенная цензура?

<...> Ему нельзя было тронуться с места свободно <...> ему нельзя было своим друзьям и своему избранному обществу читать свои сочинения <...> Вы из <...> покровительства сделали надзор...»⁵⁰

Так оборачивалась «милость», полученная Пушкиным в 1826 году.

О возвращении же в лоно цензуры Пушкин написал сам. Его дневник оканчивается словами:

«Времена Красовского возвратились. Никитенко глупее Бирукова»⁵¹.

И еще, — в письме Давыдову:

«Не знаю, чем провинились русские писатели... Но знаю, что никогда не бывали они притеснены, как нынче: даже и в последнее пятилетие царств. <ования> покойн. <ого> имп<ератора>, когда вся литература сделалась рукописною благодаря Красовскому и Бирукову»⁵².

И так же или почти так же думал и писал в своем дневнике цензор Никитенко, который вовсе не был «глупее Бирукова».



Дневник цензора

Дневник Никитенко — один из самых впечатляющих документов, какие оставила нам мемуарная литература XIX столетия.

Он давно и хорошо известен, этот дневник, занимающий почти полторы тысячи страниц печатного текста и обнимающий полстолетия. Его начал вести в 1826 году юноша неполных двадцати двух лет, — и закончил семидесятитрехлетний старик за месяц до смерти. День за днем студент университета, потом молодой чиновник в

канцелярии попечителя петербургского учебного округа К. М. Бороздина, потом цензор и доктор философии, автор сочинения «О творящей силе поэзии, или О поэтическом гении», затем соиздатель «Современника» с Некрасовым и Панаевым, — и наконец ординарный академик по отделению русского языка и словесности, — день за днем Александр Васильевич Никитенко вписывал в тетради свои наблюдения и размышления о том, чему был свидетелем и участником.

И свидетелем и участником он был отнюдь не бесстрастным.

Никитенко, — упаси боже, — не был революционером; он был осторожным и умеренным бюрократом либерального толка. Но ни по рождению, ни по воспитанию он не принадлежал к николаевской бюрократии. Он пришел в нее из низов — из недр крепостного крестьянства, хотя и не забитого и не неграмотного, а уже добившегося какого-то состояния и положения. И тем не менее ему было ведомо, что он — податное сословие, холоп, а граф Шереметев — барин, и в любой момент может проиграть в карты его семью и его самого. Он родился, однако, под счастливой звездой; когда тринадцатилетним мальчиком, весной 1817 года, он наблюдал, как драгунские части под восторженные возгласы и звуки полковой музыки въезжают на тихие улицы провинциального Острогжска, — он не мог и думать, что один драгунский офицер перевернет всю его жизнь, что он испытает на себе «чарующее действие его гуманности и доброты»⁵³, — а через два года этот его благодетель в безобразном холщовом мешке будет повешен на Кронверской куртине Петропавловской крепости. Да, «государственный преступник» Рылеев принял ближайшее участие в судьбе крепостного юноши, — а вторым его покровителем стал князь А. Н. Голицын, уже покинувший пост министра просвещения, на котором он стяжал себе столь незавидную славу «гасителя». Два полюса обозначались в биографии Никитенко, — и между этими полюсами потом протекала его социальная жизнь: ненавистник крепостного права, он должен был, как цензор, преследовать антикрепостнические идеи; полный презрения к «большому свету», он исправлял должность домашнего учителя в графских и княжеских семьях, автор диссертации о творящей силе поэзии вводил эту силу в рамки, предначертанные цензурным уставом. Эту двойст-

венность своего социального бытия он понимал и сам... Однако мы забегаем вперед.

Дневник — коварный документ: он соблазняет читателя за несколько дней, а то и часов пробежать чужую жизнь и другую эпоху, торопя его суждения и выводы, перенося на десятилетия вперед то, что осозналось позже, иногда после тяжелого искусства.

В 1826 году, с которого начинается дошедший до нас дневник Никитенко, автор его — вовсе не цензор, а студент Петербургского университета, еще недавно бывший крепостным. Идет декабрь месяц; идут занятия в университете; идет шестой месяц, как покоится в безвестной общей могиле молодой офицер с тихим сиянием темных глаз, который когда-то требовал Монтескье в острожской лавке. О нем нет упоминаний в дневнике; о нем Никитенко с трогательной благодарностью расскажет в поздних записках.

В декабре 1826 года Никитенко записывает в дневник: «Неужели в самом деле хотят создать для нас материальную логику, то есть навязать нашему уму самые предметы мышления и заставить называть черное белым и белое черным потому только, что у нас извращенный порядок вещей? Можно заставить не говорить известным образом и об известных предметах — и это уже много, — но не мыслить!.. Между тем именно это и хотят сделать, забывая, что если насилие и полагает преграды исполнению вечных законов человеческого развития, то только временно: варвар и раб отживают свое урочное время, человечество же всегда существует...» Но в это время он уже знает: «нынче кто благороден и неблагоразумен — тот гибнет»⁵⁴. У него большой жизненный опыт в двадцать два года, — куда больший, чем у его сверстников.

Проходит полгода. Студент обратил на себя внимание попечителя К. М. Бороздина; он рекомендован как домашний учитель в дом генеральши Штерич. Здесь он влюбляется в светскую женщину, тоже генеральшу, Анну Петровну Керн. Это был роман короткий и безнадежный: ветреница забыла о нем, когда в Петербург приехал Пушкин. Никитенко покорился судьбе, — быть может, не без тайного чувства ревности. Он терялся перед «высоким даром, полученным от природы». «Никто из русских поэтов, — записывал он 22 сентября 1827 года, — не постиг так глубоко тайны нашего языка,

никто не может сравниться с ним живостью, блеском, свежестью красок в картинах, созданных его пламенным воображением. Ничьи стихи не услаждают души такой пленительной гармонией. И рядом с этим, говорят, он плохой сын, сомнительный друг. Не верится!..» Он и верил, и не верил, по старой грибоедовской формуле: «Все говорят! — Ну все, так верить поневоле. А мне сомнительно», — но когда в следующем месяце взял в руки только что отпечатанную третью главу «Онегина», — забыл о петербургских толках. «<...> Поэт <...> погрузил мою душу в чистую радость полной и свободной жизни, растворив эту радость тихой задумчивостью, которая неразлучна с человеком, <...> как провозвестие чего-то высшего, соединенного с его бытием».

В это время он уже пробует писать сам и знакомится с литераторами и журналистами — с Булгариным, с желчным и умным Сенковским, чью «Библиотеку для чтения» ему придется цензурировать несколькими годами позднее. И тогда же, в 1828 году, он впервые на собственном опыте узнает, что такое николаевская цензура. Из его журнальной статьи цензор вычеркнул слова «краугольный камень», глубокомысленно заметив, что «краугольный камень есть Христос, следовательно сего эпитета нельзя ни к чему другому применять».

Никитенко протестует и негодует; он записывает в дневник о «свирепом преследовании идей, без которых <...> ни одно государство не может идти вперед по пути к могуществу и благоденствию»⁵⁵.

Он не знает еще, что силою обстоятельств он сам принужден будет вычеркивать из чужих сочинений библейские и евангельские фразы и что дирижировать этим «свирепым преследованием идей» будет С. С. Уваров, которого он знает пока лишь как родственника Я. И. Ростовцева и в доме у которого он дает уроки русской словесности.

Он уже кончил университетский курс и произведен в кандидаты.

Никитенко готовил себя к учено-литературной деятельности, но, кажется, сама судьба толкала его в цензурное ведомство. Он был секретарем попечителя К. М. Бороздина, его доверенным лицом и любимцем; он обладал знаниями и усердием, — и когда 22 апреля 1828 года был утвержден новый цензурный устав, именно ему было предложено написать примечания, которые

должны были разъяснить некоторые неясности и оградить устав от нападок «гасителей просвещения».

Никитенко работал три недели. Это была первая его работа в области законодательства, и он был одушевлен высокой идеей — «распространения просвещения» и «ограждения прав русских граждан на самостоятельную духовную жизнь»⁵⁶. В самом деле, новый устав был документом, вселявшим надежды — и не в одного Никитенко.

Двадцатичетырехлетний кандидат окончил свой труд ночью 4 сентября 1828 года и, оторвавшись от бумаг, смотрел в окно на ясное ночное небо со сверкающими звездами. Ему было спокойно и радостно. Его одушевляли благородные помыслы, клонящиеся ко всеобщему благу, и в том же смысле действовал и попечитель Бородин, патриот, с душой поэта и философа, и новый твердый государь, уже произведший важные перемены в государственном управлении. Впереди виделась символическая тропа, по которой русское общество шествует к символическому свету.

* * *

За 1829 год дневник Никитенко занимает всего несколько страниц. Может быть, он не имел времени или настроения писать; может быть, сохранились только выдержки: подлинная рукопись до нас не дошла...

В январе 1830 года Никитенко сообщает, что А. Ф. Воейкова, а заодно Греча и Булгарина посадили на гауптвахту за «личности» и пристрастия в литературных полемиках.

Никитенко не очень сочувствовал пострадавшим. Он думал об уставе, к которому писал примечания.

Устав предписывал не преследовать писателей. Это был, как считал Никитенко, «один из лучших параграфов» цензурного законодательства, — и он-то и был посрамлен. Русское общество замедляло свое движение к символическому свету.

31 октября Никитенко записывает о появлении в «Литературной газете» Дельвига четырех стихов Казимира Делавиня. Это были те самые стихи, в которых было усмотрено сочувствие Французской революции 1830 года. «...Мы сегодня получили от Бенкендорфа бумагу со строгим требованием уведомить его, кто осмелился пропустить сии стихи и кто дал их издателю для

напечатания? Подобные происшествия часто случаются в нашей цензуре».

30 декабря 1830 года. «Истекший год вообще принес мало утешительного для просвещения в России. Над ним тяготел унылый дух притеснения. Многие сочинения в прозе и стихах запрещались по самым ничтожным причинам, можно сказать, даже без всяких причин, под влиянием овладевшей цензорами паники... Цензурный устав совсем ниспровержен. Нам пришлось удостовериться в горькой истине, что на земле русской нет и тени законности».

16 января 1831 года в дневнике — известие о смерти Дельвига.

28 января. «Публика в ранней кончине барона Дельвига обвиняет Бенкендорфа, который за помещение в «Литературной газете» четверостишия Казимира Делавиня назвал Дельвига в глаза почти якобинцем и дал ему почувствовать, что правительство следит за ним.

За сим и «Литературную газету» запрещено было ему издавать. Это поразило человека благородного и чувствительного и ускорило развитие болезни, которая, может быть, давно в нем зрела».

16 февраля. «Был в театре на представлении комедии Грибоедова «Горе от ума». Некто остро и справедливо заметил, что в этой пьесе осталось одно только горе: столь искажена она роковым ножом бенкендорфовой литературной управы».

Февраль 1832 года. «Вечер провел у Плетнева. Там застал Пушкина. «Европейца» запретили. Тьфу! Да что же мы, наконец, будем делать на Руси? Пить и буяннить? И тяжело, и стыдно, и грустно».

14 мая 1832 года. «У нас новый товарищ министра народного просвещения, Сергей Семенович Уваров. Он желал меня видеть; я был у него сегодня. Он долго толковал со мной о политической экономии и словесности. Мне хотят дать кафедру последней. Я сам этого давно желаю.

Уваров человек образованный по-европейски; он мыслит благородно и как прилично государственному человеку; говорит убедительно и приятно. Имеет познания, и в некоторых предметах даже обширные. Физиономия его выразительна. Он слышит за человека просвещенного».

Никитенко отказался от места экстраординарного профессора и предпочел более скромное положение адъ-

юнкта при ordinarily профессор П. А. Плетневе. Это была посильная жертва, которую он приносил «нашему бедному просвещению». За четыре года его убеждение в скором торжестве идеалов этого последнего сильно поколебалось, — и увы! это было не последнее разочарование. Образу Уварова суждено будет тоже померкнуть в его глазах, — но...

Но в это время он уже будет его чиновником и проводником его цензурной политики.

26 октября 1832 года. «Новое гонение на литературу. Нашли в сказках Луганского какой-то страшный умысел против верховной власти и т. д.

Я читал их: это не иное что, как просто милая русская болтовня о том, о сем. Главное достоинство их в народности рассказа. Но люди близкие ко двору видят тут какой-то политический умысел. За преследованием дело не станет».

4 апреля. «Третьего дня я читал попечителю мою вступительную лекцию «О происхождении и духе литературы», которую отдаю в печать. Он советовал мне вычеркнуть несколько мест, которые, по собственному его сознанию, исполнены и нравственной и политической благонамеренности.

— Для чего же? — спросил я.

— Для того, — отвечал он, — что их могут худо перетолковать — и беда цензору и вам.

Я однако оставил их, ибо без них сочинение не имело бы ни смысла, ни силы.

Неужели в самом деле все честное и просвещенное так мало уживается с общественным порядком! Хорош же последний!».

В тот же день. «Было время, что нельзя было говорить об удобрении земли, не сославшись на тексты из свящ. <енного> писания. Тогда Магницкие и Руничи требовали, чтобы философия преподавалась по программе, сочиненной в министерстве народного просвещения; чтобы, преподавая логику, старались бы в то же время уверить слушателей, что законы разума не существуют; а преподавая историю, говорили бы, что Греция и Рим вовсе не были республиками, а так, что-то похожим на государство с неограниченной властью, вроде турецкой или монгольской. Могла ли наука принести какой-нибудь плод, будучи так извращаема? А теперь? О, теперь совсем другое дело. Теперь требуют, чтобы лите-

ратура процветала, но никто бы ничего не писал ни в прозе, ни в стихах; требуют, чтобы учили как можно лучше, но чтобы учащие не размышляли...»

5 апреля. «У нас уже недели три, как новый министр просвещения, Сергей Семенович Уваров. Сегодня ученое сословие представлялось ему, в том числе и я, но представление это имело строго официальный характер».

16 апреля. «Министр избрал меня в цензоры, а государь утвердил в сем звании. Я делаю опасный шаг. Сегодня министр очень долго со мной говорил о духе, в каком я должен действовать. Он произвел на меня впечатление человека государственного и просвещенного.

— Действуйте, — между прочим сказал он, — по системе, которую вы должны постигнуть не из одного цензурного устава, но из самых обстоятельств и хода вещей. Но притом действуйте так, чтобы публика не имела повода заключать, будто правительство угнетает просвещение».

4 мая. «Попечителем нашим назначен князь Михаил Александрович Дондуков-Корсаков. Он первого мая вступил в отправление должности. Он, кажется, человек благородный и образованный».

1834 год

8 января. «Библиотека для чтения», журнал, издаваемый Смирдиным, поручен на цензуру мне. <...>

С этим журналом мне много забот. Правительство смотрит на него во все глаза. Шпионы точат на него когти, а редакция так и рвется вперед со своими нападками на всех и на все. <...> Надо соединить три несоединимые вещи: удовлетворить требованию правительства, требованиям писателей и требованиям своего собственного внутреннего чувства. Цензор считается естественным врагом писателей — в сущности это и не ошибка.

9 января. «Надо мною собиралась туча — я этого и не знал. После Ф. Ф. сделан членом т. п. некто вроде нравственной гарпии, жаждущей выслужиться чем бы то ни было. Он в особенности хищен на цензуру. Ловит каждую мысль, грызет ее, обливает ядовитую слюною и открывает в ней намеки, существующие только в его низкой душе. Этот человек уже опротивел обществу как холера. При прежнем министре в цензуре не проходило недели без какой-нибудь истории, которую он пускал в ход. Ныне вздумал он повторить прежнее. В первом номере журнала «Библиотека для чтения», в повести Сен-

ковского «Жизнь женщины в четырех часах», он привязался к какой-то выходке против начальников канцелярий, принял ее за эпиграмму на себя, побежал к Б., послал за Смирдиным, нашумел, накричал и уже распускал когти и на цензора. К счастью, его на этот раз не послушали».

И здесь нам придется прервать на время чтение дневника Никитенко, чтобы вдуматься в последнюю запись.

Начальник канцелярии Бенкендорфа

В течение почти семидесяти лет запись эта оставалась загадочной и была расшифрована лишь И. Я. Айзенштоком в 1955 году.

«Т. п.» — это «тайная полиция». Инициалы Ф. Ф. обозначали М. Я. фон Фока, прежнего управляющего III Отделением, скончавшегося 27 августа 1831 года. Место его занял человек, имя которого в дневнике Никитенко — или в печатном издании его — было опущено.

Это имя мелькнуло уже однажды на предшествующих страницах книги. Александр Николаевич Мордвинов, правая рука Бенкендорфа, — зашифрованного в записи Никитенко буквой «Б». 26 апреля 1832 года ему было повелено присутствовать в Главном управлении цензуры. Этот человек будет посредником в сношениях Пушкина с Бенкендорфом. И о нем же пишет Никитенко как о «нравственной гарпии».

Понятно, что он имеет в виду. Отношения цензурного ведомства и политической полиции складывались не всегда гладко, и прежние министры, бывало, получали от III Отделения плохо скрытые выговоры, которые становились просто опасны, когда статья или книга, иной раз невинная, имела несчастье навлечь на себя высочайшее неблаговоление. Тогда гнев напуганного министра обрушивался на цензора.

В 1834 году Никитенко уже знает, что «человеком, близким ко двору», усмотревшим «какой-то политический умысел» в книге «Казака Луганского» — В. И. Дала — немногим более года назад, был А. Н. Мордвинов, проявивший излишнее усердие в отсутствие Бенкендорфа. Его тогда вызвал к себе император и передал ему некую «революционную книжечку или прокламацию», которую неизвестное лицо подбросило в темноте карауль-

ному солдату у Екатерининского института. Отыскать этого человека не было никакой возможности. Оставалось лишь удвоить бдительность, и тогда Мордвинов обратил внимание на «Русские сказки», где усмотрел «насмешки над правительством, жалобы на горестное положение солдата и пр.». Он поспешил «поднести» их «его величеству, который приказал арестовать сочинителя и взять его бумаги для рассмотрения». В городе долго потом рассказывали детали этой истории; Даль вспоминал, что при аресте Мордвинов встретил его «площадными словами». Уже виделись вдали зловещие контуры заговора злоумышленников — «возбуждение нижних военных чинов к ропоту», как значилось в письме Бенкендорфа, написанном восемь — восемь! — лет спустя. Правда, Даль был освобожден в тот же вечер, Мордвинов сменил гнев на любезность, Бенкендорф, приехав, принес полуизвинение, — но толки шли, и за «Русскими сказками» в глазах правительства удержалась репутация «предосудительной» книги⁵⁷, а «цензору — бедняку миролюбивому — нагоняй!»⁵⁸. В. Д. Комовский, человек весьма осведомленный, полагал не без основания, что «спасли» Даля его воинские подвиги, — но на что мог рассчитывать «неблагоданмеренный» Сенковский и его цензор, если бы Мордвинов успел в своем намерении?

Мы вряд ли сейчас уже определим, что именно в повести Сенковского «Вся женская жизнь в нескольких часах» принял на свой счет начальник канцелярии Бенкендорфа. Быть может, гротескный портрет начальника канцелярии, генерала со звездой необыкновенных размеров, «смуглого, высокого, гадкого»; а может быть, он был раздражен шутками насчет тайных революционных обществ в пансионах благородных девиц, — или, наконец, самой историей о том, как чиновница 6-го класса готова «променять дочь на чин». При всех обстоятельствах, шутки Сенковского всегда отличались какой-то неуместностью, каким-то неблагоданмеренным свободозычием.

Но нервное раздражение Мордвинова, как можно подозревать, объяснялось не только этим.

* * *

Сведения о Мордвинове скудны, — жаловался известный историк русского революционного движения М. К. Лемке, и то же говорит современный нам историк,

автор богатой материалами книжки об Н. А. Мордвинове⁵⁹. И все же мы знаем о нем не так мало.

Когда он сменил Фон-Фока, ему было тридцать девять лет, и за плечами его был немалый опыт — и личный, и исторический.

Он был сыном порховского помещика Николая Михайловича Мордвинова, сестра которого, Александра, была замужем за известным Николаем Николаевичем Муравьевым, основателем школы колонновожатых, откуда вышла целая плеяда будущих декабристов. Таким образом, он приходился двоюродным братом основателю Союза Спасения Александру Николаевичу Муравьеву, Михаилу Николаевичу, участнику создания «Зеленой книги» — а потом печально известному Муравьеву-Виленскому — «Вешателю», поэту Андрею Николаевичу и Николаю — «Муравьеву-Карскому». Родная сестра Мордвинова, Варвара, была замужем за А. М. Бакуниным, а сын их, Михаил Александрович, знаменитый в истории русского революционного движения, был его племянником, к которому он относился с родственным участием⁶⁰.

В этой странной — и все же такой типичной для николаевского времени биографии стояли рядом друг с другом и Муравьевы, которых вешают, и Муравьевы, которые вешают.

Артамон, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы в 1811 году заходят в дом у Смольного монастыря, где живет отец Мордвинова с сыном и племянником Николаем. Александр Мордвинов дружен с двоюродными братьями: они воспитывались вместе. С Апостолами же его связывает дальнейшее родство: Муравьевы, те, «которые вешают», и те, «которых вешают», — троюродные братья.

В 1811 году ни о каком декабризме еще нет и речи, и будущим «южанам» и «северянам» нет дела, что их дальний родственник, девятнадцатилетний Александр Мордвинов, с шестнадцати лет уже титулярный советник, с 1810 года служит в Министерстве полиции.

Война прерывает его карьеру. Мордвинов поступает в Петербургское ополчение, сражается под Полоцком, при Березине; в 1813 году при осаде Данцига отражает вылазку неприятеля «с примерной храбростью» и получает награду. В 1815 году он возвращается на прежнюю службу, но ненадолго: его определяют в главную квартиру фельдмаршала М. Б. Барклая де Толли, а затем в «собственную е. и. в. канцелярию»⁶¹.

Именно в эти годы Александр Муравьев и Иван Бурцов создают «Священную артель» — тайный дружеский кружок политического направления, — а затем первый из них становится основателем преддекабристского Союза Спасения.

В немногочисленных дошедших до нас свидетельствах об этих обществах имя Мордвинова не упоминается, и нет никаких оснований думать, что он даже знал об их существовании. Но он был товарищем и А. Муравьева, и И. Бурцова. Нам известно сейчас, что Бурцов постоянно видится с ним в Петербурге в 1817—1818 годах⁶².

В это время Мордвинов — уже заметная фигура в петербургском обществе. Его знают и в литературных кругах; он бывает у Олениных, а в 1824 году женится на княжне Херхеулидзевоу — сестре той самой «Темиры» — Т. С. Вейдемейер, к которой так тепло относились Жуковский и И. И. Козлов.

1825 год застаёт его чиновником Государственной канцелярии, а в 1829 году его назначают помощником статс-секретаря Государственного совета. Когда умер Фон-Фок и искали замену, выбор пал на Мордвинова. Это назначение было многими принято с удовлетворением. А. Я. Булгаков сообщал брату, что Мордвинова «хвалят», — и в числе других А. Тургенев⁶³.

Нужны были какие-то особые причины, чтобы А. И. Тургенев в 1831 году хвалил человека, принимающего должность начальника канцелярии III Отделения. В эти годы он не мог ни говорить, ни слышать спокойно о политической полиции: его брат Николай, изгнанник, был заочно осужден на смертную казнь. Но Александр Мордвинов не был причастен к суду над декабристами, и он был родственником адмирала Н. С. Мордвинова, единственного человека, кто возражал против смертного приговора «государственным преступникам». К старому же адмиралу и Александр Тургенев, и Николай, служивший некогда под его началом, питали уважение, — оно возросло после 14 декабря.

Существует поразительное письмо, относящееся к 1830 году. Оно написано Леонтием Васильевичем Дубельтом, знакомцем и свойственником Мордвинова, в начале своей биографии — отчаянным либералом, в конце — управляющим III Отделением. Дубельт пишет жене, — пишет в тот самый момент, когда он получил от Бенкендорфа приглашение занять в Твери должность

жандармского штаб-офицера. В этом письме интересно все, — но едва ли не более всего интересен для нас контекст, в котором упомянуто имя Мордвинова.

«Не будь жандармом, — говоришь ты. Но понимаешь ли ты, понимает ли Александр Николаевич существо дела. Ежели я, вступая в корпус жандармов, сделаюсь доносчиком, наушником, тогда доброе мое имя, конечно, будет запятнано. Но ежели, напротив, я, не мешаясь в дела, относящиеся до внутренней полиции, буду опорой бедных, защитой несчастных; ежели я, действуя открыто, буду заставлять отдавать справедливость угнетенным, буду наблюдать, чтобы в местах судебных давали тяжбным делам прямое и справедливое направление, — тогда чем назовешь ты меня? Чем назовет меня Александр Николаевич? — Не буду ли я тогда достоин уважения, не будет ли место мое самым отличным, самым благородным?»⁶⁴

Это письмо очень точно объяснил Н. Я. Эйдельман. «Записка о высшей полиции», которую составлял Бенкендорф в январе 1826 года, предусматривала карательное ведомство, которое, однако, пользовалось бы кредитом в общественном мнении, — и письмо Дубельта «как будто списано с инструкции шефа жандармов»⁶⁵.

Это и неудивительно, — удивительно то, что «Александр Николаевич» — а именно от него идет предостережение жены будущего высшего чина III Отделения — во все эти мечтания *не верит*.

Совет «не становиться жандармом», — ибо это значит потерять доброе имя, — исходит от человека, который через год станет начальником канцелярии III Отделения, и обращен к тому, кто через девять лет будет его преемником.

Люди начинали жить двойной жизнью.

Николай I подозревает адмирала Н. С. Мордвинова в связях с заговорщиками — и, кажется, не без оснований: Следственный комитет секретно собирает сведения. Говорили, что 13 декабря Мордвинов твердо решил сопротивляться присяге Николаю; утром 14-го он присягнул четвертым из Государственного совета, а при оглашении манифеста поднялся первым и ниже прочих поклонился новому императору, — что показалось тому весьма подозрительным. В 1826 году он не только возражал против смертной казни «государственным преступникам», но в особом проекте советовал употребить их

знания для развития Сибири и даже академию создать. Император крайне не любил его — и нелюбовь была взаимной⁶⁶.

Александр Николаевич Муравьев «участвовал в умысле царевубийства согласием, в 1817 году изъявленным, равно как и участвовал и в учреждении тайного общества, хотя потом от одного совершенно удалился, но о цели его правительству не донес». Так значилось в приговоре Верховного уголовного суда, в силу которого Муравьев был причислен к государственным преступникам 6-го разряда, осуждаемым на 6 лет каторги и поселение. Муравьев писал покаянные письма и сильно осуждал преступления своих «несчастливых сообщников»; «по уважению совершенного и искреннего раскаяния» ему оставили чины и дворянство и сослали в Сибирь. Он умолял о разрешении служить и опять получил «снисхождение»; честным словом он обязался прервать всякие сношения с «людьми вредно мыслящими» и отклонить от себя «самомалейшую тень сомнения». Ему дали должность городничего в Иркутске⁶⁷.

По своей должности он принужден был держать связь с Петровским заводом, где содержались его прежние товарищи, — и своими сношениями и послаблениями не отклонял, а еще более набрасывал на себя «тьму сомнения». Он продолжал уверять Бенкендорфа в своем отказе от заблуждений молодости, но знал, что III Отделение следит за каждым его шагом и что гости из столицы, которых он принимает у себя в доме, — агенты правительства. По ту сторону бездны, отделявшей его теперь от официального Петербурга, находился и бывший его друг, соученик и кузен Александр Мордвинов.

В 1831 году он узнает, что брат его Николай после смерти жены отдал на воспитание Мордвиновым свою дочь Наталью. В февральском письме того же 1831 года он теряет всякую осторожность. «Что они из нее сделают? Какое дадут воспитание и направление? Мордвиновское — скажешь ты. Да что в нем хорошего — позволь спросить? Мордвиновы вообще не люди — а пигмеи. <...> Все у них миниатурно. У них не душа, а душинька, не сердце, а сердечушко; не ум, а умишко. Это переродившаяся испорченная порода»⁶⁸. Николай возражал; Александр оставил свои предостережения, но мнения своего не переменял.

Шпионы к этому времени прочно обосновались в его

доме. Роман Медокс, самой судьбой предназначенный для роли авантюриста и интригана, уже читал украдкой письма жен «государственных преступников», замышляя грандиозную провокацию, которая должна была вознести его на социальный верх. Муравьев не верил ему, но вынужден был терпеть его присутствие. Среди местных чиновников у него уже появились сильные враги, и положение его было вдвойне непрочным.

19 марта 1832 года он пишет Николаю Муравьеву: «Ежели будут на меня всякие доносы, то скажи заранее Александру Мордвинову, чтобы он им не верил, и удостоверился в них наперед надлежащим образом...»⁶⁹

Он пишет и самому Мордвинову — «любезному другу и брату Александру», прося его через «Александра Христофоровича» «повергнуть <...> верноподданническую благодарность» писавшего «к подножию престола». Попутно он представляет ему доказательства своей правоты в возникающих конфликтах, благонамеренности и благосклонности к нему императора.

Современники говорили о резких противоречиях в характере Александра Муравьева, и искренность не была в числе его достоинств. Но в тогдашнем своем положении он просто вынужден был вести двойную жизнь.

Никто никому не верит.

Муравьев не верит Мордвинову: «много любящий брат» — и «переродившаяся порода». III Отделение не верит Муравьеву. Мордвинов, кажется, не верит III Отделению: «не будь жандармом» — это ведь его слова. Верит ли Мордвинов Муравьеву? Кажется, не до конца.

Все это выглядит как гротеск, — но мы читаем подлинные документы: за ними стоит реальная жизнь, которой жили люди после 14 декабря.

Она не символизировалась платком, который передал Николай I в новообразованное отделение своей собственной канцелярии и которым Бенкендорф должен был утирать слезы страждущих. И письмо Дубельта жене было прекраснодушием, — искренним или нет, мы никогда этого не узнаем.

Тем временем Медокс открывает несуществующее тайное общество, в которое — то прямо, то косвенно — втянуты обитатели дома Муравьева.

20 января 1833 года документы, сфабрикованные им, были представлены Николаю I при докладе по поводу «существующего злоумышления между государственными»

ми преступниками, в Петровском заводе находящимися».

Автором доклада был Александр Николаевич Мордвинов. Именно ему предстояло теперь вести дело о «злумышлениях», не сулившее ничего доброго его двоюродному брату⁷⁰. Оно тянулось до июля 1834 года, когда авантюра Медокса рухнула окончательно, и по распоряжению царя он был посажен в Шлиссельбургскую крепость, откуда вышел только в 1856 году.

Полтора года начальник канцелярии III Отделения находился в двусмысленном положении следователя по делу своих родных. Роман Медокс не упустил случая сообщить об этом императору. «Я донес сентября 832-го, а выехал из Сибири октября 833-го — чрез целый год. ... Прибыв в Москву и узнав от ген.-лейт. Лесовского, что нет и не ожидается никакого предуготовления к моему действию, я с его согласия сам отправился для объяснения в С.-Петербург, где, явившись начальнику 3-го отделения канцелярии его величества г. дей. ст. сов. Мордвинову, встретил одни угрозы...»

Здесь Бенкендорф пометил для царя: «Я сам его видел и имел с ним дело».

Удивительный психологический документ! Бенкендорф знает — или чувствует, что в эпоху, когда не верят ничему, лжи все-таки верят.

«Г. Мордвинов, — продолжал Медокс, — двоюродный брат Александра Муравьева, и потому ко мне весьма худо расположенный, ничего не слушая, заключил меня при штабе корпуса жандармов и после освободил с приказанием отправиться в Москву».

Бенкендорф отлично знает, какую тучу собирает доносчик над головой его помощника и вновь берет все на себя: «Не Мордвинов, а я ему позволил ходить по городу, но он начал врать, и я его выслал скорее в Москву, где он сам уверял, что может все узнать. Деньги я ему давал».

«В Москве, — сообщает Медокс, — <...> я <...> снова очутился в ужаснейшем заточении; которое г. Мордвинов предсказал, обещавши сгноить меня в крепости».

Бенкендорф: «Я ему обещал, когда он без позволения приехал в Петербург и здесь начал врать».

Шеф жандармов успокаивал императора на счет Мордвинова. Успокоил ли?

Что же касается Мордвинова, то он неспокоен. Вольно или невольно, он поступает почти как Медокс: возвращает фантом несуществующего заговора. Он представляет императору русские сказки, которые какими-то тайными нитями связаны с какой-то прокламацией. И его болезненная реакция на повесть Сенковского — факт столько же политики, сколько и психологии.

Все это происходит в 1832—1834 годах, когда идет разбор донесений Романа Медокса.

Понять психологию императора может помочь хорошо известный историкам инцидент, происшедший через пять лет, когда Мордвинов разрешил выпустить в свет портрет Бестужева-Марлинского в альманахе Смирдина «Сто русских литераторов».

Эту книгу тоже цензуровал Никитенко, — но портрет был пропущен в III Отделении. Приговор Николая был беспощаден и едва ли не беспрецедентен: второй человек в III Отделении собственной его канцелярии должен был быть «отрешен» от службы. Лишь по ходатайству Бенкендорфа формула была изменена: не «отрешен», а «уволен», что давало возможность служить по другому ведомству. Мордвинов стал вятским гражданским губернатором, а портреты еще долго изымались из книг и от владельцев⁷¹.

Нельзя сказать, чтобы все было понятно в этой истории, — но предположение, что Мордвинов пропустил портрет с каким-то тайным умыслом, следует отвергнуть. Если даже он и сочувствовал судьбе писателя или был поклонником его таланта, как Ивановский, — а у нас нет никаких свидетельств, что это было так, — он не стал бы рисковать головой из-за его портрета. Вероятнее всего, он не видел в этой публикации политического криминала. По должности своей он следил за общественным мнением и знал, что изъять из книги *один* портрет — значит дать пищу нежелательным толкам. Не мог он не знать и того, что публика — в своем абсолютном большинстве — не предполагала, что Александр Марлинский, чьими сочинениями она зачитывалась и чьи рукописи проходили с грифом «секретно» через III Отделение и разрешались им к печати, буде оно не находило в них чего-либо предосудительного, — что этот Александр Марлинский есть Александр Бестужев, некогда издатель «Полярной звезды», которую изымали из обращения.

Портрет в альманахе Смирдина должен был изображать не Бестужева, а Марлинского.

Так, вероятно, думал Мордвинов, но император думал иначе.

Мы вряд ли ошибемся, если предположим, что где-то в глубинах его памяти осталось подозрение, что высокопоставленный чиновник III Отделения связан родственными узами с его «друзьями 14-го» и тайно действует в их пользу. Ведь недаром же обеспокоенный Бенкендорф писал свои примечания к последнему доносу Медокса. Было здесь и еще одноотягчающее обстоятельство.

Чиновник носил фамилию Мордвинов и принадлежал к «мордвиновской породе». Его дальним родственником был старый адмирал, писавший неуместные проекты об академии из государственных преступников и снискавший себе устойчивую неприязнь главы Российской империи.

Не рисовался ли снова — теперь уже самому императору — неясный фантом умысла, «заговора» — в его собственном ближайшем окружении?

Никто никому не верил, и один только уличенный доносчик, презираемый всеми провокатор, сидевший в крепости уже пять лет, мог бы теперь рассчитывать на доверие. Сам того не зная, старым своим письмом он подтачивал карьеру своего гонителя.

Таков был дух времени, порождавший странные парадоксы — подозрения, недоверия и — рефлексии. В уже процитированной нами работе о Дубельте Н. Я. Эйдельман очень хорошо сказал о «парадоксе грусти»:

«Эта грусть крупного жандарма 1830-х годов XIX века явление любопытное. XIX век с его психологиями, мудрствованиями, сомнениями, всей этой, по мнению российских властей, «западной накипью», каковая изгонялась и преследовалась Дубельтом и его коллегами, — этот век все же незримо отравлял и самих важных гонителей, и они порою грустили, отчего, впрочем, иногда еще лучше исполняли службу...»⁷²

Не слышится ли эта «грусть крупного жандарма 1830-х годов» в письме Мордвинова Бенкендорфу, написанном 24 июля 1837 года:

«В Ваше отсутствие ведомство начинает портиться: мы начинаем быть крепки на руку. Я делаю что могу, но я значу слишком мало и не имею решительного голо-

са». В этом же письме он сообщал о «большой милости» «государственным преступникам», переведенным из Сибири на Кавказ рядовыми⁷³.

Менее чем через два года он был под высочайшим гневом уволен от службы и, кажется — странное дело! перенес беду довольно спокойно.

«...Был у Александра Николаевича Мордвинова, который не унывает и принял меня очень радушно»⁷⁴, — писал сестрам Бакунин 22 июля 1839 года. «Буря» грянула в середине марта, — так что со времени ее прошло еще только четыре месяца.

Случайная фраза в письме Бакунина венчает цепь исторических и психологических парадоксов, порожденных «духом времени». Будущий революционер радушно принят бывшим жандармом. Начальник канцелярии III Отделения отставлен от службы по подозрению в сочувствии «государственным преступникам». Он не хотел «быть жандармом» — и надел голубой мундир, а потом расстался с ним без особого сожаления. Он исполнял свою охранительную службу, в благодетельность которой, кажется, не очень верил, и его облакали полномочиями те, кто, кажется, не очень верили ему.

Что-то неладное творилось в николаевском государстве.

Через шестнадцать лет Дубельт препроводит в Алексеевский равелин Петропавловской крепости сына Александра Николаевича — за хранение статьи Герцена и противоправительственных стихов, и будет крайне недоволен, когда отец приедет повидаться с арестованным. Сейчас мальчику двенадцать лет; ему предстоит общаться с петрашевцами, Герценом, распространять запрещенную литературу, ратовать за свободу печати и много лет находиться под тайным надзором. А его старший брат Александр станет участником «Земли и воли»⁷⁵.

Все это — не только личные биографии: это коррозия самодержавного государства, разъедающая и его высший чиновничий аппарат.

И потому наше длинное отступление имеет непосредственное отношение к разоблачительному дневнику цензора Никитенко, к которому нам предстоит теперь вернуться, продолжив чтение записей за 1834 год.

16 января. «На Сенковского, наконец, воздвигалась политическая буря. Я получил от министра приказание

смотреть как можно строже за духом и направлением «Библиотеки для чтения». Приказание это такого рода, что если исполнять его в точности, то Сенковскому лучше идти куда-нибудь в писари, чем оставаться в литературе. <...> Говоря по совести, я решительно не знаю, чем виноват Сенковский как литератор. Безвкусием? Но это не касается правительства. <...> Конечно, я не могу поручиться за патриотические или ультрамонархические чувства его. Но то верно, что он из боязни или из благоразумия никогда не выставляет себя либералом. Но чему тут удивляться? Ведь и барон Дельвиг, человек слишком ленивый, чтобы быть деятельным либералом, был же обвинен в неблагонамеренном духе».

21 января. «Министр сказал, что наложит тяжелую руку на Сенковского. Кажется, ему хочется, чтобы тот отказался от редакции».

26 января. «Сенковский, наконец, принужден был отказаться от редакции «Библиотеки». Впрочем, это только для виду. По крайней мере он по-прежнему заведует всеми делами журнала, хотя и напечатал в «Пчеле» свое отречение. В публике много шума от этого. Недоброжелатели Уварова сильно порицают его. Он действительно в этом случае поступил деспотически. Разнесся нелепый слух, что он меня назначает на место Сенковского. Благодарю покорно!»

10 февраля. «Священник Сидонский написал дельную философскую книгу «Введение в философию». Монахи за это отняли у него кафедру философии, которую он занимал в Александро-Невской академии. Удивляюсь, как они до сих пор еще на меня не обрушились: я был цензором этой книги.

Вот еще сказание о них. Загоскин написал плохой роман под названием «Аскольдова могила».

Московские цензоры нашли в ней что-то о Владимире Равноапостольном и решили, что этот роман подлежит рассмотрению духовной цензуры. Отправили. Она вконец растерзала бедную книгу. Загоскин обратился к Бенкендорфу, и ему как-то удалось исходатайствовать позволение на напечатание ее с исключением некоторых мест. Но я на днях был у министра и видел бумагу к нему от обер-прокурора святейшего синода с жалобою на богомерзкий роман Загоскина».

16 марта. «Сидонский рассказывал мне, какому гонению подвергся он от монахов (разумеется, от Филарета)

за свою книгу «Введение в философию». От него услышал я также забавный анекдот о том, как Филарет жаловался Бенкендорфу на один стих Пушкина в «Онегине», там, где он, описывая Москву, говорит: «и стая галок на крестах». Здесь Филарет нашел оскорбление святыни. Цензор, которого призывали к ответу по этому поводу, сказал, что «галки, сколько ему известно, действительно, садятся на крестах московских церквей, но что, по его мнению, виноват здесь более всего московский полицеймейстер, допускающий это, а не поэт и цензор». Бенкендорф отвечал учтиво Филарету, что это дело не стоит того, чтобы в него вмешивалась такая почтенная духовная особа: «еже писах, писах».

У нас на образование смотрят как на заморское чудище: повсюду устремлены на его рогадины; не мудрено, если оно взбесится».

Здесь нам вновь следует остановиться.

Мы подошли к истории с «Анджело» — и можем посмотреть на нее глазами Никитенко.

Случилось так, что не цензор, а сам министр вычеркнул восемь стихов из пушкинской поэмы. Однако пройдет немного времени — и Никитенко, подавляя в себе протест и возмущение, будет поступать так же. Он не был «глупее Бирукова», но Пушкин был прав, заметив, что времена Красовского возвращались, — времена, в которые возлюбленную нельзя было называть ангелом и когда от авторов требовали удостоверения, что они воспевают любовь чистую и нравственную. «Совиные крыла» клерикальной реакции нависали над литературой; голос духовной цензуры слышался все явственнее и повелительнее. Второй член уваровской триады — «православие» — заявлял свои права на духовную жизнь общества.

Из «Анджело» были убраны стихи:

Ужели господу пошлем неосторожно
Мы жертву наскоро. Мы даже и цыплят
Не бьем до времени. Так скоро не казнят.
Спаси, спаси его...

И еще — в монологе Клавдио:

И все, что грезится отчаянной мечте...
Нет, нет: земная жизнь в болезни, в нищете,
В печалях, в старости, в неволе... будет раем
В сравненьи с тем, чего за гробом ожидаем.

28 апреля Никитенко записывал в дневнике, что министр предписал руководствоваться в университетском преподавании «статьей профессора философии в Страсбурге Ботэна», который «говорит, что все философии вздор и что всему надо учиться в Евангелии».

Иронизировать, впрочем, ему оставалось недолго. Гроза разразилась над ним под самый новый 1835 год, когда он пропустил в «Библиотеке для чтения» перевод из Виктора Гюго, сделанный М. Д. Деларю:

И если б богом был — селеньями святыми
Клянусь — я отдал бы прохладу райских струй
И сонмы ангелов с их песнями живыми,
Гармонию миров и власть мою над ними
За твой единый поцелуй!

Нельзя не признать, что страстная гипербола стояла уже почти на грани комического. И. А. Крылов сказал Пушкину: «это все равно что я бы написал: когда б я был архиерей, то пошел бы во всем облачении плясать французский кадриль». На книжке журнала он написал забавную эпиграмму:

Мой друг, когда бы был ты бог,
Ты б глупости такой сказать не мог.

Кажется, эти стихи он прочитал и переводчику⁷⁶.

Между тем для переводчика и цензора события приобретали более драматический характер.

В понедельник 16 декабря Дондуков-Корсаков вызвал к себе Никитенко и с сокрушением рассказал ему, что накануне, в воскресенье, митрополит Серафим испросил у императора «особенную аудиенцию» и просил (как потом с сарказмом записывал в дневнике Пушкин) «защитить православие от нападений Деларю и Смирдина». Николай I приказал посадить на гауптвахту цензора. Никитенко подсадовал, что не вымарал слов «бог» и «селеньями святыми», однако потом рассудил, что это вряд ли помогло бы ему, «судя по тому, как у нас вообще обращаются с идеями», — и отправился к коменданту.

Рассказывали, что император осведомлялся о переводчике стихов и, узнав, что он служит в военном министерстве, передал книгу военному министру графу Чернышеву «для надлежащего взыскания». 19 декабря, после доклада во дворце, Чернышев приехал в свое мини-

стерство в крайнем раздражении, потребовал к себе секретаря Деларю, сделал ему выговор и в тот же день уволил от должности. Того же девятнадцатого числа управляющий I Отделением собственной его имп. величества канцелярии статс-секретарь Танеев направил Чернышеву особую бумагу с высочайшим повелением, дабы министр относительно чиновника Деларю «принял меры по своему усмотрению». С облегченным сердцем Чернышев написал: «о сем уже сделано распоряжение»⁷⁷.

Никитенко сидел на Ново-адмиралтейской гауптвахте, считавшейся одной из лучших в городе. Не без содрогания вспоминал он потом о стенах, от которых несло плесенью, о несметном количестве клопов и площадной брани плац-майора.

Несколько дней весь Петербург говорил об этом происшествии; все, вплоть до Уварова, сочувствовали цензуре.

Николай I был недоволен. Он дал публичное удовлетворение духовенству и принял устрашающие меры — но более для проформы. Стихи Деларю не представляли политической опасности; императора волновали вещи более серьезные. Он дал понять митрополиту, «что вовсе не благодарен ему за шум, который около двух недель наполняет столицу». Так записывал Никитенко по свежим следам событий.

Те из современников, которые были в курсе политической жизни Петербурга, конечно, улавливали демонстративный характер всех этих репрессий, — отсюда и тот спокойный и слегка шуточный тон, каким рассказывает о них пушкинская дневниковая запись. Однако последствия предпринятого демарша оказались глубже, чем представлялось вначале.

Сын поэта, Ф. М. Деларю, рассказывал, что его отец «был временно отлучен от церкви». Это был слух, — но укоренившийся настолько прочно, что попал в семейное предание⁷⁸.

Стихотворение «Красавице» приобрело неслыханную популярность. Оно переписывалось в альбомы — но переписывалось как запрещенное стихотворение. Под ним ставились фиктивные подписи; иногда владельцы альбомов из осторожности выскабливали и самый текст⁷⁹.

Времена Красовского возвращались.

Никитенко против Никитенко

Мы пропустим теперь два следующих года дневника, — отчасти потому, что запи-си эти читателю уже известны или станут известны в свое время.

К 1837 году Никитенко уже популярный профессор университета, автор диссертации на степень доктора философии «О творческой силе поэзии или о поэтическом гении», личный друг Дондукова-Корсакова, пользующийся благосклонным вниманием самого Уварова.

Его отношения с Пушкиным все еще прохладны. Встречаются они редко. 21 января они провели вечер у Плетнева, и Никитенко сожалел, что великий поэт «сделался большим аристократом» и расточает свое время и дарование в светских салонах, «тогда как мог бы безраздельно царить над всем обществом». Никитенко мало знал Пушкина, и ему было неизвестно, что на плетневских вечерах Пушкин бывал и другим, что царить над *всем* обществом он не хотел или не видел возможности и что утонченный холод светской вежливости был для него средством держаться на пристойном расстоянии от людей, ему неприятных.

Через неделю Никитенко узнал о его гибели.

Он был потрясен, — потрясен как человек, как давний почитатель великого таланта, как литератор и критик — и даже как цензор. Стихийный бунт, поднявшийся в нем, вылился на страницы его дневника. Он рассказывал о народных похоронах, на которые собрался весь мыслящий Петербург, о «нелепейших распоряжениях», запрещавших профессорам и студентам присутствовать на отпевании, о тайном увозе тела в сопровождении жандармов. Он писал о строгом выговоре Бенкендорфа Гречу за несколько строк о Пушкине в «Северной пчеле», о таком же выговоре Краевскому за некролог в «Литературных прибавлениях»... «Боялись — но чего?»

В эти дни впервые в его дневнике появляется нота резкого осуждения Уварова.

Среди всех этих предупреждений и ограничений он нашел в себе смелость прочитать студентам лекцию о заслугах Пушкина. «Будь что будет!»

Тем временем Жуковский начинает хлопоты об издании полного собрания сочинений Пушкина.

Никитенко записывал в дневник:

«Видел <...> резолюцию государя насчет нового издания сочинений Пушкина. Там сказано:

«Согласен, но с тем, чтобы все найденное мною неприличным в изданных уже сочинениях было исключено, а чтобы не напечатанные еще сочинения были строго рассмотрены»⁸⁰.

Официальное заключение III Отделения гласило:

«На сие препятствия никакого не представляется, но необходимо, чтоб таковое перепечатание сочинений г. Пушкина новым изданием было произведено не иначе как с рассмотрения цензуры, под особым наблюдением министра народного просвещения».

Отвечая Жуковскому, Бенкендорф опустил слова об «особом наблюдении». В письме же его Уварову от 5 февраля 1837 года они были сохранены⁸¹.

Уваров отвечал, что высочайшее повеление будет исполнено.

Он истолковал «особое наблюдение» как распространяющееся и на ранее напечатанные сочинения Пушкина и предписал рассматривать их заново. Никитенко, который был назначен для их цензурования, понимал, чем это грозит. Цензурный режим ужесточался час от часу. Еще в июне 1834 года он отмечал в дневнике, что не может беспрепятственно выпустить в свет драму А. В. Тимофеева «Счастливец», потому что пока она печаталась, изменилось направление цензуры.

30 марта цензор и профессор Никитенко восстал в комитете против председателя его Дондукова-Корсакова. Он доказывал, что новые купюры лишь обратят внимание на изуродованные сочинения, которые вся Россия твердит наизусть, что нужно когда-то прислушиваться и к общественному мнению и не возбуждать умы без всякой необходимости.

Цензоры молчали; один С. С. Куторга сказал несколько слов в поддержку Никитенко.

Дондуков ссылаясь на министра и, конечно, настоял на своем. Прощаясь с Никитенко, он пожал ему руку. «Понимаю вас. Вы как литератор, как профессор, конечно, имеете поводы желать, чтобы из сочинений Пушкина ничто не было исключено».

Раздосадованный Никитенко подумал, что князь, по пословице, «попал пальцем в брюхо».

31 марта он записал, что Жуковский добился все же у императора разрешения печатать изданные сочинения

Пушкина без изменений. «Как это взбесит кое-кого. Мне жаль князя, который добрый и хороший человек: министр Уваров употребляет его как орудие. Ему должно быть теперь очень неприятно».

Но князь тоже чувствовал облегчение.

«Мы избавились, слава богу, от неприятной обязанности рассматривать печатные сочинения Пушкина, — писал он Никитенко. <...> Я надеюсь, что цензор и профессор словесности будут довольны. До свидания»⁸².

* * *

Прошло три года. Положение в цензуре отнюдь не изменилось к лучшему.

В марте 1839 года был уволен Мордвинов, а 25 августа Никитенко записал в дневнике, что получено новое предписание министра, основанное на отношении синода, «чтобы все сочинения «духовного содержания в какой бы то мере ни было», отсылались в духовную цензуру». Ранее цензура синода распространялась только на сочинения догматические и церковно-исторические.

«Что это значит? — недоумевал Никитенко. — Закон, изданный самодержавной властью, отменяется обер-прокурором синода? Но такие вещи не в первый раз случаются в нашей администрации. В настоящем случае цензура в большом затруднении. Редкая журнальная статья не должна будет отсылаться в духовную цензуру». Он просил председателя комитета сделать представление министру. «Он сделал уже. Мы спрашиваем: «Чему должно следовать: новому распоряжению или высочайше утвержденному тексту цензуры?»

Этот риторический вопрос был задан, конечно, мысленно, ибо так не полагалось разговаривать с обер-прокурором синода, тем более с министром.

В письме от 7 сентября комитет ссылался на параграф 23 Устава о цензуре и примечание к нему, где говорилось, что книги, относящиеся к нравственности вообще, «даже и те, в коих таковые рассуждения будут подкрепляемы ссылкой на священное писание», находятся в компетенции светской цензуры.

«Во избежание недоумений, могущих произойти при поступлении в цензуру нравственных сочинений, весьма близких к предметам духовным, и других книг или мест, встречающихся в книгах, кои содержат в себе истины, подкрепленные религиозными понятиями, С.-Петербург-

ский цензурный комитет для точнейшего соблюдения как вышеозначенных правил Устава о цензуре, так и последнего предписания, имеет честь испрашивать разрешения вашего высокопревосходительства, должно ли предварительно сноситься о подобного рода сочинениях с Комитетом духовной цензуры или рассматривать их на основании упомянутого примечания к 23-му § высочайше утвержденного Устава о цензуре.

К сему комитет долгом почитает присовокупить, что места вышеозначенного содержания встречаются очень часто в периодических изданиях, и цензурую эти издания непременно будут останавливаемы в своевременном их выходе в свет».

15 сентября Уваров ответил, что сочинения «нравственного содержания», «подлежащие по смыслу примечания 1-го к § 23 Устава о цензуре рассмотрению светской цензуры», «должны быть рассматриваемы на основании вышепоказанного постановления светскою цензурою»⁸³.

Это была отписка. «Высочайше утвержденный устав» не отменялся новым распоряжением синода. Но и распоряжение не отменялось. Оба документа имели силу приказа, подлежащего неуклонному исполнению, хотя и противоречили один другому. Но замечать это противоречие было бестактностью, — и бунт цензурного комитета захлебнулся, не начавшись.

Нужно было, как предупреждал когда-то Уваров, постигать политику не из устава только, а из хода вещей.

И Никитенко не мог этого не понять.

Из протоколов Санктпетербургского цензурного комитета 7 мая 1840 года.

«Слушали: <...> 6-е. Представленные г. цензором экстраординарным профессором Никитенкой следующие места из сочинений Пушкина:

1) Подражание арабскому:

Отрок милый, отрок нежный,
Не стыдись, навек ты мой;
Тот же в нас огонь мятежный,
Жизнью мы живем одной.
Не боюся я насмешек,
Мы сдвоились меж собой,
Мы точь в точь двойной орешек
Под одною скорлупой.

2-е замечание. Стихотворения, часть I.

3-е. Без шапки он; несет под мышкой гроб младенца
(так!)

И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал и церковь отворил.
Скорей! ждате некогда! давно б уж схоронил.

4-е. И где ж мы новые познания
И мысли первые нашли?
Где поверяем испытанья,
Где узнаем судьбу земли?
Не в переводах одичалых,
Не в сочиненьях запоздалых,
Где русский ум и русский дух
Зады твердит и лжет за двух.

5-е. Леда смеется,
Вдруг раздается
Радости клик.
Вид сладострастный!
К Леде прекрасной
Лебедь приник.
Слышно стенанье,
Нимфа лесов
С негою сладкой
Видит украдкой
Тайну богов.

6. Послушай, муз невинных
Лукавый духовник.

7. Покойник Клит в раю не будет:
Творил он тяжкие грехи.
Пусть бог дела его забудет,
Как свет забыл его стихи.

8. Ах, ведает мой добрый гений,
Что предпочел бы я скорей
Бессмертию души моей
Бессмертие моих творений!

9. Иной под кивер спрятав ум,
Уже в воинственном наряде
Гусарской саблею махнул;
В крещенской утренней прохладе
Красиво мерзнет на параде,
А греться едет в караул.
Другой, рожденный быть вельможей,
Не честь, но почести любя,
У шута знатного в прихожей
Покорным плутом зрит себя.

10. Арьоста, Тасса внук,
Скажу ль? отец Кандида
Он все; везде велик
Единственный старик.

11. Пьеса «Безверие» вся.

12. Статья о цензуре, где автор опровергает разные нападки на необходимость цензуры.

13. «Этикет».

14. «Рославлев» — изображение общенационального состояния в России перед вторжением Наполеона в 1812 году.

15. Повесть «Дубровской», коей содержание есть следующее. Богатый и знатный помещик в какой-то части России, что-то в роде феодального барона, ссорится со своим недостаточным соседом и посредством величайшей несправедливости лишает его всего имущества. Несчастный умирает. Приезжает сын его Дубровский, служащий в гвардии, через несколько времени является суд, чтобы отобрать от него имение и отдать Троекурову (богатому помещику); Дубровский с преданными ему крестьянами зажигает ночью дом, где спали исправник и прочие члены суда — все они гибнут в пламени. Дубровский в отчаянии собирает шайку, делается атаманом ее и разбойничает в уезде; правительство тщетно усиливается его схватить. Он хочет сначала зажечь село и дом Троекурова, но влюбясь в дочь его, оставляет свое намерение. Повесть оканчивается тем, что Дубровский выпускает свою шайку, а сам едет за границу»⁸⁴.

Все эти места комитет признал позволительными и разрешил цензору их пропустить. Дело, таким образом, окончилось благополучно — с внешней своей стороны; однако остается еще внутренняя его сторона. Либеральный и даже свободомыслящий профессор и цензор в своих замечаниях обнаруживает вдруг такую подозрительность и придирчивость, какой мы не могли бы и предположить, читая его дневник.

Он вынужден теперь следить за тайными колебаниями цензурной политики; жизнь научила его, что благоразумнее следовать «новым распоряжениям», нежели «высочайше утвержденному цензурному уставу».

Не только отрывок из «Леды», но и «Подражание арабскому» могло навлечь обвинения в посягательстве на нравственность.

Не только «Безверие» или легкомысленное отношение к догмату о бессмертии души в ранних стихах «В альбом Илличевскому», — но и самый легкий намек на чисто словесный религиозный либертинаж — «духовник муз» в послании «К Дельвигу», «ленивый попенок» — в стихотворении «Зима. Что делать нам в деревне...», похвала Вольтеру в «Городке», — все могло вызвать очередную жалобу митрополита или обер-прокурора синода.

Через три месяца Никитенко представит на усмотрение комитета строки из «Мцыри» Лермонтова и из «Трех пальм»:

И стали три пальмы на бога роптать...

Не прав твой, о небо, святой приговор...

А еще через три месяца —

Так храм оставленный — все храм,
Кумир поверженный — все бог!⁸⁵

«Статья о цензуре» и «Этикет» (отрывки из «Путешествия из Москвы в Петербург») вызывали сомнение, ибо касались — пусть даже в «благонамеренном» духе — тех форм социальной жизни, которые вообще не подлежали обсуждению со стороны частного лица.

«Рославлев» и тем более «Дубровский» затрагивали существо той же самой социальной и исторической жизни.

Строки из послания «Товарищам» («Иной, под кивер спрятав ум...») иронически трактовали военную жизнь.

В 1828 году—об этом, конечно, петербургские цензоры не помнили, да вряд ли и знали, — в департаменте гражданских и духовных дел Государственного совета разбиралось целое дело о «произнесении, знании и слушании непроизвольных стихов», — в том числе и этих⁸⁶.

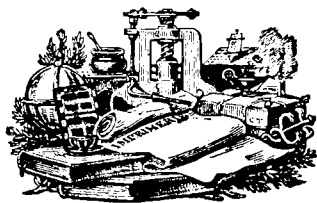
И, наконец, ненапечатанные строки из рукописей «Онегина» могли быть заподозрены в недостаточности патриотизма. После чаадаевской истории подобные обвинения были еще свежи в памяти.

Профессор философии и цензор на государственной службе собственными руками возводил «умственную плотину» самодержавия, православия и народности, подавляя в себе поднимающуюся ненависть к Уварову и глубокое презрение к его идеям.

«Общественное устройство подавляет всякое развитие нравственных сил, и горе тому, кто поставлен в необходимость действовать в этом направлении. <...> Особенно моя наука — сущая нелепость и противоречие. Я должен преподавать русскую литературу — а где она? Разве литература пользуется у нас правами гражданства?»

«Жить в словах и для слов, с душою, жаждущею истины, с умом, стремящимся к верным и существенным результатам, — это действительное, глубокое злополучие. Часто, очень часто, как, например, сегодня, я бываю поражен глубоким, мрачным сознанием своего ничтожества. <...> О, кровью сердца написал бы я историю моей внутренней жизни! Проклято время, где существует выдуманная, официальная необходимость моральной деятельности без действительной в ней нужды, где общество возлагает на вас обязанности, которые само презирает... Вот уже два часа ночи, а я все еще думаю о том же. Засну, завтра выйду из этого душевного хаоса, буду опять стараться обманывать себя и других, чтобы не умереть от физического и духовного голода, пока действительно не умру и не унесу с собой в могилу горького сознания бесплодно растроченных сил...»⁸⁷

Так заканчивался для него очередной, 1841 год.



Не родившиеся на свет



«Между грамотеями не все равно обладают *возможностью* и *способностью* писать книги или журнальные статьи».

Эту неоспоримую истину высказал Пушкин в «Путешествии из Москвы в Петербург».

Пушкин размышлял о цензуре, ее правах, ее функциях, и о «классе» пишущих людей, имеющих столь мощное влияние на поколения читателей.

«Никакая власть, никакое правление не может устоять против всеразрушительного действия типографического снаряда.

<...> Мысль! великое слово! Что же и составляет величие человека, как не мысль? Так будет она свободна, как должен быть свободен человек: *в пределах закона, при полном соблюдении условий, налагаемых обществом*»¹.

Пушкин был совершенно прав, потому что ни в одном обществе свобода печати не бывает абсолютной. Через несколько десятилетий на другом континенте Марк Твен остроумно заметит, что пора подумать о том, как ограждать свободу от печати.

Нужно было предупреждать распространение сочинений антиобщественных, порнографических, пресекать печатную клевету. В этом были согласны и Пушкин, и столпы николаевской цензуры.

Различия начинались там, где возникал вопрос, что понимать под «обществом» и каковы условия, которые оно налагает. В России было несколько обществ и много условий.

Было «общество» царя, III Отделения, двора.

Было «общество» Фаддея Булгарина.

Было «общество» Пушкина и его друзей.

И были другие «общества», вплоть до «общества» неграмотного крепостного крестьянства.

Цензура — неизвестно почему называвшаяся цензурой министерства *народного просвещения*, — служила интересам первого «общества». Она предупреждала появление сочинений, для него опасных и нежелательных. Она придирчиво проверяла кандидатов в издатели, руководствуясь понятиями о нравственности и благонадежности, продиктованными этим обществом. В число не допущенных к изданию попадали крупнейшие русские писатели — и безвестные литературные спекуляторы.

Но обратимся к документам.



«Под осторожным колпаком»

25 августа 1827 года статский советник В. С. Филимонов просил о дозволении издавать ему с 1828 года ежемесячный журнал «Надежда, или Дневник русской словесности» и газету «Отголоски мира, или Дневник новостей, относящихся до политики, просвещения и общежития», а с 1829 года — журнал «Время, или Летописи наук и искусства (всемирный энциклопедический дневник)».

16 сентября Главный цензурный комитет, сочтя издателя благонадежным, разрешил оба издания на 1828 год.

Решение комитета встретило, однако, противодействие министра; 29 сентября Шишков наложил следующую резолюцию:

«Принимая во уважение, что издаются уже многие журналы подобного содержания с теми, которые на-

мерен издавать г. статский советник Филимонов, и что прибавлять их число было бы бесполезно, — я не могу согласиться на издание сих последних и вообще предлагаю Главному цензурному комитету обращать при таковых случаях больше внимания на известность авторов в ученом или литературном свете»².

Это незначительный сам по себе эпизод, взятый почти наудачу. За ним, однако, стоят подспудно направления царской политики.

Прежде всего, отметим решительное нежелание увеличивать число новых периодических изданий. Из этой и других глав книги читателю станет ясно, что это не прихоть министра, а последовательный курс. Держать в узде печатное слово становилось все трудней, и предпочтительнее было не следить за тем, что уже напечатано, а просто не допускать написанное в печать.

Во-вторых, министр остерегается разрешить издание лицу, не имеющему, по его мнению, должного литературного имени.

Владимир Сергеевич Филимонов не был известен министру просвещения и некогда литератору А. С. Шишкову, который в простоте душевной полагал, что тем самым он неизвестен в «ученом или литературном свете». Но Шишков ошибался.

Правда, литературное имя Филимонова никогда не было слишком громким. Но он занимал свое место в «парнасском адрес-календаре», и место это было более заметным, чем, скажем, какого-нибудь издателя «Северного Меркурия». Стихи Филимонова появлялись во многих журналах и альманахах 1820-х годов, и поэма «Дурацкий колпак» была даже популярна. Он отослал ее Пушкину с посвящением:

А. С. Пушкину

Вы в мире славою гремите;
Поэт! в лавровом вы венке.
Певцу безвестному простите:
Я к вам являюсь — в колпаке,
Спб. Марта 22, 1828.

Пушкин ответил стихотворением «В. С. Филимонову при получении поэмы его «Дурацкий колпак»:

Вам музы, милые старушки,
Колпак связали в добрый час,

И, прицепив к нему гремушки,
Сам Феб надел его на вас.
Хотелось в том же мне уборе
Пред вами нынче щегольнуть
И в откровенном разговоре,
Как вы, на многое взглянуть;
Но старый мой колпак изношен.
Хоть и любил его поэт;
Он поневоле мной заброшен:
Не в моде нынче красный цвет.
Итак, в знак мирного привета,
Снимая шляпу, бью челом,
Узнав философа-поэта
Под осторожным колпаком.

Пушкин был откровенен с Филимоновым. Заброшенный «поневоле» старый колпак — это фригийский красный колпак якобинцев, а «не в моде нынче красный цвет» — намек на недавние политические события. Обо всем этом в 1828 году лучше было не упоминать, тем более письменно.

Шутливый тон послания и подтрунивание над Филимоновым в письмах не исключало дружеского отношения Пушкина к «философу-поэту под осторожным колпаком». Нужно думать, что и вечеринка у Филимонова, последовавшая за выходом его поэмы, 17 апреля 1828 года, где Пушкин был вместе с Жуковским, Перовским и Вяземским, была не только веселой холостой пирушкой. В 1840-х годах Филимонов рассказывал о ней будущему библиографу Г. Н. Геннади как о «литературном вечере»: «Он вспоминал с восторгом о прежних лит<ературных> вечерах и сказал, что последний настоящий лит<ературный> вечер б<ыл> у него, когда к нему сошлись все спрыснуть «Дурацкий колпак». У него были кн<язь> Вяземский, Пушкин, Жуковский, не помню кто еще, но только все известные литераторы. При этом Филимонов, как гастроном, прибавил: «славно поужинали».

Хранитель воспоминаний о 1820-х годах, Филимонов охотно показывал свои литературные сокровища, — а их было много (к сожалению, до наших дней они не дошли). «Между письмами, которые он мне показывал, — продолжает Г. Н. Геннади, — есть письма А. и В. Пушкиных, Жуковского, Вяземского, Воейкова, Измайлова,

Карамзина, Дмитриева, Каченовского, Малиновского, Мерзлякова, кн<язя> Долгорукова (ужасно неразборчивых), Лонгинова и других. Мне любопытно было видеть их. Здесь же видел собственноручное послание к нему А. Пушкина. Оно написано на лоскутке бумаги, только с 2 перемарками, четко, хотя небрежно. Филимонов послал к нему свой «Дурацкий колпак» утром, Пушкин в постели написал это послание — после напечатанное³.

Таков был человек, «не получивший известности в литературных кругах».

Впрочем, через четыре года властям пришлось обратить внимание на его литературные связи. В 1831 году он был арестован по ложному доносу об участии в тайной организации Сунгурова⁴. В его бумагах были обнаружены письма декабристов Г. С. Батенькова и А. Н. Муравьева и копия письма декабриста В. И. Штейнгеля Николаю I, написанного в крепости 11 января 1826 года. В письме говорилось о развитии свободомыслия в России. «Правительство, — писал в нем Штейнгель, — потеряло народную доверенность и сердечное уважение и возбудило единодушное общее желание перемены в порядке вещей»⁵.

Бумаги декабристов были у Филимонова уже в 1826 году. Осторожный «философ-поэт» собирал «любопытные бумаги, особенно до России касающиеся». Не возникали ли все эти вопросы в разговорах Пушкина с Филимоновым в 1828 году? Тогда намеки в послании Пушкина становятся более понятными.

В 1827 году декабристские связи Филимонова еще не были известны правительству. И тем не менее он получил отказ. Неосведомленность Шишкова обернулась безошибочным чутьем.



Наследник графа Хвостова

Клички, как правило, выдумывают остроумные люди. Нельзя отказать в наблюдательности и юморе тому остряку 1820-х годов, который назвал литератора Бориса Михайловича Федорова наследником графа Хвостова. Современному читателю имя Хвостова ничего не говорит. Между тем во времена Пушкина эта фигура была притчей во языцех. Граф Хвостов писал высокопарные оды и тяжеловесные басни. Бездарность роднила Федорова и графа графомана. Поэтому-то его и прозвали наследником графа Хвостова. Увы! острота оставалась только остротой. Хлеб насущный Федоров вынужден был зарабатывать сначала службой (он был мелким чиновником), а затем литературной поденщиной. Денег все время не хватало. И Федоров решил поправить свои дела изданием газеты.

Прошение Федорова попало в III Отделение. Рассмотрев его просьбу, Фон Фок составил докладную записку «О титулярном советнике Федорове, предполагающем издавать газету: С.-Петербургский дневник». Прочтем эту записку, находящуюся в делах за 1828 год:

«Федоров никогда, нигде и ничему не учился. Он не знает вовсе никаких наук, не знает никаких языков. С французского языка он еще может переводить при помощи лексикона, но немецкого и английского вовсе не понимает. Страсть к авторству увлекла его с молодых лет на литературное поприще, на котором он в продолжение десяти лет был освистываем в журналах и получил название в публике *наследника графа Хвостова*, который есть его меценат и покровитель. Федоров чрезвычайно *плодовит*, и писал во всех родах. Он уже издавал журнал под заглавием *Аспазия*, который был весьма дурен и отринут публикою. Он писал трагедии, драмы, комедии, которые по покровительству были приняты на театр и упали после нескольких представлений.

Его мелкие стихотворения написаны без вкуса и ума: это набор слов с рифмами; проза обнаруживает недостаток учения и мыслей. Он весьма плохо пишет по-русски, и что хуже, не знает того, что пишет дурно. Эпиграмма Пушкина на счет <его> живо и правильно изображает его литературные таланты:

Федорова Борьки (т. е. Бориса),
Мадригалы горьки,
Эпиграммы сладки,
Комедии гадки!

Это совершенная правда! Будучи всегда незначашим писцом по службе и не показываясь нигде, как в гостиной графа Хвостова, он был выведен на свет Александром Ивановичем Тургеневым, который употреблял Федорова для писания множества писем, развозки визитных билетов, разных комиссий, выписок для своей библиотеки из архивов и т. п. и за это доставил ему два ордена и чин. После отставки Тургенева Федорову не понравилось служить при деятельном и деловом Карташевском, и он вышел в отставку, чтобы промышлять литературою при помощи покровителей. Он беспрестанно увивается в передних и всем людям в значении посвящает свои книжки, стихи и куплеты.

Какой-то добрый гений надоумил наконец Федорова приняться за издание журнала *Новая детская библиотека*. Как от сего рода издания не требуется ни большой учености, ни красот слога и воображения, то журналец его *по справедливости* можно назвать *весьма изрядным*, особенно при совершенном у нас недостатке книг сего рода.

Федоров ничтожен в политическом отношении. Он от роду не читывал ни одной политической книги и вероятно, даже иностранных газет. Но как он *искатель* и из низкого происхождения, то он из протекции или по незнанию позволит управлять собою каждому, который только ослепит его блеском знатности или богатства. Характера он чрезвычайно раздражительного и мстительного до крайности. Комедии его суть не что иное, как *пасквили* на лица. Во время представления он даже наряжал актеров наподобие описанных им лиц. Поведения он не дурного, и об нравственности его нельзя было бы сказать худо, если б не носился слух, что он, женившись на воспитаннице Кокошкина, за-

ставил жену свою, на первый день после брака, написать письмо к своему воспитателю, что муж не нашел в ней желаемого, и потому она требует вознаграждения. Эта черта, за справедливость коей трудно ручаться, доказывает только, к чему полагают способным Федорова. — На счет регулярности его, столь необходимой при издании газеты, также нельзя сказать утвердительно. Он за целый год должен типографщику Смирдину, который сверх того должен бегать за ним, чтобы выпросить материал для составления маленькой книжечки в месяц. Здесь должен еще прибавить характеристическую черту: Свинын, издатель Отечественных записок, путешествуя по России, поручил Федорову наполнять книжки готовыми материалами, и за это платил ему по сто рублей в месяц. Свинын должен был отнять у него редакцию, за *неисправность* и за введение брани в журнал. — Мы не распространяемся в разбирательстве представленной Федоровым программы, которая представляет многие противуречия.

Странно и удивительно, что все одни литераторы, так сказать, из задней шеренги, стремятся насильно издавать непременно *газеты* — а не хотят браться за *журналы*. Если бы не предусмотрительность государя императора, то уже издавалось бы к новому году *три* новые *газеты*, из коих каждая обещалась только печатать из официального одного Journal de Pétersbourg, — то есть каждая появлялась под покрывалом смирения. — Подлоги слишком очевидны — только хочется получить позволение, чтобы испорченному юношеству, выставяющему других на сцену, дать свободное поприще.

Если мы смеем объявить свое мнение, то во уважении долговременного бумагомарательства Федорова и того, что он не замечен в правилах противообщественных, также за то, что его *Новая детская библиотека безвредна*, можно позволить ему издавать еженедельный литературный журнал — но не *газету*, чтобы по крайней мере на первый год отбиться от толпы новых газетчиков и показать злонамеренным людям, выжидающим в молчании поры, что правительство не только истребляет самое зло, но даже не дозволяет им пользоваться слабыми людьми как орудием»⁶.

Записка Фон Фока обнаруживает доскональное знание жизни и журнальной деятельности мало приметного литератора Федорова; пожалуй, во всей записке имеется

лишь одна ошибка: эпиграмма Дельвига на Федорова приписана Пушкину.

Можно себе представить, как основательно было организовано наблюдение за писателями первого ранга.

Николай I принял рекомендации III Отделения. Он отказал Федорову в издании газеты, разрешив издавать журнал «Санкт-Петербургский зритель». 8 ноября 1827 года Шишков поставил об этом в известность Главный цензурный комитет⁷.

Так кончилось дело об издании, замышляемом человеком бездарным, принадлежащим к «задней шеренге», человеком морально нечистоплотным, пользующимся литературой для низких, своекорыстных целей. Но он не был замечен «в правилах противообщественных», он был «ничтожен в политическом отношении». Этого оказалось достаточно. Ему можно было разрешить издавать журнал. Репутация человека, не разбирающегося в политике, была в глазах III Отделения скорее плюсом, чем минусом. Во всяком случае, он был более приемлем, нежели издатель знающий, образованный, понимающий толк в политике, но за взгляды которого нельзя было заранее поручиться.

В записке Фон Фока о Федорове и резолюции Шишкова о Филимонове есть внутренняя общность. И та и другая направлены к одной цели: воспрепятствовать изданию новых газет. Газета больше всего влияет на общественное мнение. Через несколько лет Николай I запретит Пушкину именно издание газеты.

Монополия на газету с политическими новостями прочно удерживалась за издателями «Северной пчелы», людьми, репутация которых устраивала правительство.

Но, пожалуй, интереснее всего в записке о Федорове — боязнь Фон Фока что «наследник графа Хвостова» может оказаться орудием в руках каждого, «который только ослепит его блеском знатности или богатства». Не трудно догадаться, что управляющий канцелярией III Отделения имеет в виду в первую очередь передовых дворянских писателей. Ведь все они были на подозрении у правительства, все неблагонадежны.

А не за горами было время, когда именно эти писатели стали добиваться для себя права издавать собственный журнал и даже газету.



Непрошенные опекуны

В главе о «Европейце» мы рассказали читателю, как болезненно восприняли писатели пушкинского круга запрет журнала Киреевского. Среди них сразу же возникла мысль просить разрешения издавать новый журнал. Инициатором этого замысла был Жуковский. В том самом письме к Бенкендорфу, где он заступался за Киреевского, Жуковский, вопреки своей обычной мягкости и уступчивости, твердо заявил правительству: «Хороший журнал литературный и политический есть для нас необходимость. Я не могу взять на себя издание такого журнала: не имею для того времени, но я мог бы быть наблюдателем за изданием согласно с видами правительства. Около меня могли бы собраться и наши лучшие, уже известные писатели, и все те, кои еще неизвестны, но имеют талант и, начиная писать, желают выйти на сцену, им приличную. В такой журнал могло бы войти и все европейское, полезное России, и все русское, достойное ее внимания. Журнал, издаваемый под моим влиянием, обратил бы общее внимание публики, которая имеет ко мне доверенность; и наши надежнейшие писатели, по той же доверенности, согласились бы все в нем участвовать. Таким образом их умственная деятельность была бы употреблена с пользою, и они, без всякого принуждения и опасения, действовали бы в смысле правительства; а литература получила бы направление более благородное и, будучи в одно время и голосом публики, и голосом правительства, сделалась бы необходимо деятельным способом теснейшего соединения между ними»⁸.

В бумагах Жуковского, на черновике его письма к правительству о «Европейце», значится перечень литераторов, которых он намечал в сотрудники журнала. Это тщательно продуманный список! Ядро его составляют писатели, которые, как и он сам, впоследствии участвовали в пушкинском «Современнике»: Баратын-

ский, Гоголь, Вяземский, Денис Давыдов, Плетнев, Языков, Погодин, Розен, А. И. Тургенев, П. Б. Козловский, А. А. Краевский, А. Н. Муравьев, В. Ф. Одоевский. Конечно же, и Пушкин значится здесь одним из первых.

Много и молодых имен в списке Жуковского: И. В. Киреевский, В. А. Соллогуб, Е. П. Ростопчина, В. Г. Бенедиктов, В. И. Даль и другие.

В число сотрудников журнала Жуковский включил историка, статистика, географа К. А. Арсеньева, филолога Г. П. Павского, Е. А. Энгельгардта (директора Царскосельского лицея в 1816—1823 годах), профессора того же лицея И. П. Шульгина.

Список Жуковского разнороден: наряду с Пушкиным, Гоголем, Вяземским, А. И. Тургеневым, В. Ф. Одоевским, Баратынским в него включены писатели, занимавшие более умеренные и даже консервативные позиции. Однако основное ядро этого списка составляют передовые дворянские писатели и молодые литераторы, тяготевшие к ним⁹.

В то же время в списке Жуковского отсутствуют литераторы, печатавшиеся в болгаринских изданиях. Это было не случайно! Жуковский стремился отгородиться от «торгового» направления в журналистике.

Итак, и список Жуковского, и его декларация шефу жандармов крайне принципиальны. На этот раз речь шла не просто об очередном проекте нового журнала; не еще один журнал — а правительственный орган, которым будут руководить передовые дворянские писатели.

Ходатайство Жуковского не имело успеха. Год спустя с проектом издания подобного журнала выступил Вяземский. История этого проекта такова. 19 февраля 1833 года видный политический деятель Лафайет выступил во французском парламенте против политики русского правительства, обвиняя Николая I в преследовании поляков. Речь Лафайета вызвала взрыв антирусских настроений в Западной Европе; русское правительство хранило молчание. 17 марта 1833 года газета «Journal de Francfort» в редакционной статье писала, что политика молчания встречает сочувствие только в высших кругах общества, что народы не понимают ее, а это в свою очередь приводит к тому, что в Западной Европе появляются многочисленные противники России, и что самое

прискорбное — они рекрутируются не только из рядов революционеров и либеральной оппозиции, но и из простого народа; по мнению газеты, в век дискуссий и публичных обсуждений лишь виновные не отвечают на нападки.

Подобные размышления о печати совпали с точкой зрения Вяземского. В марте — апреле 1833 года он написал меморандум «О безмолвии русской печати». Вот текст этого документа в русском переводе:

«Статья в «Journal de Francfort» от 17 марта 1833 года заслуживает внимания нашего правительства. Эта статья, посвященная бесстрастному безмолвию русской печати среди тысячеголосой иностранной прессы, столь враждебной к России, содержит весьма здравые взгляды и мнения, которые было бы хорошо принять во внимание. Презрительное молчание может выражать благородство человека, который, имея чистую совесть, пренебрегает единоборством с клеветниками и предоставляет общественному мнению, в конце концов, отомстить за него. Впрочем, не всегда следует поступать именно таким образом, и иногда из уважения к тому самому общественному мнению, которым надо дорожить, добросовестный человек обязан выступить и опровергнуть обвинения, воздвигнутые против него. Во всяком случае подобное самоотвержение и долготерпение недопустимы, когда речь идет о взаимоотношениях между общественными силами. А нельзя не видеть, что в наши дни пресса является могущественной силой. Кто мог бы отрицать ее влияние и тиранию ее злоупотреблений? Следовательно, с ней необходимо бороться равным оружием и на той же самой арене, на которой она распространяет свое узурпаторское владычество. Ныне, когда различные мнения провозглашаются столь властно и столь громко, когда мысль и слово двигают народами, подтачивают и взрывают здания многовековой давности и на их развалинах воздвигают новый порядок вещей, и этот новый порядок вещей, в свою очередь, может быть ниспровергнут, невозможно и думать о том, чтобы пресечь эту вездесущую разрушительную деятельность, если не прибегать к доводам морали и рассудка, если не вызвать обратного действия при помощи другой силы, которая восстановит равновесие среди этих элементов беспорядка.

Для блага государства недостаточно, чтобы действия

русского правительства носили характер прямодушия и бескорыстия, проистекающий от высоких чувств и властной руки того, кто правит Россией. Недостаточно, чтобы имя русского занимало почетное место в истории нашего времени и сверкало в нем отблеском того, кто представляет это имя на вершине власти и нации. Хорошо получить отпущение грехов и быть оправданным на Страшном Суде истории: но правительство является силой жизненной и действенной; нужно, чтобы за него было не только будущее, но и настоящее. Правительство должно влиять на общественное мнение, принимать участие в ежедневных спорах, выступать в свою защиту, когда его обвиняют, отстаивать свои права, когда на них покушаются, объединять умы вокруг своего знамени, вести за собою общественное мнение, этого тайного соперника, тем более враждебного, чем менее он осведомлен. Эта задача тем легче, благороднее и благотворнее, чем возвышеннее намерения правительства и чем сильнее, безупречнее его поступки. Не сознавать безотлагательности этой задачи — значит обманывать себя в отношении нынешнего состояния умов и требования обстоятельств; это значит, пользуясь защитой анахронизма, поставить себя вне современных событий; это значит отрицать движение и в то время слышать, как гремит гром, лишь присутствовать при разрушениях, когда должно воздвигать плотину, пытаясь дать этому движению предохранительное и защитное направление. Во всяком случае зачем предоставлять событиям возможность дойти до крайности и лишь тогда действовать, когда зло совершится? Воздействие рассудка должно быть примиряющим и предупреждающим. Триумф справедливого дела является без сомнения наилучшим результатом во всяком столкновении, но медленная, постепенная и несомненная победа права также обладает моральной силой, коей правительство не должно пренебрегать; подобная же победа может быть лишь детищем убеждения. Чем более порицают злоупотребления современной печати, чем пристальнее задерживают внимание на ее опасностях (а ведь даже наиболее усердные сторонники ее свободы не могут их отрицать), тем более следует признать, сколь не политично увеличивать злонамеренное воздействие прессы, отвергая благо, которое она могла бы, в свою очередь, принести. Поступать таким образом — это значит не вынуть шпагу из ножен в момент

опасности, чтобы не краснеть от необходимости скрестить оружие с убийцей, готовым поразить жертву.

Даже в те времена, когда всемогущество прессы не было в действительности таким, как ныне, власть охотно пользовалась этим оружием. Наполеон умел властвовать, и что же, он, который для утверждения власти более сильного поставил под штыки всю Европу, не считал, однако, унижительным для защиты своего дела сражаться на арене журналистики. Екатерина II также с поразительным успехом пользовалась печатью. Не забудем, что в обоих этих случаях пресса едва достигла уровня второразрядной силы. А ныне, когда пресса заявляет права на диктаторство, насколько союз с ней более весом.

Итак, следовало бы пожелать, чтобы наше правительство не пренебрегало этой помощницей, поддержку которой не отвергали не только правительства, видевшие в гласной защите своих прав необходимый элемент своего существования, но и те, кои провозглашали монархические принципы во всей их целостности. Официозные газеты Пруссии и Австрии действуют в этом направлении и вносят свой вклад в борьбу противоположных мнений, властвующих над умами. Лишь одни мы остаемся позади с нашей «*Journal de St-Petersbourg*», слишком безобидной и молчаливой для нашего времени. Европа судит о нас невежественно и недобросовестно. Кто же виноват в этом? Что предпринимаем мы для опровержения клеветы и ошибочных мнений? Молчать — это значит признать себя неправым. Подобная политика могла еще иметь место, когда ее поддерживал авторитет Екатерины II. Европейская пресса была ее смиренной и покорной служанкой. Все выдающиеся политические и литературные деятели ее эпохи были ей преданы. Вольтер, Даламбер и многие другие писали как бы под ее диктовку и были глашатаями ее политических воззрений, ее побед и ее завоеваний. Это добровольное подчинение общественно-го мнения в ее пользу неминуемо должно было помочь ей в ее проектах и облегчить их осуществление. Было бы ошибочно предполагать, что лишь личное тщеславие побуждало ее осыпать щедротами известных писателей и приобретать их приверженность. Екатерина II была философом XVIII века, подобно тому как Петр I был голландцем или немцем. Она от этого была не менее самодержавна, а он не менее русский; наоборот, благодаря

этому она была еще более самодержавной, а он еще более русским. Особенности, свойственные Екатерине II и Петру I, были для них не целью, а средством: в обоих случаях единственной целью была сила, достоинство и всемогущество России.

Чтобы понять, насколько важно иметь прессу на своей стороне, остановимся на разделе Польши и на последних событиях, которые завершили дело Екатерины II. Раздел был совершен исключительно в духе завоевания и владычества, он был выгоден России и наносил ущерб европейским интересам. Тем не менее он почти не вызвал возражений и антипатии народов. Почему? Общественное мнение, созданное прессой, было благоприятно для России. Недавние же меры, свидетелями которых мы были, меры, настоятельно вызванные всем ходом вещей, национальной честью, неприкосновенностью права, всеми интересами, которые правительство должно защищать, чтобы существовать, вызвали в Европе результат, совершенно противоположный изложенному выше. Причиной этого было то, что вся европейская пресса встала на защиту Польши, в то время как нашу победу поддерживало лишь безмолвие нашей печати, сознание справедливости и реальность совершившихся фактов. Если бы в эти дни мы располагали органами печати, преданными нашему делу, возбуждение и раздражение умов было бы менее резким, наше право менее оспаривалось бы и весь вопрос был бы менее обострен. Если бы клевета, ошибочные и предвзятые мнения были громогласно опровергнуты, то без сомнения состояние умов было бы спокойнее и политические отношения менее затруднительны. Ибо даже те правительства, которые без сомнения неблагоприятно относятся к злоупотреблениям прессы, под каким бы знаменем они ни шествовали, с трудом сдерживают в своих странах антирусское движение, волнуемое народы. Французская и английская печать дают нам достаточно доказательств этому. Правительства, наиболее сильные, наиболее дружественно расположенные к нашему правительству, наталкиваются на сопротивление народов, как только речь заходит о русских интересах. Немецкая пресса также относится враждебно к нам и, никак не направляемая нами, передает отголоски, доносящиеся из Франции и Англии.

Итак, настоятельно необходимо, чтобы русские дипломаты в Европе располагали расторопными и предан-

ными органами, могущими влиять на умы в должном направлении, заставить услышать голос рассудка и убедить. Необходимо также, чтобы в состав наших посольств входили образованные, хорошо воспитанные и обладающие достаточным умственным кругозором русские, которые могли бы принимать участие в спорах, русские, отлично знающие свою страну, преданные ей сердцем, по убеждению, связанные с ней традицией, а не только политическими и официальными интересами. Наша дипломатия должна быть не только органом кабинета министров, она должна стать органом страны в моральном, интеллектуальном и национальном отношении. Вот какую пропаганду мы должны вести, пропаганду, достойную добросовестного правительства, великого народа и прямодушного монарха. Европа достаточно боится нас, и мы должны доказать ей, что сотни тысяч наших штыков не являются единственной основой нашего могущества, но что наша мощь покоится на принципах более высокого порядка и что мы сильны лишь потому, что мы достойны быть сильными. Только путем споров, убеждений, с помощью прессы мы можем показать себя в этом новом свете. Конечно, имя императора, стоящее выше всех нападков, должно оставаться вне этих споров, которые не должны затрагивать ничего лишнего, а касаться лишь широких вопросов, мудрой политики и справедливости.

Но было бы еще лучше, если бы правительство выпускало на русском языке журнал под своим руководством, с двойной целью: этот журнал должен был бы стать посредником между Европой и Россией, между правительством и народом. Ибо безмолвие, которое хранит наше правительство в своих внешних связях, имеет дурные последствия и внутри страны. Число русских писателей увеличивается со дня на день, пресса становится более деятельной, необходимость дать работу мысли проявляется во всех классах общества. Правительство должно со вниманием отнестись к этому явлению, оно должно овладеть этим умственным движением, дать ему здоровое направление. Все попытки публичного обсуждения, которые правительство производило или разрешало в последние годы, дали самые удовлетворительные результаты. Публика по своей природе тщеславна: польщенная тем, что с ней заговорили, и знаками внимания, которые проявили по отношению к ней, она бывает

удовлетворена и признательна, даже если хотят ее обмануть. Насколько же она будет более восприимчива к действиям правительства, если эти действия будут откровенными и прямыми, если она увидит, что власть желает быть понятой и оцененной. Все талантливые люди присоединились бы к подобному предприятию, оно собралось бы и поглотило бы в своей деятельности все индивидуальные деятельности, которые теперь проявляют себя изолированно, разобщенно, не сознавая своего призвания; видя, что правительство обходится без них, они иногда противостоят ему и критикуют его. Подобная газета сразу же парализовала бы все фрондирующие и противоречащие элементы среди молодых литераторов, так как открытое правительством поприще для талантов удовлетворило бы честолюбие всех и дало бы возможность развивать способности на законном основании. Наиболее благотворные мероприятия власти часто не находят у нас отклика и поддержки, которая им необходима, так как они не бывают обоснованы, подготовлены и объяснены путем обсуждения. Налицо пассивная покорность, однако нет сознания исполненного долга, и злоупотребления возникают как следствие моральной опустошенности. Если власть прямодушна, она может и должна быть откровенной: подобная откровенность является источником большей уверенности в своих действиях. Верховная власть должна быть у нас во главе всякой деятельности и развития страны. Зачем же ей пренебрегать и оставлять вне своей деятельности элемент наиболее плодотворный — силу интеллекта? Цензура, которая препятствует злу, является лишь негативной, инертной силой: нужна сила активная, творческая сила, сила прессы, творящая благо. Правительство должно не только внушать к себе уважение вовне, политикой своего кабинета, но также и с помощью общественного мнения; необходимо также, чтобы действия правительства были поняты внутри страны и чтобы образовался национальный дух, который может и должен быть у нас духом правительства. Но для того, чтобы достигнуть этой двойной цели, надо действовать. Пресса есть, она ждет только сигнала»¹⁰.

Меморандум Вяземского явно написан от группы писателей, претендовавших быть идейными опекунами Николая I. Конечно, мысль о том, что правительство прислушивается к голосу наиболее просвещенных писателей,

некогда близких к деятелям декабристского движения, была утопичной. Это ясно нам, потомкам. Но это не было ясно современникам. Надежда на просветительский курс Николая I определяла отношение Пушкина и его друзей к правительству в начале 1830-х годов. В июле 1831 года Пушкин писал Бенкендорфу: «С радостью взялся бы я за редакцию *политического и литературного журнала*, т. е. такого, в коем печатались бы политические и заграничные новости — около которого соединил бы писателей с дарованиями и таким образом приблизил бы к правительству людей полезных, которые все еще дичатся, напрасно полагая его неприязненным к просвещению»¹¹. Таков же был, как мы видели, и план Жуковского, таково же было и предложение Вяземского.

Проекты Пушкина, Жуковского и Вяземского (равно как и задуманная Пушкиным газета «Дневник») были звеньями единой цепи: писатели пушкинского круга пытались стать официальными глашатаями просветительских идей. Излагая свой разговор с Пушкиным, Н. А. Муханов записал 5 июля 1832 года в дневнике: «Цель его журнала, как он ее понимает, — доказать правительству, что оно может иметь дело с людьми хорошими, а не с литературными шельмами, как доселе было. Водворить хочет новую систему»¹².

Правительство не откликнулось на предложение Пушкина, Жуковского и Вяземского. Конечно, Николай I понимал несонизмеримость морального авторитета лучших писателей страны и болгаринской журнальной клики; но, боясь независимой мысли, чуждаясь истинного просвещения, правительство предпочло остаться с «литературными шельмами», с «Северной пчелой».



В поисках анонима

Можно ли анонимно подать прошение об издании газеты? На первый взгляд это кажется абсурдным. Кто же будет рассматривать прошение, если проситель неизвестен?

Между тем анонимное прошение было не только подано, но и рассматривалось правительственными инстанциями. Об этом мы узнаем из архива III Отделения.

Записка написана каллиграфическим почерком отличного писца, подпись под ней отсутствует. По своим мыслям она во многом совпадает с меморандумом Вяземского; аноним писал: «Цель этой газеты могла бы состоять в том, чтоб объяснять русским читателям желания правительства при том или другом новом постановлении и рассматривать текущие современные события Европы с точки зрения, свойственной русскому, понимающему, что для его великого отечества нет образцов нигде, что оно само себе образец и что действия правящей им священной власти — суть единственно полезные, единственно благодетельные для него нововведения <...>»¹³.

Итак, перед нами еще один проект создать официозный печатный орган. Но кто его автор? Ознакомимся поближе с проектом — это поможет нам обнаружить анонима.

Большая часть записки посвящена резкой критике газеты Булгарина: «Переводятся ли в «Северной пчеле» известия о революции, имевшей следствием отделение Бельгии от Голландии, или об участии, какое принимал народ в спорах герцогини Беррийской и герцога Бордосского с младшею линиею Орлеанского дома, королевы Христины с доном Карлосом, или о нынешнем государственном преобразовании Испании, вследствие изгнания дона Карлоса; о религиозных спорах в Великобритании и зарождающейся теперь от того всеобщей революции в Ирландии; о волнениях в сенате Соединенных Американских Штатов или об оскорблениях, наносимых королю французскому, — никогда при этом не бывает статьи, которая заключала бы в себе или исторический взгляд на отношение отделившегося государства к тому, с которым оно было связано, или размышления о непрочности спокойствия в таком государстве, где народ соединен с верховною властью только слабыми политическими узми <...> Она не может руководить мнением читателей, ибо сообщает только новые известия без всякого истолкования, а из читателей ее 9/10 частей сами не в силах растолковать то, что прочтут в ней, и притом растолковать так, как следовало бы русскому подданному <...> За недостатком дельных и истинно полезных политиче-

ских статей, большая часть листов «Северной пчелы» наполняется статьями литературными, на которые, кажется, издатели преимущественно и обращают свое внимание, наполняя чем попало часть политическую, как всегда успешно содействующую к распродаже газеты. В литературной же части они спорят с своими журнальными противниками, помещают статьи о театрах, извещения о новых магазинах, кондитерских или пишут насмешки над русскими нравами, доказывающие, что они знают русские нравы не более, как следует знать иностранцам»¹⁴.

Далее автор записки писал, что «большая часть литераторов, с огорчением видя чисто денежное направление «Северной пчелы», удаляются гласно от всех изданий, находящихся под влиянием сей газеты»¹⁵. Именно от лица этих писателей — противников Булгарина — представлена записка: «Многие из русских литераторов с прискорбием видят такое состояние отечественной литературы, вредное внутри государства и покрывающее нас стыдом перед иноземцами; но рвение каждого из нас останавливается опасением услышать отказ, который в публике, получив вид недоверенности к ним правительства, помрачит их доброе имя, коим дорожат они. Они не могут просить дозволения издавать газету, пока не получают дозволения просить о сем. <...> Если правительству угодно будет почтить благоприятным ответом эту просьбу, то предлагающие ее за счастье себе поставят открыть свои имена и представить подробную программу издания, но до того времени берут смелость умолчать имена свои, которые, в случае отказа, знать было бы бесполезно»¹⁶.

Странное, весьма странное впечатление производит заключительная часть записки. Представим себе на минуту, что правительство решило начать переговоры. К кому оно должно было бы обратиться? Дать объявление в «Санкт-Петербургских ведомостях», что лиц, подавших анонимную записку, просят явиться в Главное цензурное управление?

И самое главное — как были запуганы люди, что они не решались «просить дозволения издавать газету, пока не получают дозволения просить о сем».

По своей казуистической тонкости эта фраза придает всей записке особую психологическую тональность, являясь самовыражением униженности и забитости, более

своих, казалось, гоголевскому Акакию Акакиевичу, нежели писателю. Может быть, и в самом деле эта записка — мистификация, плод измышления какого-нибудь спившегося с круга чиновника 14-го класса, злая шутка, написанная на пари в захудалом трактире? Это вероятное предположение становится невероятным, когда мы вспоминаем все содержание записки: едкие выпады против «Северной пчелы» написаны пером профессионального литератора, понаторевшего в словесных схватках, изощренного в метафизических прениях. Итак, анонима надо все-таки искать среди журналистов того времени.

Приступим к розыску. Вначале попытаемся установить, когда была составлена эта записка. В ее тексте имеется ссылка на «нынешнее государственное преобразование Испании», т. е. на статут 10 июля 1834 года об учреждении в Испании двухпалатных кортесов. Это позволяет датировать записку второй половиной 1834 или началом 1835 года.

Более сложно установить—кто именно писал записку. Конечно, не писатели пушкинского круга. Связанные с лучшими традициями русского освободительного движения, Пушкин и его друзья с откровенной смелостью обращались к правительству, с «поднятым забралом» высказывали они свои мнения Николаю I и Бенкендорфу. И невольно мысль обращается к кругу «Московского вестника», к московским литераторам, лишенным в эти годы своего печатного органа. Просматриваем комплекты этого журнала и находим в одном из номеров 1828 года следующий отзыв о «Северной пчеле»:

«Но не так удовлетворительны известия иностранные. Вместо того, чтобы ставить нас в такую точку, с которой могли бы мы видеть, что занимает умы в настоящее время в державах Европейских, наиболее обращающих на себя внимание всякого просвещенного, — вместо того, чтобы изображать нам перемены, происходящие во внутреннем устройстве государств, с их причинами, постепенным развитием и последствиями, — вместо того, чтобы выводить перед нами современные лица, действующие на поприще политическом, с их характерами и мнениями, согласуясь во всем этом с благонамеренными видами нашего правительства, Северная пчела представляет нам одни голые, неудовлетворительные известия о происшествиях, испещренных одними именами...»¹⁷

Критика «Северной пчелы» в «Московском вестнике» и в анонимной записке разительно похожи друг на друга. Даже человек, неискушенный в филологической премудрости, поймет, что та и другая критика написаны, по-видимому, одним автором. Но кто же этот автор? В примечании к рецензии «Московского вестника» сказано, что «замечания на политическую часть Северной пчелы в этом разборе писаны издателем Московского вестника»¹⁸, т. е. М. П. Погодиным. Следовательно, и анонимная записка, по всей вероятности, написана им. Во всяком случае можно безбоязненно утверждать, что эта записка была подана в III Отделение литераторами, принадлежавшими к кругу скончавшегося в 1830 году «Московского вестника».

Доказательства налицо. И тем не менее остается сомнение. А заключительная часть записки? Неужели она также написана Погодиным, с которым Пушкин издавал в свое время «Московский вестник», тем самым Погодиным, которого Пушкин хотел в 1832 году видеть сотрудником своей несостоявшейся газеты?

Михаил Петрович Погодин — сын мелкого канцеляриста (отпущенного на волю крепостного графов Салтыковых) — был человек практичный, не без способностей, упорно добивавшийся своего места под солнцем; в 1835 году он занял, наконец, кафедру русской истории в Московском университете. Восхождение по лестнице социальной иерархии было благополучно закончено. Но невеселые воспоминания детства и юности навсегда запомнились ему. Они приучили его быть осторожным, порой даже излишне осторожным. Так жизненный дебют Погодина объясняет нам невероятную робость заключительной части анонимной записки, заискивающие выражения и униженную интонацию последних ее фраз.

А какова оказалась судьба записки? Она была передана в министерство народного просвещения. Уваров дал отрицательный отзыв — по его мнению, в России не было человека, который мог бы стоять во главе подобной газеты¹⁹ — и возвратил записку в III Отделение. Там она и закончила свой путь. Правительству не было «угодно почтить благоприятным ответом эту просьбу».



«И без того много»

Мы ознакомили читателя лишь с наиболее значительными, и в первую очередь с неизвестными проектами. А их было куда больше.

В конце 1827 года Адам Мицкевич просил разрешить ему издавать в Москве на польском языке журнал «Ирида». Последовал отказ.

В 1833 году предполагал издавать журнал московский литератор Н. А. Мельгунов. Но свое прошение, поданное в цензурный комитет, он вынужден был взять обратно. В письме к С. П. Шевыреву он писал: «...книгопродавец пятится и трусит. Ему наговорили, что этот журнал будет издаваться под влиянием Киреевского, и он боится участи Европейца. Кто насаждал ему такую чепуху — не ведаю; но как бы ни было, время публикации прошло, и думать об этом уже не к чему»²⁰.

В 1834 году Герцен и его московские друзья задумали издавать журнал. Была составлена программа и намечено, кто будет руководить отделами журнала. Но издание не состоялось. То ли запрет «Московского телеграфа» побудил Герцена воздержаться от подачи прошения, то ли арест пресек его журнальные планы²¹.

По-видимому, 1834 годом следует датировать неосуществленный проект С. П. Шевырева; в его бумагах сохранилась «Записка о необходимости издания двух научных журналов»²².

К этому же времени относятся просьбы разрешить издание различных дешевых журналов для широкой читательской публики. 10 марта 1834 года Уваров в докладе на высочайшее имя писал, что Главное цензурное управление советует отклонить «введение у нас дешевых простонародных журналов». Резолюция Николая I гласила: «Совершенная истина, отнюдь не дозволять»²³.

Николай I отказывал даже в тех случаях — скажем прямо, очень редких, — когда Уваров предлагал одобрить намерение издателей. Так, например, на докладной за-

писке Уварова от 6 июля 1834 года о разрешении издавать «Журнал императорского харьковского университета» царь наложил резолюцию: «Повременить»²⁴. Ему внушали опасения даже чисто академические издания.

Осенью 1836 года Жуковский писал Уварову: «Князь Одоевский и Краевский просили меня передать вам приложенную бумагу, любезная Старушка, и желают, чтобы я был за них перед вами ходатаем, полагая (в чем и я с ними согласен), что моя просьба не будет вами принята с равнодушием. Прошу вас прочесть их программу и дать им ваше благословение на предпринимаемое ими дело; но не одно благословение, а вместе и покровительство. Вы знаете и того и другого; следовательно, можете быть уверены, что цель их благородная, почетная и что они могут иметь успех в стремлении к ней. Покровительством им вы будете покровительствовать и весь еще пишущий Арзамас, ибо все наши сочлены, еще не отказавшиеся от пера гусяного, готовы им содействовать, в том числе и аз грешная Светлана. Вы же, если не гусиным пером, то хотя гусиным криком, спасавшим литературный Капитолий и защищающим святилище от нашествия галлов, будете все принадлежать Арзамасу. Прошу вас убедительно быть крестным отцом Русскому сборнику. Я сам хотел явиться к вам, но программа, мною вам посылаемая, получена мною за час до отъезда моего в Петергоф. Некогда самому; через неделю, когда поедем в Царское Село, буду в Петербурге и тогда вас увижу. Дайте мне словечко в ответ. Между тем душевно благодарю вас за Рейста.

Преданная вам Светлана»²⁵.

В 1810-е годы Жуковский вместе с Уваровым участвовал в передовом литературном содружестве «Арзамас». Полное арзамасской терминологии и реминисценций того времени (Старушка — арзамасская кличка Уварова, Светлана — самого Жуковского), письмо Жуковского к Уварову было неофициальным прологом к программе «Русского сборника», который задумали издавать В. Ф. Одоевский и А. А. Краевский²⁶.

«Русский сборник» должен был быть ежеквартальным изданием. В объяснительной записке издателя замечали, что «Русский сборник» не есть периодическое издание и, следственно, они могли бы не испрашивать на него разрешения правительства: для книг и альманхов этого не требовалось. Здесь-то и начиналась сво-

образная дипломатия. Русская журналистика знала альманахи серийные, выходившие по книжке в год — «Мнемосина», «Полярная звезда», «Северные цветы»; но на них не объявлялась заранее подписка, и издатели не связывали себя никакими обещаниями касательно продолжения издания. «Русский сборник» должен был распространяться по подписке — таково было желание издателей: следовательно, он должен был занять некое среднее положение между альманахом и журналом.

Ознакомившись с программой «Русского сборника», Уваров написал: «Это просто журнал — а программа сходствует со всеми программами журналов», и, хотя обещал содействовать изданию, все же счел за благо «о дозволении сего журнала представить на высочайшее государя императора разрешение».

16 сентября 1836 года Николай I решил дело своей печально знаменитой резолюцией: «И без того много».

А две недели спустя было запрещено принимать ходатайства об издании новых журналов.

Перед нами прошла вереница неосуществленных газетных и журнальных замыслов. Неуклонно и методично царская администрация проводила политику «умственных плотин».



Вокруг „Современника“



У истока

Тридцать первого декабря 1835 года Пушкин написал письмо Бенкендорфу, испрашивая разрешение «в следующем, 1836 году издать 4 тома статей: чисто литературных (как-то повестей, стихотворений etc.), исторических, ученых, также критических разборов русской и иностранной словесности; на подобие английских трехмесячных *Reviews*»¹.

Николай I позволил, с тем чтобы «означенное периодическое сочинение» (обратим внимание на терминологию) проходило установленным порядком через цензуру².

16 января Уваров сообщил Бенкендорфу, что о сей высочайшей воле он предписал Петербургскому цензурному комитету к должному исполнению³. Так начался пушкинский «Современник».

Он был непосредственно связан с замыслом того «альманаха», о котором Плетнев должен был думать осенью 1835 года как об «общем деле». Три произведения, предназначенные для этого альманаха, — «Путешествие в Арзрум» Пушкина, «Коляска» Гоголя и отрывок из его комедии под заглавием «Утро делового человека» — вошли в первый том «Современника». Пушкин в расширенной форме осуществлял издательский замысел 1835 года.

Уже тогда, готовя альманах, Пушкин предвидел возможные затруднения. «Лангера заставь... нарисовать виньетку без смысла»,— пишет он Плетневу⁴. Еще в 1827 году Бенкендорф обнаружил антиправительственный умысел в виньетке к изданию «Цыган»: обломки цепей, змея, кинжал, чаша... Возникла переписка III Отделения с начальником московского округа корпуса жандармов А. А. Волковым; допрашивали типографщика Августа Семена. Дознались, что виньетка парижского происхождения и была у Семена в книге образцов шрифта, отсюда ее Пушкин и выбрал. Можно думать, что дознание не осталось секретом для Пушкина; с Августом Семеном ему пришлось иметь дело и позже. Приключения злосчастной виньетки на этом не кончились; Надедин поместил ее в «Телескопе», и она вновь вызвала подозрение⁵. А 22 мая 1835 года Московский цензурный комитет запретил другую виньетку, «изображающую чудовище, поражаемое кинжалом рукою невидимого»⁶.

От всех этих неожиданных «применений» нужно было обезопасить будущий альманах, а теперь журнал, выросший из альманаха.

Пушкин писал в прошении: «4 тома статей». Это означало: четыре выпуска альманаха. Николай I определил будущее издание: «означенное периодическое сочинение».

Во всех этих оттенках таился особый смысл.

К началу 1830-х годов правительству было ясно, что альманахи, выходящие ежегодно и сохраняющие свое название, сближаются тем самым с журналами. Было издано предписание посылать их наряду с журналами на просмотр в III Отделение⁷. В то же время альманахи сохраняли свое промежуточное положение: то ли книга, то ли журнал⁸. Разрешались они легче, нежели журналы.

Когда печально известная резолюция Николая «И без того много» поставила «плотину» на пути новых журналов, литераторы стали искать выхода в периодических и непериодических сборниках. И цензурное ведомство стало перед затруднением.

«Сборники разных сочинений, с прибавлением критики» заставляли «предполагать цель, общую всем периодическим сочинениям», которые «не должны быть дозволяемы на основании общих цензурных правил».

Так гласил уваровский циркуляр 1841 года, обра-

щавший внимание «вообще на тот род сочинений, которые, выходя в свет отдельными книжками или брошюрами, хотя не в определенные сроки, подобно журналам, но по цели и содержанию имеют много с сими последними сходства». «Дозволение издавать литературные произведения в такой форме на основании общих цензурных правил, — предупреждал он, — легко может дать повод лицам, желающим употребить оную к уклонению от существующих постановлений о периодических сочинениях, и послужить к умножению числа подобных сочинений, которые, кроме названия, не имеют почти существенного различия от повременных и должны быть почитаемы за особый род журналов».

Уваров был человек умный. В николаевской России любая раздраженная реплика императора могла приобрести силу закона. «И без того много» было законом, и Уваров исполнял его неукоснительно. Но он не мог не понимать, что такими законами движение печати не остановить, что невозможно запретить все альманахи и сборники и что нужно искать какого-то компромисса. Поиски такого компромисса он возложил на Санктпетербургский цензурный комитет.

Комитет поручил Никитенко разработать правила для различения сборников «от периодических изданий или журналов».

Этот любопытный документ, составленный Никитенко, мы приведем полностью: он ретроспективно бросает свет на цензурный статус «Современника».

«Цензурный комитет, по тщательном рассмотрении и соображении сего проекта, положил донести его сиятельству следующее:

Между повременными изданиями надобно различать три вида: журналы в собственном и настоящем значении, куда относятся и газеты, сборники и книги, выпускаемые в свет известными отделениями или тетрадями (*livraison*).

Журналы есть постоянное от времени до времени обнародование сочинений, сведений и мнений, касающихся до современного движения всего, что занимательно или важно для общества, в отношении к его образованию и благоденствию, — след., обнародование сочинений, сведений и мнений, касающихся до современного хода и состояния наук, политики, литературы, искусства, промышленности и общественной жизни. Почему к существ-

ву журнала принадлежат следующие условия: 1) повременный и периодический выход книг в определенные сроки; 2) современность помещаемых в нем сведений и мнений, посредством коей непрерывно и последовательно представляется публике и оценивается каждое замечательное явление в науках, литературе и проч. с обязательствами делать все это на будущее неопределенное время; 3) Отсутствие систематической связи между отдельными частями, составляющими содержание издания. Наконец, 4) так как предназначение журнала идти вслед за течением времени и как посему он не может иметь определенного объема и предела, то к числу примечательных его свойств принадлежит также допущение правительством права объявлять о подписке на издание с требованием вперед известной суммы денег, без предварительного представления куда следует готовых материалов.

Все вышесказанное о журнале можно подвести под два главные понятия. Он есть представитель текущих явлений в области наук, литературы и проч. и судьба их. Хотя в журналах помещаются нередко статьи, содержащие в себе и общие начала или идеи, не имеющие, по видимому, никакого отношения к современному движению мысли и жизни общественной, но не эти статьи дают им характер журнальный, а именно те, которые или содержанием, или, по крайней мере, направлением своим имеют в виду вопросы интереса настоящего времени.

Сборники могут быть издаваемы или одновременно, каковы, например, хрестоматии, или периодически. Комитет обращает внимание только на последние, так как они сходством своим с журналами подали повод к вопросу, занимающему ныне цензуру.

Сборник есть один из способов обнародования важных или любопытных сочинений и сведений в виде отдельных статей, касающихся до наук, литературы, искусства, промышленности и общественной жизни. Он может быть общим, как, напр., Энциклопедический лексикон, или специальным, как литературные альманахи и проч. Сходство сих сборников с журналами состоит в том, 1) что они могут выходить в свет частями или отдельными книжками в разные времена; 2) что между статьями, составляющими их содержание, не находится систематической связи. Но между ними есть и разли-

чие, весьма важное и существенное. Оно состоит в том, 1) что сборник не предназначается для сообщения непрерывно-последовательных постоянных сведений о текущих явлениях по части наук, литературы и проч., а передает публике только то, что издатель находит или что написано другими замечательного вообще в этой области; он говорит не о том, что делается, а о том, что уже сделано. 2) Сборник, не следя за непрерывным рядом сих явлений, не произносит и суда своего о них. 3) Сборник не назначает определенных сроков выхода своего в свет, хотя и может издаваться последовательно одною книжкою за другую; он может быть повременным изданием, но не периодическим. 4) Так как издатель сборника всегда имеет перед собою уже известную и определенную массу материалов, то объявление и подписка на оный сама собою становится в разряд книжных, а не журнальных объявлений.

Книги, издаваемые частями или тетрадями (*livraison*), отличаются от книг в общем смысле только способом своего появления в свет, при единстве плана, направления и содержания, составляющем обыкновенное свойство книг, они присваивают себе только права постепенного печатания и выпуска.

На основании сих предварительных соображений нетрудно поставить и некоторые ограничительные для сборников правила с тем, чтобы, оставаясь хранилищами полезных знаний и любопытных литературных произведений, они не вторгались в чуждую им область журнальную. Комитет признает полезными следующие правила:

1) Не получившим права издавать журнал позволяется обнародовать различные статьи по одной или по разным вместе отраслям наук, литературы, искусства, промышленности и общественной жизни отдельными книжками и в разные времена, так что все книжки вместе взятые могут составить одну книгу или материалы для книги.

2) В распределении статей издатели могут держаться какого угодно порядка, давать им единство и систематическую форму или помещать их совершенно отдельными классами под рубрикою наук, искусств и т. п.

3) В сборниках такого рода не могут быть излагаемы последовательно и в непрерывном порядке сведения о современных, текущих явлениях по какой бы то ни

было отрасли наук, литературы и проч. с обещанием излагать все это и впредь.

4) Критика как последовательное и периодическое суждение о произведениях, выходящих по какой-либо отрасли наук, литературы и проч., а тем более полемика не должны быть допускаемы в сборнике; но не воспрещается издателю помещать в нем общие критические разыскания о разных предметах наук и проч.; также отдельные рассуждения о том, что сделано по ним в такую-то эпоху или такой-то период времени. На основании сего и 3-го § все статьи, известные под названием: библиография и критика исключаются из сборников.

5) Подписка на сборник со взносом денег допускается не иначе как отдельно на каждую книгу, рассмотренную уже и одобренную цензурою.

6) Сборник рассматривается одним цензором на том же самом основании, как вообще все книги».

Мнение комитета было отослано в Главное управление цензуры; согласившись с ним, управление предложило принять его к руководству «в виде опыта»⁹.

Все эти дефиниции были сформулированы, как уже сказано, в 1841 году, в сентябре месяце, почти через шесть лет после описываемых событий. По ним видно, однако, какие подводные камни должен был обходить Пушкин, начиная хлопоты о «Современнике».

«Четыре тома статей» или «периодическое сочинение»? Вспомним определение Никитенко: сборник не назначает точных сроков выхода своего в свет; он — издание «повременное», но не «периодическое».

«Современник» выходил раз в три месяца. И на него принималась предварительная подписка.

Итак, журнал?

«Отечественные записки» в 1839 году будут писать о «Современнике»: «журнал чисто альманашный и издававшийся четырьмя альманахами в год»¹⁰. Это будет сказано с умыслом. «Враги Пушкина называли беспрестанно «Современник» журналом не спроста, — писал много позднее В. Ф. Одоевский (человек весьма осведомленный), — здесь было указание цензуре на то, что Пушкин делает нечто недозволенное, ибо «Современник» был разрешен как *сборник*, а не как *журнал*». А Плетнев замечал в 1842 году: «Терпеть не могу, когда «Современник» трактуется журналом, а не книгою»¹¹.

Журнал, очень точно замечал Никитенко, «непрерыв-

но и последовательно» следует за ходом современного просвещения, стремясь представить его публике возможно полнее, «с обязательствами делать все это на будущее неопределенное время». Постоянный раздел критики в журнале — необходимость и неизбежность.

В «Современнике» такого раздела не было, как не было и других постоянных разделов, и он не брал на себя обязательств непрерывно и последовательно представлять публике современное просвещение. Он сохранял структурные особенности «сборника» — и в значительной мере вынужденно.

Но Одоевский запомнил: «журналом» называли «Современник» не только «враги». Так именовался он в протоколах цензурного комитета и в издательских объявлениях самого Пушкина.

И при всем том, допуская такое именование, ни Уваров, ни Бенкендорф, ни сам Николай I не забывали, что разрешение было дано лишь на «4 тома статей». В 1837 году Жуковский представил в цензуру объявление о продолжении издания, указав в нем, что подписка на 1837 год была открыта покойным Пушкиным. Главное управление цензуры потребовало возобновить высочайшее разрешение. Резолюция гласила: «Государь позволяет на 37-й год, хотя Пушкин не имел бы права назначать подписки, ибо позволение ему дано было только на 36-й год, как он и сам просил...»¹²

Так на журнальный замысел Пушкина с самого начала легла тень цензурной политики тридцатых годов.



Петербургские «гасители»

21 января 1836 года в Санкт-петербургском цензурном комитете слушали предписание господина министра народного просвещения о разрешении камер-юнкеру титулярному советнику Александру Пушкину издать в нынешнем году четыре тома статей¹³.

Петербургский цензурный комитет, слушавший в молчании, как секретарь Осип Васильевич Семенов чи-

тает указанное предписание, представлял собою собрание из шести членов. Один из них был уже знакомый нам А. В. Никитенко. Второй, Василий Николаевич Семенов, — добрый приятель Пушкина; они были знакомы еще с лицеза (Семенов был моложе, второго выпуска). Он цензуровал «Путешествие в Арзрум». Но Семенову уже недолго суждено было оставаться в цензурном комитете; в апреле он оставил службу. Петербургские литераторы, любившие его, провожали его большим дружеским обедом; Семенов не остался в долгу и дал ответный обед; Пушкин приехал к нему и сидел долго еще после ухода дам; он был в этот вечер необычайно оживлен и весел¹⁴. Семенов был настоящим литератором и не очень удачливым цензором. На место его поступил человек сухой, равнодушный и педантичный — А. И. Фрейганг. Затем шел С. С. Куторга, зоолог, минералог, профессор Петербургского университета, и еще три цензора, о которых пойдет речь особо: Павел Иванович Гаевский, Петр Александрович Корсаков и Александр Лукич Крылов. Ко времени заседания последний из них знал уже, что он назначен цензором упомянутого повременного издания: его уведомили об этом письменно 19 января¹⁵. А 20 января Никитенко записал в дневнике: «Цензором нового журнала попечитель назначил Крылова, самого трусливого, а следовательно, и самого строгого из нашей братии. Хотели меня назначить, но я убедительно просил уволить меня от этого: с Пушкиным слишком тяжело иметь дело»¹⁶.

Познакомимся с личностью этого человека, которая для судьбы «Современника» была во всяком случае не безразлична.

* * *

В августе 1798 года в семье провинциального священника Луки Крылова родился сын, нареченный при крещении Александром.

Когда ребенок стал подрастать, отец отдал его в Смоленскую духовную семинарию, дабы со временем доверить ему приход. Но судьба судила иначе, и в 1817 году девятнадцатилетний семинарист приезжает в Петербург и поступает в Главный педагогический институт на казенный кошт, а с преобразованием института в Императорский Санктпетербургский университет становится соответственно студентом университета, изучает стара-

тельно географию и статистику, прилежно посещает лекции всеобщей истории у профессора Раупаха, человека своенравного и вольнодумного, к тому же еще драматурга, писавшего по-немецки пьесы против деспотизма и крепостного рабства.

Неизвестно, к чему бы все это привело, продлись обучение у Раупаха еще несколько лет. Время было тревожное; шел 1821 год. На посту министра народного просвещения стоял мистик князь Голицын. Уже начались преследования инакомыслящих; сам император, столь либерально начавший свое царствование, уходил все глубже в мистические размышления, доверив просвещение Голицыну, а гражданские дела графу Аракчееву. Тревожное ожидание владело умами; ропот недовольства уже слышался открыто. Университетские профессора с кафедр проповедовали либерализм, словно не чувствуя приближения грозы, вот-вот готовой разразиться над университетом. Между тем гроза приближалась. Ее дальнейшие отзвуки слышались уже в доходивших до Петербурга сведениях о беспрецедентном разгроме Казанского университета, где было обнаружено вредное христианской религии направление; уже был удален из Петербургского университета профессор Куницын, «обличенный Главным училищ правлением в распространении при преподавании Права Естественного нелепостей и здравому уму противных и потрясающих благосостояние Общественное...»¹⁷ Но все это была лишь прелюдия к неслыханному до сих пор в летописях университетского образования событию.

В конце августа 1821 года исправляющим должность попечителя Петербургского учебного округа стал Дмитрий Павлович Рунич, фанатик и изувер. Лавры Магницкого, героя казанской истории, не давали ему покоя; к тому же борьбу с буйством и беспорядками и водворение основ чистой религиозной нравственности он считал своей священной миссией. Таково было веяние времени, воля императора и министра Голицына, и Рунич отлично это понимал.

В начале сентября некоторым студентам было приказано представить записи лекций профессоров Раупаха, Галича, Германа и адъюнкта Арсеньева. Приказ шел от Рунича. Цель этой ревизии была не совсем ясна; однако основания для беспокойства были. Рассказывали, что преподаватель российской словесности Яков Ва-

сильевич Толмачев выпрашивал эти записи у студентов, многозначительно замечая при том, что-де немцев жалеть нечего, а избавиться от них давно пора¹⁸. Яков Васильевич не ссылался на приказ начальства и, быть может, трудился из личной преданности новому ректору Кавелину, много ему благодетельствовавшему. В позднейших записках своих он обо всем этом не упоминал, скромно отмечая, что когда некоторые профессора «образом своих мыслей и преподавания, несогласным с видами правительства, вынудили начальство исключить их из университета», ему, Якову Васильевичу, «велено было, кроме русской словесности, преподавать в университете и философию»¹⁹. Но как бы то ни было, полученные тем или иным способом тетради студентов попали в руки Рунича. В числе этих студентов был и Александр Крылов, лишившийся своих записей лекций Раупаха²⁰.

Знал ли Крылов о том, что произошло дальше? Несомненно, знал, хотя, быть может, и не все. 3, 4 и 7 ноября 1821 года, запертый, как и другие, в своей комнате, он ожидал в тревоге и растерянности окончания событий. До студенческих помещений, крайние из которых были отделены от залы заседаний камерой и коридором, доносился шум и крики девятичасовых собраний. Собрания велись тайно, но тайна оказывалась секретом полишинеля. Рунич читал выписки из лекций, потрясал тетрадями, в том числе и его, Крылова, конспектом, и с гримасами и оскорблениями, впадая в истерию, предлагал присутствующим убедиться, сколь дурно они пахнут²¹. Он обвинял профессоров в потрясении основ гражданского и нравственного бытия, в «робеспьеризме и маразме», в заговоре, наконец, и в государственной измене! Профессор Раупах, писал он в своем официальном отчете, не признает священного писания, возводя его к языческим мифам; его «богохульные умозрения, догадки и заключения» «быв непосредственно направлены к унижению откровенной Религии, косвенно устремляются <...> и против властей, от бога установленных»²². Профессор Герман «из Статистики, науки весьма простой, имеющей определительные границы, составил смесь из собственно так называемой Статистики с умствованиями о Религии, Праве Естественном и Политической экономии на тех же самых началах новейшей разрушительной философии, в Статистике же Россин позволяет себе такие заключения на счет Церкви, образа правления и

Государственных постановлений вообще, что без очевидных доказательств и поверить мудро было бы» <...>²³.

Этих формул мог тогда и не знать студент Александр Крылов. Он мог не знать и о деталях инквизиционного допроса, которому подвергли четырех обвиняемых; о том, что его учитель Раупах ни на йоту не отступил перед гонителями просвещения, что профессор Галич, в полном душевном смятении, просил грозный ареопаг «не помянуть грехов юности и неведения»; он мог не знать и о том, что среди двадцати профессоров, бывших свидетелями и невольными участниками судилища, оказалось несколько человек, которые осмелились, хотя и робко, вступить за осужденных и предпочли стать лучше обвиняемыми, чем обвинителями. Крылов не знал этого и многого другого, о чем позднее рассказал в своей исторической записке профессор Плисов и что донесено до нашего времени сухими строками официальных документов. Но один вид профессоров, перенесших девяти-, а то и одиннадцатичасовую моральную пытку, был уже достаточно красноречив: было известно, например, что профессор Соловьев, один из подававших «особые мнения», в полном расстройстве душевных сил после заседания, заблудился и, доставленный домой матросами, «впал в чрезвычайное расслабление телесное и душевное».

Наконец, все было кончено. Петербургский университет как гнездо разврата и крамолы более не существовал. Профессора, рассеивавшие заразу, уволены. Раупах уехал за границу. Ушли и некоторые из тех, кто не хотел участвовать в травле. Оставшиеся места были разделены теми, кто «заслуживал полную доверенность начальства» «нравственными качествами и христианским примерным расположением», «благонамеренными свойствами, преданностью и ревностью», вне зависимости от педагогических способностей и знания предмета²⁴.

Вслед за тем был произведен «разбор» студентов. 18 марта 1822 года на этот счет было издано высочайшее повеление. Рунич и сам прекрасно понимал, что «опасные учения» профессоров могут заразить молодые умы, и с тем большим рачением стремился уволить «безнадежных». В «табель о разборе» заносилось и за свидетельствование директора о благонадежности к учительскому званию по нравственным качествам и «аттестация инспектора о нравственных свойствах по замечаниям в продолжение целого курса».

В этой табели мы находим и интересующее нас имя. Студент Крылов, факультета историко-филологического, заслуживает высшие оценки: «благоннадежен», «примерных нравственных свойств». Он показывает «отлично хорошие» успехи в российской истории, очень хорошие — в всеобщей истории, статистике, российской словесности. Его имя открывает графу факультета. Он причислен к группе «А» и оставляется в университете до окончания полного курса²⁵.

Итак, зловредные учения профессора Раупаха не колебали чистой нравственности Крылова, и чтение высшим начальством его конспектов не отразилось на его судьбе. Но напрасно было бы думать, что события двух последних лет прошли ему даром! Рунич не выпускал из-под своего надзора оставленных в университете студентов и вменил в обязанность преподавателям особо следить, чтобы сведения в науках имели должное направление, а впечатления от разрушительных теорий сколько возможно истреблялись²⁶. По новой инструкции в преподавании истории и философии надлежало руководствоваться Ветхим Заветом и клерикальными писателями; успехи России в просвещении доказывать деятельностью Владимира Мономаха и при всяком случае внушать студентам отвращение от губительного материализма. Первая добродетель гражданина есть покорность, внушала инструкция, — покорность и неусыпное наблюдение за поведением студентов, для чего рекомендовано было сообщение с полицией²⁷.

Результаты не замедлили сказаться. Поколение университетских преподавателей, выросшее в начале 1820-х годов, до конца жизни не забывало уроков, преподаваемых Руничем. «Молодежь эта болезненно поражена была разгромом 1821 года в самой весне жизни, и в некоторых из среды ее цвет всякого развития побит еще в почках; большинство ее было потрясено и пришибено этим разгромом и всем вслед за тем виденным и испытанным до такой степени, что никогда в жизни, даже и при благоприятной перемене обстоятельств, не могло уже очнуться, чтобы думать не по заданной программе и действовать не по чужой указке». Слова эти принадлежат младшему современнику «поколения 1821 года»; так писал о нем профессор В. В. Григорьев, заставший его студентом, в начале 1830-х годов²⁸.

В феврале 1823 года Александр Крылов окончил пол-

ный курс наук, благополучно удовлетворив всем требованиям университетского начальства, удостоился золотой медали и был оставлен в университете для исправления должности магистра по географии. С этого времени он начинает довольно быстро двигаться по служебной лестнице. Он преподает греческий и латинский язык, историю и географию. Древнюю и среднюю историю он читает по учебникам Кайданова и Коха, а после и «по собственным запискам», которые были, к слову сказать, не чем иным, как парафразом тех же Кайданова и Коха. Он издал несколько книг по истории, географии и статистике, — книг, мало кем замеченных в ученом мире, кроме разве двух-трех рецензентов, которым пришлось проявить немало изобретательности, чтобы что-то о них сказать²⁹.

В 1835 году произошла реорганизация университета. «Поколение двадцать первого года» завело его в тупик. Строить преподавание только на одной благонамеренности дальше было решительно невозможно.

Многие из прежних профессоров оказываются уволенными; в их число попадает и Крылов. На его место приходят новые люди: кандидат В. С. Порошин, занявший кафедру политической экономии и статистики и через несколько лет ставший любимцев студентов, и блестящий молодой историк М. С. Куторга.

Александра же Лукича Крылова ждало совсем иное поприще.

Еще в 1828 году он, служа в Санктпетербургской гимназии, отправляет скромную должность секретаря Санктпетербургского цензурного комитета. И далее, уже будучи преподавателем, а после и ординарным профессором университета, он сохраняет связи с комитетом: в 1830 году он уже цензор, а в 1833 году за усердную службу на этом поприще награждается годовым окладом жалованья. Когда 1 января 1836 года он «остается за реформу» т. е. увольняется из университета, за ним сохраняется должность цензора³⁰.

Так — не историком, не статистиком, — цензором вошел Крылов в историю русской культуры, и вошел, казалось, для того, чтобы оправдать слова Радищева, сказанные задолго до начала его деятельности: «Один бессмысленный урядник благочиния может величайший в просвещении сделать вред». Его непомерному усердию обязан был Пушкин многими затруднениями своими на журнальном поприще. Он пережил Пушкина и в 40-е го-

ды упрочил за собою славу самого трусливого и придиричивого петербургского цензора, «одно имя которого страшно для литературы»³¹. В отзывах о Крылове оказывались единодушны все — от Булгарина до Некрасова, через восемь лет после его смерти вспомилавшего о «бестолковости и трусости» «покойного Лукича Крылова»³².

«Бестолковость и трусость» — на этом сходятся все, кто сталкивался когда-либо с этим «несмысленным урядником благочиния». Он «то пропускал такие фразы, которые после того приходилось смягчать — страха ради иудейска, то зачеркивал совершенно невинные вещи»³³, он медлил, колебался и бесконечно долго держал рукописи, не решаясь подписать одобрение³⁴. В 1841 году произошел с ним крупный скандал, о котором долго помнили в цензуре: в «Библиотеке для чтения» с одобрения его и Ольдекопа была напечатана статья «Светящиеся червячки», где Сенковский рискованно и зло посмеялся над печатной программой «с-го дворянского собрания», учрежденного «для соединения лиц обоего пола». В брачных играх светящихся червячков неугомонный фельетонист усмотрел исполнение «программы почтенного собрания». Этот номер журнала попал в руки Бенкендорфа и вызвал страшный гнев. Уваров заступился за цензора, которому грозило отрешение от должности. «Я считаю долгом присовокупить, — доносил он, — что как Крылов, так и Ольдекоп принадлежат к числу благонадежнейших цензоров и всегда заслуживали особенное мое одобрение, отличаясь даже чрезмерно, в иных случаях излишнею осторожностью»³⁵.

Слишком много нужно было дипломатического умения, чтобы лавировать безопасно в лабиринтах николаевской цензурной политики. Крылов не обладал этим умением и мог предложить начальству лишь посредственность и благонамеренность. Боязнь служебных неприятностей, которые подстерегали на каждом шагу, не оставляла его ни на минуту. В нем говорил только один голос — инстинкт самосохранения, — но говорил громко и властно. Следуя ему, Крылов становился одним из винтиков огромной машины, уничтожающей просвещение, и вносил в это дело свою посильную лепту, не колеблясь и не размышляя.

На этом можно было бы окончить биографию Крылова. Но с его именем связан рассказ, который венчает его

психологический портрет. Он имеет уже косвенное отношение к личности самого Крылова и был бы похож на анекдот, если бы не совершенная его достоверность. По странной иронии судьбы, главное действующее лицо в нем тоже Крылов — но не Александр Лукич, а знаменитый его однофамилец.

Рассказ этот передал Николай Иванович Иваницкий, малозначительный литератор 40-х годов, со слов Ники-тенко.

«В 1836 году, в последний год жизни Пушкина, — повествует Иваницкий, — у Жуковского были субботы. Однажды в субботу сидели у него <И. А.> Крылов, Краевский и еще кто-то. Вдруг входит Пушкин, взбешенный ужасно. — Что за причина? — спрашивают все. А вот причина: цензор Крылов не хочет пропустить в стихотворении Пушкина — Пир Петра Великого — стихов: *чудотворца-исполина чернобровая жена...* Пошли толки о цензорах. Жуковский, со свойственным ему детским поэтическим простодушием, сказал: «Странно, как это затрудняются цензоры! Устав им дан: ну что подходит под какое-нибудь правило — не пропускай; тут в том только и труд: прикладывать правила и смотреть». — «Какой ты чудак! — сказал ему Крылов, — ну, слушай. Положим, поставили меня сторожем к этой зале и не велели пропускать в дверь плешивых. Идешь ты (Жуковский плешив и зачесывает волосы с висков), я пропустил тебя. Меня отколотили палками — зачем пропустил плешивого. Я отвечаю: «Да ведь Жуковский не плешив: у него здесь (показывая на виски) есть волосы». Мне отвечают: «Здесь есть, да здесь-то (показывая на маковку) нет». Ну хорошо, думаю себе, теперь-то уж я буду знать. Опять идешь ты; я не пропустил. Меня опять отколотили палками. «За что?» — «А как ты смел не пропустить Жуковского». — «Да ведь он плешив: у него здесь (показывая на темя) нет волос». — «Здесь-то нет, да здесь-то (показывая на виски) есть». — Черт возьми, думаю себе: не велели пропускать плешивых, а не сказали, на каком волоске остановиться». Жуковский так был поражен этой простой истиной, что не знал, что отвечать, и замолчал»³⁷.

Рассуждения Крылова запомнились ему, и он внес их в записную книжку³⁸.

Этот лукавый рассказ, эта ненаписанная басня осталась едва ли не самой пронизательной, тонкой и умной

характеристикой условий службы николаевского цензора, часто достойного осуждения, но иногда — сожаления.

Пушкину, впрочем, от этого было не легче.

* * *

Пушкин узнал о разрешении «Современника» за несколько дней до заседания 21 января.

14 числа Уварову было объявлено письменно высочайшее повеление³⁹. 17-го — предписание Уварова, повторяющее августейший текст, было получено в цензурном комитете⁴⁰. А 18 или 19 января Пушкин уже пишет Дондукову-Корсакову письмо, содержание которого известно нам лишь в самых общих чертах.

Для Пушкина уже очевидно, что на покровительство Бенкендорфа рассчитывать нечего и что отныне «Современник» отдается цензуре в безграничную власть. Но он еще не совсем ясно представляет себе, сколь слаженно работает цензурный механизм, к какому единому знаменателю приведены индивидуальные воли всех цензоров — от самого малого до самого большого. Впрочем, быть может, он понимал теперь и это — и не хотел лишь упускать ни малейшей возможности обезопасить будущий журнал от прямых цензорских придинок.

Как бы то ни было, он пишет Дондукову письмо, уведомляя его о своих столкновениях с цензурным комитетом.

Дондуков ответил очень корректным письмом 19 января. Он сообщил о назначении Крылова цензором «Современника» и выражал свое крайнее сожаление по поводу «неудовольствий», причиненных Пушкину цензурным комитетом, неудовольствий, ему, Дондукову, «еще и доселе неизвестных». Он мягко упрекал Пушкина в том, что последний не «почтил» его «уведомлением о них в свое время», и уверял, что сочтет за особенное удовольствие «отклонить все препятствия к исполнению таковых требований, если они будут сообразны с правилами, для цензурных комитетов изданными»⁴¹.

Так начиналась дипломатическая игра. Как явствует из ответа Дондукова, Пушкин не сказал прямо, какие «неудовольствия» он имел в виду, и Дондуков потому принял вид вежливого недоумения. А имел в виду Пушкин историю с печатанием «Анджело» и «Поэм и повестей», о которой Дондуков не только знал, но и сам был

вольным или невольным ее участником. «Неудовольствия» Пушкина в связи с «Анджело» были еще очень свежи в памяти причастных к ним лиц, — потому-то Никитенко и отказывался стать цензором Пушкина и, конечно, не скрыл своих резонов от Дондукова, с которым был хорош и даже дружен. Таким образом, письмо Дондукова имело второй план, который выступил на поверхность в заключительных строках его письма: они давали понять, что председатель цензурного комитета не намерен выходить за пределы своих официальных обязанностей.

При всем том Дондуков предлагал Пушкину обращаться в случае затруднений лично к нему, и этим пренебрегать было нельзя. Дондуков мог ускорить своей властью рассмотрение статей, а в иных случаях — разрешить сомнения цензоров по поводу отдельных слов и строк. Это было важно для автора и в особенности для журналиста. Мелкие исключения обесмысливали текст «Анджело» и «Сказки о золотом петушке», о чем Пушкин тоже никак забыть не мог. Он принял к сведению предложение Дондукова и не мог не принять, потому что столкновения с Крыловым начались у него с первых же дней работы над «Современником».



«Хроника русского»

Кто из нас не писал писем? Родным, знакомым, друзьям; с извещением о делах, намерениях, болезнях, радостях и других происшествиях нашей частной жизни. Конечно, такие письма писались и прежде, но не о них пойдет речь. В первые десятилетия XIX века писались письма, исполнявшие роль бесцензурных газет и свободной публицистики. Эти письма были, как правило, адресованы определенному лицу, но подразумевалось — а иногда и прямо указывалось — что их будет читать не только тот, кому они написаны, но целый круг лиц, связанных между собою литературными узами и общественными интересами. Такова, например, пере-

писка участников арзамасского братства. Письма Пушкина, М. Ф. Орлова, Вяземского, Николая и Александра Тургеневых, Дашкова были по существу не двусторонней перепиской корреспондента и адресата, а перепиской каждого из арзамасцев со всеми арзамасцами. После 1817 года, когда волею судьбы многие из них оказались на службе в разных городах России и Западной Европы, письмо стало основной формой их взаимного общения. Письма посылались в Петербург, читались в кругу арзамасцев, а затем отправлялись дальше, либо в оригинале либо в копии, в Москву, Кишинев, Константинополь, Варшаву... Письма арзамасцев включали огромный поток информации — политической, литературной, театральной, бытовой — в подавляющем большинстве случаев запретной для ведомственных русских газет. Во многих из этих писем обсуждались животрепещущие, злободневные вопросы внутренней и внешней политики.

Особым блеском отличался эпистолярный слог Вяземского и А. И. Тургенева. Для последнего письмо стало всепоглощающей страстью, тем постоянным видом литературной деятельности, благодаря которой он прочно вошел в историю русской словесности. Находясь в полуопальном положении после восстания декабристов, А. И. Тургенев на протяжении двух десятилетий, с 1825 по 1845 год, длительно пребывает во Франции, Англии, Италии, Швейцарии, Германии. Любопытнейший путешественник, он в непрерывной погоне за новыми впечатлениями: руины времен Римской империи и средневековья, готические соборы и скромные жилища знаменитых людей прошедших веков, парижские благотворительные заведения и колоссальные лондонские доки, немецкие университеты и архивы Ватикана, вольный воздух затерянной в горах родины Вильгельма Телля, успехи ремесел и промышленности, последние научные открытия, политические дебаты в парламентах, народные гуляния и, наконец, люди, бесконечный поток людей, с которыми он торопится познакомиться. И какие люди! Гете и Вальтер Скотт, Стендаль и Мериме, Гюго и Бальзак, Ламартин и Шатобриан... Тургенев ведет дневник, обо всем пишет пространные письма друзьям на родину. Изю дня в день, из месяца в месяц, из года в год...

Клокочущие новостями западноевропейской жизни письма А. И. Тургенева жадно читались и обсуждались в пушкинском кругу. 29 декабря 1835 года Вяземский пи-

сал ему: «Я читал твое письмо в субботу у Жуковского, который сзывает по субботам литературную братью на свой олимпийский чердак. Тут Крылов, Пушкин, Одоевский, Плетнев, барон Розен etc. etc. Все в один голос закричали: «Жаль, что нет журнала, куда бы выливать весь этот кипяток, сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего!»⁴²

Александр Иванович жил в это время во французской столице и сообщал приятелям злободневные парижские новости. По занесенным снегом улицам Петербурга Пушкин и его друзья торопились субботними вечерами навестить Жуковского, послушать в его гостеприимной гостиной письма пилигрима Тургенева. Живительным оазисом был «олимпийский чердак» Жуковского. Кстати, почему Вяземский так именуется квартиру Жуковского? То ли «остряк замысловатый» (так Пушкин называл Вяземского) хотел подчеркнуть, что у Жуковского собирался цвет русской словесности, писатели-олимпийцы отечественного Парнаса, то ли иронизировал над придворной карьерой Жуковского (тот был воспитателем наследника престола), намекая на то, что его жилище помещалось в Шепелевском дворце, непосредственно примыкавшем к Зимнему дворцу и считавшемся частью царской резиденции. Скорее всего, и то и другое: смысловая двуплановость часто встречается в письмах Вяземского. Как бы там ни было, в двух шагах от царских покоев, в уютной квартире Жуковского по субботам читались письма Тургенева, наполненные до краев политическими и литературными новостями.

Этот «сочный бульон из животрепещущей утробы настоящего» был сущей находкой для Пушкина-журналиста. 19 января 1836 года Вяземский писал Тургеневу в Париж: «Пушкину дано разрешение выдавать журнал, род «Quarterly Review». Прошу принять это не только к сведению, но и к исполнению и писать свои субботние письма почище и получше; только с тем, что ты не последуешь русскому обычаю вышереченному, то есть «тех же щей, да пожиже»; нет, «тех же щей, да побольше», потому что мы намерены расхоронить тебя на здоровье журналу и читателям. Пушкин надеется на тебя»⁴³.

В начале марта заканчивается подбор статей для первого тома «Современника». Вяземский дает писцу переписать каллиграфическим почерком последние февральские «донесения» Александра Ивановича; им присваива-

ется название «Париж (Хроника русского)», и вместе с другими материалами они отсылаются в цензуру. Внимательно и придирчиво читает «Хронику русского» цензор Крылов, делает отметки на полях и 23 марта письменно докладывает Петербургскому цензурному комитету.

«Находя в оной, наряду со сведениями литературного содержания и такие известия, которые помещают исключительно в повременных изданиях политических, как-то: о Фиески с другими подсудимыми, переменах министерства, спорах об уменьшении процентов и т. п., я почитаю сам не вправе допустить к напечатанию такого рода письмо вполне, без разрешения начальства; почему, отметив карандашом сомнительные места, имею честь представить оные на благоусмотрение Комитета»⁴⁴.

Неофициально о колебаниях цензора Пушкин узнал еще в середине марта: «...бедный Тургенев! — писал в эти дни Пушкин Вяземскому, — все политические комеражи <т. е. пересуды> его остановлены. Даже имя Фиески и всех министров вымараны; остаются одни православные буквы наших русских католичек да дипломатов. Однако я хочу обратиться к Бенкендорфу — не заступится ли он?»⁴⁵

И сразу же Пушкин пишет письмо (оно датировано 18 марта) председателю цензурного комитета М. А. Дондукову-Корсакову:

«Ценсурный комитет не мог пропустить письма из Парижа как статью, содержащую политические известия: для разрешения оной, позволите ли, милостивый государь, обратиться мне к гр<афу> Бенкендорфу? или прикажете предоставить сие комитету?»⁴⁶

Слова о Бенкендорфе, по всей вероятности, — тактический маневр. По установленному порядку Пушкин — равно как и цензурный комитет — в подобных случаях должен был обращаться не к Бенкендорфу, а в Главное управление цензуры, председателем которого был Уваров.

По-видимому, зная о трениях между III Отделением и Главным управлением цензуры, Пушкин стремился найти заступничество у Бенкендорфа.

Как и следовало ожидать, Дондуков-Корсаков не нарушил существовавшей субординации. 25 марта он писал в Главное управление цензуры, что Комитет, «основываясь на том, что в журнале «Современник» должны быть помещаемы статьи чисто литературные, признал се-

бя не вправе дозволить г. цензору Крылову одобрить к напечатанию в оном предметы могущие подать повод к политическим суждениям» и «по желанию издателя» предоставил Дондукову-Корсакову испросить разрешение Главного управления цензуры⁴⁷. Можно думать, что в частном порядке Дондуков-Корсаков сообщил Уварову об угрозе Пушкина действовать через Бенкендорфа. Тактический маневр Пушкина был как нельзя кстати: враждебно относившийся к нему Уваров в эти дни был особенно раздражен против поэта. Ведь как раз в марте профессор древней словесности Казанского университета Альфонс Жан Батист Жобар прислал Уварову свой французский перевод стихотворного памфлета Пушкина «На выздоровление Лукулла» с издевательским письмом. Угроза Пушкина обратиться к Бенкендорфу должна была несколько охладить Уварова — и, по всей вероятности, охладила. 7 апреля Дондуков-Корсаков объявил, что министр словесно разрешил «Хронику русского», за исключением отмеченных карандашом мест⁴⁸.

По-видимому, изъятия, произведенные Крыловым, были частично восстановлены по разрешению Уварова (цензурный экземпляр статьи не сохранился); в печатном тексте имена Фиески и министров напечатаны полностью. Однако опущен большой отрывок письма, содержащий описание процесса над Фиески и его сообщниками, и некоторые другие места: о русском министерстве финансов, о демократии, идущей к власти в Америке и странах Западной Европы⁴⁹.

Кто был Фиески? Почему описание суда над ним встревожило Крылова и Уварова?

Сорокапятилетний Джузеппе Фиески, бывший солдат неаполитанской армии Мюрата, ярый бонапартист, организовал в 1835 году покушение на французского короля Луи Филиппа. Связав 24 ружейных ствола, Фиески и другие участники заговора устроили «адскую машину». Многие приближенные короля были ранены и убиты; сам Луи Филипп уцелел.

Покушение на царя считалось самым тяжким преступлением при самодержавии Романовых; вспомним, что за умысел цареубийства были повешены Рылеев, Пестель, Каховский, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин. Пристойно ли было описывать на страницах «Современника» суд над французскими кандидатами в цареубийцы?

Прочтем же теперь, сто тридцать лет спустя, то, что запретила цензура в письме Тургенева, прочтем, как описал Александр Иванович судебный процесс над Фиески:

«15 февраля... к половине 12-го стоял уже опять у входа в камеру перов, но передо мною уже более ста человек, ожидавших с билетами впуска в камеру. В 1½ часу ввели туда подсудимых: Фиески в опрятном костюме воскресного данди и едва вошел в камеру, как начал смотреть вверх, в трибуну, где сидела Нина Ласав, и с веселою улыбкою с ней перемигиваться. За ним втащили и усадили в кресла истощенного постом и болезнью Морей; потом Пепена, в черном фраке, опрятно одетого; Буаро — мальчишку Парижа, и равнодушного, уже полуоправданного Бешера. Через пять минут мы услышали: «Суд идет!» — и началась перекличка перов; но все внимание обращено на главных подсудимых. Фиеске подают со всех сторон записки и белые листы, на коих он пишет то, что ему приходит в голову; под своими портретами, на кои смотрит приятно улыбаясь, пишет имя свое и всякую всячину. Во многих пунктах залы и трибун пишут его портреты: уверяют, что даже один из перов: Даржан списал сам портрет его. Во все продолжение защиты Буаро его адвокатом — Фиески, коего имя чаще всех повторяется, не обращает никакого внимания на речь адвоката. Даже когда Шест-Дест-Анж, блистательный из адвокатов его, начал уж свой панихидный панегирик Фиески, он все еще занят надписями на портретах, своими аутографами; иногда записывает для памяти в записной книжке своей; болтает с адвокатами; беспрестанно нюхает табак и любит свою миниатюрную табакерку. Незаметно в выражении лица — будущее судьбы его. Один Пепен смутен; Морей недвижим в креслах. Шест-Дест-Анж говорит с чувством — уступая требованию Фиески; коему, как видно, хотелось панегирика. Адвокат вполне удовлетворил его желанию и в конце искусно поставил на вид перам, что, если они не заплатят даром жизни за откровения Фиески, то останутся у него в долгу <...> Есть ли бы адвокат имел хотя *малейшую* надежду на прощение, то, конечно, обязанностию его было бы делать все усилия, клепать других, извинять его чем и как хочет; одним словом, делать все, что делал бы сам обвиняемый для своего оправдания; но с полным убеждением, что прощение невозможно, — *мне кажется,*

не надлежало бы возбуждать, *во вред нравственности*, участия или почти энтузиазма к преступнику, какими бы, впрочем, качествами ни был он прежде известен. Еще менее генерал-адвокат Мартен ди Норд мог за какой-то поступок Фиески, во время суда, назвать его поведение *почтенным!* После адвоката дали роздых на четверть часа и потом Фиески начал сам опять рассматривать жизнь свою, во всем виниться, и разыграл предание себя на волю божию столь искусно, что одним словом и жестом прошиб в нас слезы. Мы с удивлением друг на друга посмотрели и удивились впечатлению, на нас произведенному его словами, его жестом, а я был с англичанами и с военными! Были величественные моменты и слова импровизированного красноречия. Характеристика Морея, Пепена и Буаро верная, колкая, гибельная для двух первых, но в то же время — он просил сохранить им жизнь! — Самые повторения, ошибки грубые против языка, кои в иное время могли бы рассмешить, не вредили силе впечатлений. За Морея, который хотел погубить его машиной и коего он сам губит своими показаниями, он умолял как за благодетеля, который кормил, призывал его... «Я смело пойду на эшафот, не опущу вниз головы, поднимаясь на место казни; я скажу: ну что ж, стреляйте; я скажу богу: я жду ваших приказаний. Я кончил мою политическую исповедь; перед тем как умереть, я исповедуюсь по законам религии. Мне нечего больше добавить».

Это были последние слова его и эти слова как-то облегчили душу мою. — Ни на минуту Фиески не ослабел ни в голосе, ни в движении руки, указывая иногда на свои раны в голове, из коих вынуто более 20 костей!

Невыразимо действие, которое он произвел на слушателей: все молчало. Фиески — не Ласенер <Ласенер — уголовный преступник, присужденный к смертной казни в то же время в Париже>. Все во мне волновалось; в первый раз я видел и слушал Фиески с каким-то отвращением к нему: вчера я нашел в сердце что-то иное к нему, что-то похожее на жалость, на христианское милосердие; и результат для меня всех дум моих — было новое убеждение, что загадка жизни и смерти, нравственности и оправдания перед богом — разгадывается одним христианством и словом на кресте: «днесь со мною будещи...» Между тем сегодня, в сию минуту ре-

шается участь Фиески и его сообщников; а завтра он будет уже перед другим судом!..

16 февраля... Сегодня узнал я о приговоре Фиески, Морей и Пепена — в минуту, когда, вероятно, совершилась казнь их. Их провезли на новое место казни, в открытой фуре: Фиески босоногий, в одной рубашке и покрыт черным покрывалом: это обряд для царевубийц. Прежде отсекали им руку, так, как и Лувелю. С 1830 года это отменено.

Фиески обедал вчера в последний раз с своею Ниной! Не знаю еще подробностей его последних минут: но уверяют, что он сам потребовал священника.

Вчера не попал в камеру перов; хотя велено было впускать всех ввечеру, когда президент прочел приговор в собрании перов. Сказывают, что во время их делиберации в другом апартаменте, полусвет слабоосвещенной, но полной залы собрания наводил какой-то полутрепет на публику. Даже переключка перов была тихая и ответы едва слышны.

17 февраля. Вчера казнь не совершилась: публика обманулась в ожидании. Пепен объявил, что намерен сделать важные откровения, и генерал-прокурор явился к нему для выслушания оных; но в девять часов утра надели на *трех — камзол (с рукавами) — осужденных на смерть*. Морей сохранил свой характер твердости; Пепен прощался с женою и с четырьмя малолетними детьми; Фиески провел вечер 15-го февраля, когда камера решала судьбу его, с Ниной своей, обедал с нею и сказал ей: «Ах, ах, моя дорогая, меня сейчас разыгрывают в лотерею». Она вышивала его вензель на платках его; он запретил ей плакать и расстраивать твердость духа его. Вчера разбудили его от крепкого сна. Нина говорит, что, узнав о приговоре, он помешался в уме; другие уверяют — и это вероятнее, что он умолял даже на коленях, чтобы на него не надевали камзола и позволили идти пешком на место казни; но во всем отказали ему. Как видно, ему хотелось еще показать свою твердость духа и блеснуть ею перед толпами; но наконец, как слышно, священник образумил его, представив ему, что и смерть праведного была сопровождена стыдом и поношением»⁵⁰.

На глазах читателя меняется отношение Тургенева к главному заговорщику: если вначале мы улавливаем нотки недоброжелательства и даже неприязни, то постепенно нарастает его невольное сочувствие мужественно-

му поведению Фиески перед лицом смерти. Цензура изъела эти страницы: в печатном тексте остались лишь беглые упоминания о процессе и первоначальная, довольно сдержанная характеристика Фиески. Непристойно было восхищаться тем, кто покушался на жизнь помазанника божьего.

История с прохождением в цензуре «Хроники русского» затрагивает один из крайне болезненных вопросов русской журналистики того времени: является ли подобная хроника политической или литературной. В черновом письме к цензору Крылову Пушкин писал:

«Князь М. А. Корсаков писал мне, что «Письма из Парижа» будут рассмотрены в высшем комитете. Препровождаю их к Вам; одно замечание: «Письма из Парижа» Тургенева печатаются в «М<осковском> наблюдателе» не как статьи политические, а литературные»⁵¹.

Это замечание Пушкина было исключительно важным, ибо указывало на прецедент: «Отрывки из заграничной переписки» Тургенева были напечатаны в 1835 году в журнале «Московский наблюдатель». Гибридный жанр литературно-общественной хроники давал возможность отвергать нарекания цензуры в нарушении программы «Современника»: характер писем Тургенева позволял (конечно, при соответствующем желании!) отнести их к «литературным» и миновать, таким образом, цензурные межевые столбы.

Учитывая эти цензурные тонкости и затруднения с опубликованием писем Тургенева в первом номере «Современника», Вяземский писал ему 8 апреля 1836 года:

«Разумеется, пуше всего нужно литературности и невинной уличной и салонной жизни. Политика, то есть газетная политика, не годится, или умеренно, потому что дозволен только журнал литературный, но историческую политику милости просим»⁵².

Такое требование вызвало недоумение Тургенева, понимавшего зыбкость грани между политикой и литературой в современной жизни, и в особенности в жизни Западной Европы. Живя в Париже, он не мог быть искушен в тонкостях цензурной казуистики и возразил Вяземскому столь же логично, как и наивно:

«Хотя я давно знал, что наша журналистика, как девица-красавица, во селе, селе Покровском «без политики росла», но как-то странно будет, если Пушкин совершенно исключит этот элемент из своего «Современни-

ка»: литература без политики не будет уже *современною* нам литературою, и я думаю, что и в этом случае «*est modus in rebus*»*. Биографическая статья о Тьере, прием в Академию Сальванди, академическое торжество Гизо: все это, хотя и прикосновенно политике, может, однако ж, войти в состав петербургского Review.

В стихах «На выздоровление Лукулла» гораздо больше *политики*, чем в моих невинных донесениях о Фиески»⁵³.



Цензор Гаевский

Слухи о цензурных тяготах Пушкина доходили до Москвы. 7 апреля И. И. Дмитриев сообщал литератору и журналисту П. П. Свиныну: «...пишут из Петербурга к одному из здешних журналистов, что Пушкин, еще не выдав первой книжки, уже надоелся в жарких состязаниях с цензорами, и думают, что неостанет его терпения на годовичное издание «Современника»⁵⁴. Но тернистый путь журнальной работы еще только начинался для Пушкина, хотя слухи были верны, а терпение иссякало. 6 апреля он сел за письмо Дондукову-Корсакову. Письмо не давалось; Пушкин писал, многократно зачеркивая, вставляя, опять зачеркивая... С таким трудом пишутся любовные письма, полные намеков, недосказанностей, дипломатии чувств.

Здесь была иная дипломатия, не менее трудная, но не сулившая никакой надежды.

Это второе известное нам обращение Пушкина к Дондукову на протяжении одного месяца. Первое, как мы помним, закончилось полным неуспехом. Все же Пушкин делает новую попытку — и не без тайной мысли.

Он маскирует эту мысль почтительностью тона и многочисленными оговорками, предупреждающими возможные возражения. Он благодарит председателя комитета

* Есть мера в вещах (лат.)

за «благосклонное снисхождение», с которым были разрешены все статьи для его журнала. Он не собирается жаловаться и на «излишнюю мнительность» цензора Крылова, ибо знает, «что на нем лежит ответственность, может быть, не ограниченная Цензурным Уставом». Он лишь обращает внимание князя на то, что статьи «Современника» постоянно задерживаются, потому что Крылов считает необходимым каждую из них представлять в комитет, подвергая таким образом двойной цензуре и вынуждая издателя поминутно беспокоить князя запросами по поводам мелким и ничтожным.

Вряд ли можно было ожидать, что письмо Пушкина встретит сочувствие у председателя комитета. Дело в том, что к 6 апреля Крылов представлял в комитет три «статьи»: «Хронику русского», о которой шла речь выше, статью Гоголя «Петербург и Москва (из записок дорожного)», рассмотренную в заседании 20 марта, и повесть Гоголя «Коляска» (3 марта). Во всех трех случаях комитет согласился с изменениями, предложенными Крыловым, и благодарить Дондукова как будто было не за что. Правда, у Пушкина были и другие столкновения с цензором, не отразившиеся в документах комитета, — хотя бы по поводу строк в «Пире Петра Первого», но здесь, по-видимому, Крылов уступил сам.

Строки о «двойной цензуре» и задержках издания председатель отчеркнул карандашом по полю и поставил значок «NB».

«Осмеливаюсь просить Ваше сиятельство, — так заканчивал Пушкин, — о дозволении выбрать себе еще одного цензора; дабы таким образом вдвое ускорить рассмотрение моего журнала, который без того остановится и упадет»⁵⁵.

В этом «выбрать» заключался смысл просьбы. Выбор был невелик — из числа шести членов комитета. Конечно, Пушкин предпочел бы обратиться к Сербиновичу, цензуровавшему когда-то «Литературную газету», или к В. Н. Семенову. Но Сербиновича давно уже не было в комитете, а Семенов уходил: 14 апреля он последний раз присутствует на заседании. Для Пушкина оставался только один возможный цензор, и этот единственный был Петр Александрович Корсаков, о котором еще пойдет речь.

Дондуков ответил 10 апреля: «Согласно желанию Вашему, дабы ускорить рассмотрение издаваемого Вами

журнала, я вместе с сим делаю распоряжение о назначении для этого предмета...»

Письмо было предельно вежливым и даже любезным. Князь был «рад сему случаю доказать» милостивому государю Александру Сергеевичу на опыте свою «всегдашнюю... готовность содействовать... скорейшему изданию журнала и сочинений» его. Поэтому он назначал в помощь Крылову *коллежского советника Гаевского* и в тот же день переслал письмо Пушкина секретарю комитета, предложив ему поставить в известность о назначении обоих цензоров — и старого и нового. 11 апреля решение Дондукова было закреплено официальными письмами Крылову и Гаевскому⁵⁶.

Итак, о «выборе» цензора не могло быть и речи. Цензор назначался, в порядке особого исключения и уважения к «отличному нашему сочинителю». Оставалось благодарить, ибо совершившееся было необратимо. Павел Иванович Гаевский должен был приступить к исполнению своих обязанностей.

Знал ли Дондуков-Корсаков, что Гаевский — один из самых придирчивых службистов во вверенном ему комитете? Было ли его вежливое письмо Пушкину холодно рассчитанным ударом, а готовность «содействовать скорейшему изданию журнала» — затаенной насмешкой? Или он, не вникая в административные и психологические тонкости, избрал цензора, по его мнению, более способного или менее загруженного? Внутренние побуждения председателя комитета, вероятно, останутся скрытыми от нас. Мы располагаем только одним свидетельством — записью в дневнике Никитенко, осведомленного, критически мыслящего и в то же время доверенного лица Дондукова-Корсакова. «Пушкина жестоко жмет цензура. Он жаловался на Крылова и просил себе другого цензора в подмогу первому. Ему назначили Гаевского. Пушкин раскаивается, но поздно. Гаевский до того напуган гауптвахтой, на которой просидел все семь дней, что теперь сомневается, можно ли пропускать в печать известия вроде того, что такой-то король скончался»⁵⁷.

Качества Гаевского были известны Никитенко. Он говорит о них как об общеизвестной вещи. Значит, о них знали и другие коллеги его по Санктпетербургскому цензурному комитету, и трудно представить себе, чтобы Дондуков оставался в неведении.

Письмо Дондукова уже не застало Пушкина в Пе-

тербурге. В эти дни ему было и не до письма. Умирала Надежда Осиповна. 8 апреля тронулись траурные дроги. Пушкин вез тело матери в Михайловское, к месту последнего успокоения⁵⁸.

Накануне смерти и похорон матери он должен был оставить все дела, оставить «Современник», уже лежащий в типографии, под присмотр Плетнева и Вяземского.

Трудно предположить, что 7 или 8 апреля он знал уже о решении Дондукова, да вряд ли оно и созрело у председателя комитета ранее десятого числа.

Тогда запись в дневнике Никитенко, датированная 14 апреля, загадочна. Пушкин был в Михайловском, и «раскаиваться» в своей опрометчивости не мог. Он вернулся в Петербург только 16 числа⁵⁹.

Вероятно, дата записи поставлена ошибочно, — и тогда перед нами один из многих случаев хронологической путаницы, которую допускала С. А. Никитенко, готовя к печати и редактируя дневники своего отца⁶⁰.

Что же касается реакции Пушкина на ответ Дондукова по возвращении в Петербург, то свидетельство Никитенко весьма вероятно по целому ряду причин и в первую очередь потому, что Гаевский не был для Пушкина лицом совершенно новым.

* * *

В одном из своих стихотворных фельетонов Некрасов нарисовал портрет ветерана николаевской цензуры. Он заставил «старца», отложив в сторону газету, изложить читателю свое кредо, вспомнить не без затаенной гордости, как находил «вредные мысли» (он называл их «канупером») в сочинениях Купера и Вальтера Скотта, и пожаловаться на измену детей, стыдящихся честного цензорского звания своего родителя.

Именно так, вероятно, должен был бы исповедоваться Павел Иванович Гаевский, будь он на месте некрасовского цензора. Он с наименьшей пронизательностью обнаруживал вредные мысли и даже мог бы называть их «канупером», так как был родом с Полтавщины. Сын его Виктор Павлович Гаевский был видный либеральный деятель, литератор, филолог и друг Некрасова. Биографии двух цензоров — реального и воображаемого — имели много общего; не привнес ли Некрасов в цензора из «Газетной» нечто от Павла Ивановича Гаевского?

В 1836 году Гаевскому было тридцать девять лет. За

плечами его было обучение в Полоцкой духовной академии, которую окончил он со званием магистра, служба в разных канцеляриях — духовных и гражданских. В 1825 году он обосновался в канцелярии министерства народного просвещения, а в 1826 году был назначен цензором в Санктпетербургский цензурный комитет — одновременно с его давним знакомым еще по Полоцку Константином Степановичем Сербиновичем⁶¹. 10 августа 1826 года он извещает об этом Сербиновича, не скрывая своей радости. «Вчера Василий Николаевич <Семенов> уведомил меня о сотворении нас цензорами, — пишет он. — Душевно поздравляю тебя. Дал бы бог, чтоб усердие наше к пользе общей заменило неопытность нашу по сей части!»⁶²

Вероятно, Гаевский несколько скромничал, ибо все не был новичком в делах литературной политики. Но обещание возместить неопытность служебным рвением он выполнил, и очень скоро, — именно тогда, когда в руки ему попала рукопись академического «Месяцеслова» на 1827 год.

Цензурование этого солидного и совершенно благонадежного ведомственного издания неожиданно оказалось не спокойным и даже не вполне безопасным. Месяцесловы имели обыкновение с летописным бесстрашием фиксировать достопамятные события ближайших лет. Ближайшие же годы были 1825 и 1826. И вот:

«Декабря 14.

По обнаружении *Высочайшего* манифеста о восшествии на престол, тогда когда все Государственные сословия и чины воинские, народ и войско единодушно приносило присягу в верности государю императору Николаю Павловичу и его наследнику, горсть непокорных, здесь, в столице, дерзнула противостать общей присяге, закону, власти, военному порядку и убеждениям. Надлежало употребить силу, чтоб рассеять и образумить сие скопище. Вследствие сего смутного происшествия взяты под стражу главные зачинщики мятежа; а рядовым, вовлеченным в сей мятеж обманом и изъявлявшим живейшее раскаяние, даровано высочайшее прощение. Оный мятеж обнаружил существование весьма гнусного заговора, имевшего целию ниспровержение престола и отечественных законов, превращение порядка государственного и введение безначалия. Высочайше учрежденной на сей случай Следственной комиссии предоставлено бы-

ло открытие сих ужасных преступлений и злобных замыслов во всем их пространстве и подробности»⁶³.

Анонимный сочинитель явно не понимал политики. Гаевский ее понимал. Дело было вовсе не в том, чтобы осудить заговор как гнусный: распространяться о нем с подробностью вообще было неуместно. Злоумышления против империи не было, иначе был бы соблазн. Были частные и быстро ликвидированные беспорядки. И Гаевский пишет:

«Нужно ли в Календаре описывать сие с такою подробностью? Не лучше ли упомянуть о сем слегка и короче, например, следующим или тому подобным образом:

«В то время некоторая *малая* часть воинских команд, введенная в заблуждение, дерзнула *оказать неповиновение*, которое вскоре укрощено было; но при сем открылось *преступное злоумышление некоторых* участвовавших в том *разного звания лиц*, из коих главнейшие зачинщики по суду Государственного совета и Сената осуждены на казнь, другие же сосланы в заточение, а прочие, менее виновные, прощены»⁶⁴.

Сочинитель статей о памятных событиях и далее продолжал проявлять бестактность, упомянув под генварем 1826 года о «возмущении части Черниговского полка» — «мятеже», принадлежащем «к обнаруженному уже гнусному заговору». В тоне цензора слышится раздражение:

«Мне кажется, нет никакой надобности упоминать и оставлять о сем память в Календаре; о худых примерах лучше умалчивать, нежели твердить об них и предавать во всенародное известие»⁶⁵.

Строго говоря, такие ремарки не входили в обязанности цензора. Но на заре своей деятельности Гаевский не в силах сдержать благородное негодование, тем более, что далее следует:

«1826. <...> Июль.

13. Поутру вследствие оных приговоров, смягченных Его Величеством, преданы смертной казни публично пять самых главных преступников Государственных; прочие же Государственные преступники получили тогда же определенное им наказание и сосланы по назначению. Таким образом очищена навсегда Святая Русь от оной заразы, извне нанесенной и уже давно гнездившейся. По сему случаю принесено было благодарственное молебствие Всемогущему творцу следующего дня поутру, на Сенатской площади, на том самом месте, где

семь месяцев тому назад, при внезапном мятеже, открылась тайна гнусного заговора».

Здесь уже неизвестный сочинитель преступил все правила прямого приличия. Ему нужно сказать об этом раз и навсегда.

«О сем также сказано уже было выше сего и довольно сказать однажды. Желательно, чтоб подобные происшествия, для чести Государства, в самой Истории забыты были, но распространяться и твердить о них в календарях под именем *достопамятных событий*, кажется мне, есть ли не обманываюсь, весьма не пристойно и не полезно. Притом же и в выражениях надобно наблюдать осторожность, чтобы не могло выходить из них некоторого нехорошего смысла, как то здесь сказано: «вследствие оных приговоров, смягченных Его Величеством, *преданы смертной казни*», слово *смягченных* при словах *преданы смертной казни*, делает некую несовместную игру слов»⁶⁶.

Стоило привести эту длинную выписку, чтобы наглядно представить себе, с чего начинал свою деятельность неопытный двадцатидевятилетний цензор. Любой политик мог бы позавидовать и поразительной тонкости чутья, с какой этот новичок улавливал самый дух официозной легенды о восстании, и его искусству насыщать этим духом каждое слово, каждый оттенок и оборот. А в верноподданническом пафосе его комментариев слышатся уже и какие-то учительные интонации. Здесь нет и следа нерешительного, боязливого упорства Александра Крылова — но активное, действенное «усердие к пользе общей». Да, это был «цензор милостью божьей», и даже более чем цензор.

Годы приучили Гаевского быть осторожнее. Приходилось иметь дело с авторами, а не с анонимами. Авторы были строптивы. «По цензуре покамест у меня нет еще неприятностей; что дальше будет? Греч со мною, как рыба с водою; но я на это не полагаюсь», — пишет он Сербиновичу 25 июля 1829 года⁶⁷. Не далее как за год до этого у него были столкновения с Булгариным; раздраженный вычерками в корректуре «Северной пчелы» и «Сына отечества», «бешеный поляк» писал ему полуугрожающие, полуистерические письма⁶⁸. Гаевский пытался устранился и передать Булгарина под эгиду Сенковского или Сербиновича. Но на горизонте уже проявлялся другой «враг» — Воейков с «Славянином» и «Ли-

тературными прибавлениями к Русскому инвалиду», — субъект не менее беспокойный, чем Булгарин, с той же склонностью ввязываться в журнальные свары, писать личности и задевать все и вся. Еще в начале 1829 года их отношения переживали медовый месяц: Воейков льстиво поручал себя в благорасположение Гаевскому и просил все недоумения решать сразу же, на месте. Затем ему понадобилось восстановить отдельные слова, впрочем, невинные. С Воейковым нужно было держать ухо востро: все, что он писал, непременно сбивалось на пасквиль, на личность. Поэтому Гаевский предпочитал вычеркнуть лучше лишнее. К августу 1830 года Воейков начал роптать и спрашивать, почему из его статьи вычеркнута фамилия «Крокодилов», а вельможа «Гидрин» оставлен⁶⁹. Ответить на этот вопрос, действительно, было нелегко. Наконец, терпение Воейкова лопається: «Исключение слова «Крокодилов» выбрано мною как самый разительный, ясный как день, неподверженный никаким толкам и пересудам пример самосуда». «Вы, извините мою откровенность, вносите в комитет всякую безделку, в которой нет тени к сомнению, представляете оную с такой ужасающей точки, что и комитет начинает сомневаться, и статья, стоившая труда и времени, иногда запрещается»⁷⁰. Воейков был пасквилянт с неоспоримой репутацией, но, как ни странно, в оценке Гаевского он оказался прав.

Не обходилось и без служебных неприятностей. С 20 по 28 марта 1829 года он высидел на гауптвахте в Гребном порту за промах, не наносивший, впрочем, большого ущерба государству. Гауптвахта была не обременительна, но дело о служебном упущении тянулось чуть не четыре года, и формуляр грозил сделаться нечист⁷¹, в конце концов обошлось. Никитенко посмеивался над ним, что будто он не пропускает от трусости известий, что-де такой-то король скончался. Но дело здесь было не только в трусости.

Дело было и в том, что Павел Иванович Гаевский знал совершенно точно, в каком направлении должна идти отечественная словесность и в каком не должна. Он сам был некоторым образом к ней причастен и перевел с польского и французского несколько сочинений. Нынешнее состояние словесности его глубоко не удовлетворяло, и он считал нужным каждый раз отмечать это в пространных рапортах. Однажды случилось ему цензу-

ровать рукопись капитана Бурачка, где автор обличал барона Брамбеуса в безнравственности, неблагонадежности и кощунстве; козни барона посрамляет добродетельный моряк Линьков, который велит высечь его линьками. Незаурядному этому творению Гаевский посвятил особый разбор. Он затруднялся одобрить рукопись, как содержащую явную личность, но запрещение его не было безусловным. «Я далек от того, — писал Гаевский, — чтоб благонамеренный труд автора решительно подвергнуть запрещению. Напротив, надобно желать, чтоб бедная литература наша обогащалась сочинениями в таком прекрасном религиозно-нравственном духе <...> Автор <...> постиг кривое направление большей части наших словесников и настоящим сочинением подает пример, в каком духе надобно писать в наше время, когда действительно так видима холодность ко всему религиозному»⁷². Он с восторгом пишет заключение о книге Виктора Лебедева «Правда русского гражданина», предлагая разослать ее для народного чтения по губернским публичным библиотекам: «Правду русского гражданина с пользою могут читать и перечитывать все сословия, потому что книга эта написана в прекрасном духе: каждая статья доказывает благородное намерение автора принести соотечественникам пользу, внушением любви к отечеству и государю и к обязанностям каждого гражданина. Подобные книги, по моему мнению, стоят не только одобрения, но и поощрения правительства. Одна такая книжка может принести более пользы, нежели томы высокопарных творений, недоступных понятию народной массы»⁷³.

Это был символ веры проводника в практику теории «официальной народности», сформулированной шефом — министром Уваровым. «Томы высокопарных творений» создали литераторы привилегированные, напоенные ядом растлевающих крамольных идей. Им-то и противопоставлялась «народная масса» — хранительница «устоев», а перед творениями их воздвигался заслон из книг доступных и благонамеренных.

Требование «демократизма» далеко не всегда имело прогрессивный смысл. Самые косные, охранительные идеи в 30-е годы прошлого века часто выступали под флагом демократии.

Этим охранительным демократизмом был насквозь проникнут Гаевский, в 1837 году — статский советник,

вице-директор департамента министерства народного просвещения, а в будущем — правая рука Уварова, ордена св. Анны с императорской короной, ордена св. Анны I степени, ордена св. Владимира и прочих российских орденов кавалер. Через два года, посетив Москву, он будет писать жене в неподдельном патриотическом восторге о «жилище добрых Русских царей», пробуждающем в нем «исторические воспоминания»⁷⁴.

И забота о престиже царей и о воспитании «простого народа» звучит как лейтмотив всей деятельности Гаевского.

«...Прилично ли, и не вредно ли печатать на русском языке книгу, заключающую в себе развитие заговора против Государя», подобную драме Дюма «Генрих III и его двор»; ведь книга будет обращаться «между людьми всякого состояния»?⁷⁵

Следует исключить из «Обрученных» Манцони сцены бунта, «потому что пользы от описания народного буйства произойти не может, а вред от оногo весьма возможен»⁷⁶.

Пьеса «Цезарь, диктатор Рима», перевод на польский из Вольтера, «наполнена тирадами против верховной власти...»⁷⁷

Его деятельность кончилась в 1864 году, когда он в чине тайного советника оставил службу и доживал свои дни на покое, всецело поглощенный домашними делами. В его семейной переписке и дневниковых записях нет и следа литературных тем, никаких ассоциаций, никаких воспоминаний о выдающихся деятелях русской культуры, с которыми столкнула его судьба. Лишь в письме от 12—23 сентября 1857 года, писанном за границу, где путешествовал в это время сын, будущий литератор В. П. Гаевский, есть упоминание о литературе и вместе с тем жизненное кредо автора:

«Николай говорит, что если ты не воротишься, потеряешь всю карьеру служебную, а в нашем положении, завися от службы, нельзя пренебрегать ею. Ты намерен выйти в отставку?! Сам имеешь разум: рассуди, какие будут последствия? На чем основываешь свои надежды? Неужели на литературном труде? Это чистая фантазия. Бог дал тебе способности, употреби же их в дело, насколько позволит здоровье»⁷⁸.

Когда в апреле 1836 года перекрестились пути Пуш-

кина и Гаевского, Пушкин имел о своем новом цензоре достаточно ясное представление.

В 1827 году Главное управление цензуры направило министру народного просвещения письмо следующего содержания.

«О двух стихотворениях А. Пушкина: 19-е октября и К***».

Г. цензор надворный советник Гаевский внес на общее суждение Главного цензурного комитета два стихотворения Александра Пушкина под названием: 1. «19-е октября» и 2. «К***», которые предназначаются для помещения в издаваемом бароном Дельвигом альманахе «Северные цветы». В стихотворениях сих автор, говоря о самом себе, употребляет некоторые выражения, которые напоминают о известных обстоятельствах его жизни; таким образом в пьесе «19-е октября» он говорит:

Поэта дом *опальный*,
О П — мой, ты первый посетил;
Ты усладил *изгнанья день печальный*...

и далее: Когда *постиг меня судьбины гнев* и проч.

Наконец, в предпоследнем стихе он называет себя *опальным затворником*.

Равным образом в другом стихотворении: «К***» он говорит:

В глуши, *во мраке заточенья*,
Тянулись тихо дни мои.

Сверх того первое стихотворение содержит в себе не совсем правильное понятие о будущей жизни — в следующих стихах:

Невидимо склоняясь и хладея,
Мы близимся к началу *своему*.

Главный цензурный комитет, находя затруднение к напечатанию вышеприведенных выражений в стихотворениях А. Пушкина, которые могут подать повод к различным толкованиям и применениям, долгом почитает представить об оных на благоусмотрение и разрешение Вашего высокопревосходительства.

Председатель Главного цензурного комитета
Лев Карбоньер⁷⁹.

Гаевский был верен себе. Его указания на «ложное представление о будущей жизни», выраженное в стихах

«мы близимся к началу своему», — напоминало времена блаженной памяти Красовского. Министр не согласился с ним и разрешил печатать стихи; они появились в «Северных цветах» без изменений.

После этого Пушкину не часто приходилось иметь дело с Гаевским, но всякий раз его имя связывалось с какими-нибудь шумными цензурными историями. С 17 сентября по 8 октября 1829 года тянулось дело о пропуске статьи Пушкина «Отрывок из литературных летописей», которую Егор Аладьин собирался напечатать в «Невском альманахе». Гаевский вновь подал письмо, где указал, что «объявил г. Издателю о несогласии» своим на пропуск оной статьи⁸⁰. Статью рассматривали в комитете, потом в Главном управлении цензуры⁸¹, она не была пропущена и лишь через месяц в переделанном виде явилась в «Северных цветах»⁸².

В заседании 3 декабря Гаевский вместе с Сербиновичем возражал против напечатания в «Северных цветах» стихотворения «26 мая 1828», «в котором поэт жалуется на того, кто враждебной властью вызвал его из ничтожества к жизни, не представляющей ничего, кроме мучения, единообразного шума, пустоты сердечной, душевных страстей и страданий ума». Прочие же члены комитета положили «в вымыслах не требовать строгой точности, свойственной описанию предметов высоких и сочинениям важным» и позволили печатать⁸³. И почти в то же время Гаевский представил в комитет эпиграмму «Собрание насекомых», сомневаясь, «не заключает ли она в себе эпиграммы на известные какие-нибудь лица, хотя на месте имен и поставлены одни только знаки»⁸⁴. Гаевский никак не мог научиться воздерживаться от разгадывания затаенных мыслей автора. Комитет допустил стихотворение к печати. Вообще комитет нередко оказывался либеральнее Гаевского.

Одному богу известно, каким образом Гаевский не обратил внимания, что его цензорская подпись стоит под очевидно подозрительными стихами «19 октября 1827»: в них упоминались «друзья» сочинителя «в мрачных пропастях земли», за что Пушкин получил высочайший выговор. Воейков, представляя эти стихи для своего «Славянина», озаглавил их «К товарищам молодости» и пустил без подписи; Гаевскому же передал вместе со статьей «Долг платежом красен» и стихами «На смерть молодой девушки» и «Совет красавице». Чутье Гаевско-

го, видимо, изменило ему на этот раз, и он пропустил стихи 27 июня 1830 года без прекословия⁸⁵. Еще через год он ставит свою подпись на брошюре со стихами «Клеветникам России»; это не сулило ему неприятностей; он, вероятно, даже сочувствовал «духу» стихов, которые понимал по-своему. Есть сведения, что стихи эти назывались вначале «На речь, говоренную генералом Лафайетом» и что цензура предложила заменить название, — но рекомендация шла, вероятно, не от Гаевского, а из III Отделения⁸⁶ или, еще вероятнее, из цензуры министерства иностранных дел. Но и прошлых столкновений с ним было совершенно достаточно, чтобы Пушкин обеспокоился, узнав, кого назначили ему вторым цензором для «Современника».

И здесь странным образом история обрывается. Принял ли Пушкин свои меры, говорил ли он с Дондуковым или были тому какие-то другие причины, — но ни одна статья для «Современника» через руки Гаевского не прошла. Как будто и не было официального назначения. Крылов остался единственным цензором пушкинского журнала.

Впрочем, цензору Гаевскому предназначено было еще раз принять в литературной судьбе Пушкина косвенное участие.

* * *

Оставим на время Гаевского и вернемся к Крылову, который продолжал цензуровать «Современник» и 16 июля 1836 года подал Дондукову-Корсакову за № 342 «донесение» следующего содержания:

«Имею честь представить на благоусмотрение и разрешение Вашего сиятельства следующие статьи, поступившие ко мне на рассмотрение, для периодического издания: *Современника*.

1) Стихотворение Ден. Давыдова, *Челобитная*, включает в себе пожелание Автора, чтобы ненаименованный Патрон помог ему продать в казну дом за сто тысяч; сомнение мое допустить статью сию в настоящем виде основывается преимущественно на изображении Патрона и полиции, представленном в начальных стихах.

2) Из мелких стихотворений Ф. Т., доставленных к издателю из Мюнхена, два №№ XV и XIV останавливают меня в одобрении потому, что в первом (XV) я не мог усмотреть действительной мысли Автора; а во вто-

ром (XVI) две средние строфы подлежат, кажется, исключению по первому пункту Ценсурного Устава.

3) Статья под названием *О Партизанской войне* заключает собственно дидактическое изложение сего предмета; однако ж Автор, применив его к России и приводя в пример события 1812-го года, старается доказать, что род войны партизанской нигде не может получить большего развития и должен быть потому грозою для прочей Европы. На сем основании имею честь представить на благоусмотрение Вашего сиятельства, не надлежит ли, статью сию, как заключающую изложение предмета воинского искусства, с применением к современному быту России, препроводить на заключение Цензуры военного министерства.

4) Биографическая и критическая статья: *Александр Радищев* с Эпиграфом: «Il ne faut pas qu'un honnête homme mérite d'être pendu» напоминает о лице и происшествии времен императрицы Екатерины II. Радищев, посланный на щет Правительства, для усовершенствования себя в иностранных Университетах, возвратился в Россию, напившись, как и другие сверстники его, философиею того века; напечатал возмутительное сочинение в домашней типографии и по повелению императрицы сослан был в Сибирь. Император Павел I приказал его возвратить, а Александр I соизволил и на принятие в службу, по Комиссии по составлению законов. Несмотря на то, Радищев повторил старые свои идеи в одном проекте, составление которого было ему поручено от Начальства. Граф З. сделал, по сему случаю, замечание, и уstraшенный Радищев отравил себя ядом. Жизнь Радищева, литературные произведения и преступление, навлекшее на него ссылку, составляют предмет упомянутой статьи, назначаемой для периодического издания «*Современник*»; не зная, в какой степени может быть допущено возобновление подобного факта в периодическом издании и находя, с другой стороны, что некоторые сведения должны быть заимствованы из официальных бумаг, долгом почитаю представить на благоусмотрение Вашего сиятельства, не благоугодно ли будет испросить по сей статье разрешения Главного управления цензуры.

Ценсор А. Крылов.

16 июля 1836.»⁸⁷.

Письмо это — документ исключительный; едва ли не единственный раз в цензурной практике этого времени

четыре статьи для одного номера журнала выносятся на суд и решение цензурного комитета. Если мы вчитаемся в текст письма, мы сможем заметить, что в нем нет никакой злонамеренности в отношении «Современника».

Более того, здесь есть несколько «подсказок», пользуясь которыми можно сохранить статьи. «Дидактическое изложение предмета» в статье «О партизанской войне» означает, что основная ее часть могла бы и не пересылаться в военную цензуру, которая просматривала только статьи о современных или недавних событиях, относящихся к русской военной истории. Цензор колеблется; пусть ответственность возьмет на себя комитет. И даже статью «Александр Радищев», к которой у него явно настороженное отношение, он не считает нужным осудить безусловно на запрещение, замечая, что «некоторые сведения» в ней «должны быть заимствованы из официальных бумаг», — а это, с точки зрения цензуры, является довольно серьезным доводом в ее пользу.

Так за официальным письмом раскрывается некая перспектива, ведущая нас не только в индивидуальную психологию самого Крылова, — чем можно бы и пренебречь, — но в общественную психологию времени. В мозгу чиновника министерства народного просвещения прочно отпечатлелось требование возводить «умственные плотины», за что отвечал в первую очередь он. Но между двумя огнями — начальством и журналистом, — он чувствовал себя в неуверенности, и сознание его раздваивалось.

И было отчего, ибо самая воля начальства оказывалась величиной хотя и вполне реальной и даже чреватой последствиями, но не слишком определенной. Министр предлагал постигать направление цензуры не из устава только, а из «хода вещей», стремительного и прихотливого. Да и самая цензура с каждым годом все менее и менее походила на ту организацию, на которую возлагали столько радужных надежд в апреле 1828 года.

Она теряла свой первоначальный вид и функции. У нее появлялись новые права и новые обязанности. Она возникала в многообразных обличьях, цензоры носили академические мундиры, мундиры военные, почтового ведомства; они рядились в духовное облачение. Один цензор назывался митрополит Серафим; в январе Бен-

кендорф передал ему высочайшую волю, чтобы он «в таких случаях, когда в издаваемых для всеобщего употребления сочинениях усматриваемы будут противные вере, нравственности и общественному устройству суждения либо неблагонамеренности», сообщал бы об оных Бенкендорфу для доведения до высочайшего сведения»⁸⁸. Но это уже было неофициально.

Официально же существовало явление, которое историки называли «множественностью цензур»⁸⁹.



О цензуре земской и удельной и партизанском рейде Дениса Давыдова

Была духовная цензура синода, медицинская цензура для лечебников и медицинских журналов, цензура министерства внутренних дел для афиш и объявлений. Так значилось в уставе 1828 года. Потом министр финансов заявил о своем праве дополнительно цензурировать книги, касающиеся дел его министерства. Проходит несколько лет — и Горный департамент уравнивается в цензорских правах с министерством финансов. Издатели журналов с немым отчаянием наблюдали, как добрая половина статей не торопясь странствует из Санктпетербургского цензурного комитета в ведомство почтовое или горное, затем возвращается обратно для нужных исправлений и только после этого начинается обычная процедура цензурования.

В декабре 1833 года военный министр граф Чернышев уже официально потребовал, чтобы все статьи, так или иначе описывающие военные действия российской армии, равно как и содержащие сведения о современных военных событиях, направлялись ему для просмотра⁹⁰. Министр отдавал их затем в Военно-цензурный комитет, который следил, дабы оные статьи были основаны строго на официальных реляциях. Изъятие из общего правила делалось, как указывал министр, только для описаний битв в эпических поэмах, что избавляло гене-

ралов, заседавших в комитете, от сугубо филологической работы по присканию среди реляций реальных источников литературных произведений.

Уваров немедленно предложил отношение военного министра к строгому исполнению; оно было повторено еще раз 18 июля 1835 года.

Донесения цензоров дают нам возможность почувствовать, насколько беспрекословно исполнялось это предписание. А. Л. Крылов извлек из собрания стихов некоего Малышева «Военную песнь», касающуюся «особы Императора и Лейб-гвардии егерского полка» и не вполне заимствованную из официальных реляций. «Военную песнь» запретили⁹¹. Донесение же Крылова от 14 января 1836 года может служить великолепным историческим и психологическим памятником глубокой неуверенности и колебаний цензоров, соприкасавшихся с военными материями. Речь шла о переиздании уже дважды изданной книги Броневского «Записки морского офицера», посвященной военным действиям русской эскадры в 1805—1810 годах; не в силах найти в ней что-либо прямо предосудительное с точки зрения общей цензуры, цензор с какой-то робостью доносит, что «только несколько отдельных мест во II части... приличнее, казалось бы, изменить незначительными опущениями». У него явно нет собственного определенного мнения, и он запрашивает комитет, не надлежит ли все же послать книгу в военное министерство, ибо издания ее 1818 и 1819 годов были одобрены лишь Адмиралтейским департаментом и могли пройти мимо военного министерства.

Заключение комитета звучало, впрочем, несколько иронически; он отказался войти в новые сношения по поводу книги, содержание которой «одобрено уже было начальством, до которого описываемый предмет непосредственно касается», и разрешил ее печатать, коль скоро цензор «не находит других препятствий к напечатанию, кроме означенных в донесении»⁹².

Нужно сказать, однако, что основания для беспокойства у цензора были, так как редкая рукопись возвращалась из Военно-цензурного комитета без замечаний по поводу тех или иных «слов и выражений», признанных «вредными и превратными»⁹³.

Таков был «ход вещей»; постигнув его, Крылов и предложил переслать в Военно-цензурный комитет ста-

тью для «Современника», где заключалось изложение военных событий, с применением к современности.

Крылов упоминал в «донесении» статью «О партизанской войне», и здесь требуется еще одно отступление, потому что первой была не эта статья, а другая, тоже давыдовская и тоже посвященная войне двенадцатого года.

В 1836 году в военную цензуру поступало больше чем когда-либо статей о 1812 годе. Был канун «бородинской годовщины».

Для Пушкина 1812 год никогда не был лишь очередной литературной темой. Это было событие гигантского масштаба, наполненное глубоким общественным смыслом, сдвиг исторических пластов, породивший необратимые изменения в жизни народной. Он собирает материалы о нем — и больше всего свидетельства самих участников событий, чтобы наполнить второй том «Современника», и очень рассчитывает на воспоминания Дениса Давыдова «Занятие Дрездена...»

В начале марта Давыдов переслал их Пушкину, предварительно дав прочитать военному историку генералу Михайловскому-Данилевскому, входившему, кстати, и в Военно-цензурный комитет. Правда, после чтения статьи Михайловским, расчеты Давыдова увидеть ее в печати сильно поколебались. Он посылает ее Пушкину уже почти на «авось». «Боюсь за цензуру, — пишет он Пушкину. — Хотя Данилевский мне хороший приятель, но, читав мою статью, он что-то морщился. Увидим: смелым бог владеет...»⁹⁴.

Попытка Давыдова «проскочить» сквозь цензурный кордон оказывалась очень сродни былым его партизанским рейдам. Мемуары его не слишком стесняли себя следованием официальным данным: они были подчеркнута субъективны и содержали нечто от оправдательной записки и нечто от памфлета. 10 марта 1813 года он, в послушание приказа, занял со своим партизанским отрядом Дрезден и, что еще хуже того, заключил двухдневное перемирие с защищавшим город генералом Дюрютом. Давыдов был обвинен в нарушении приказа и лишен командования; понадобилось заступничество Кутузова и распоряжение Александра I, чтобы спасти его от военного суда. Виновником всех бед, последовавших за победоносным кавалерийским набегом, Давыдов считал генерала Винценгероде, своего непосредственного

начальника, который, по его мнению, стремился приписать себе заслугу взятия города.

Генерала Винценгероде уже восемнадцать лет не было на свете, но Давыдов не мог забыть столкновения, которое чуть было не разрушило всю его военную карьеру. Для воспитанника Багратиона и Ермолова в имени Винценгероде сосредоточилось все, что он отвергал и презирал в александровской и николаевской армии: и засилье «немцев», и ограниченность, и безынициативность военного мышления, и охота за чинами, и формализм. Реальный Винценгероде, может быть, и не заслуживал столь строгого исторического суда, — но под пером Давыдова он превращался в своего рода символ, и поэт-партизан пользовался любым случаем обрушить на него всю мощь своего сарказма. Об эпизоде с занятием Дрездена он рассказывал еще в начале двадцатых годов в своей автобиографии, написанной от чужого имени и напечатанной впервые в журнале «Русский зритель» в 1828 году:

«Тут фортуна обращается к нему *задом*: Давыдов предстает пред лицо генерала Винценгероде и поступает под его начальство. С ним он проходит Польшу, Силезию и вступает в Саксонию. Не стало терпения, — Давыдов рванулся вперед и занял половину города Дрездена, защищаемого корпусом маршала Даву. За такую дерзость он лишен был команды и отозван в главную квартиру».

Журнал цензуровал уже известный нам С. Н. Глинка, непостижимым образом не заметивший рискованного каламбура, где «лицо» Винценгероде отождествлялось с «задом Фортуны». Впрочем, может быть, рассеянность его была намеренной: ключевые слова в остроте были выделены курсивом, а весь пассаж он прочел, и прочел внимательно: в нем есть следы цензурной правки, заметные при внимательном чтении. Она привела к логическому несоответствию. Почему, пройдя Польшу, Силезию и Саксонию, Давыдов потерял терпение? Это неясно.

Мы поймем это только тогда, когда сравним журнальный текст автобиографии с более поздним, который Давыдов напечатал через четыре года в сборнике своих стихотворений. Здесь ему удалось восстановить фразу в ее первоначальном виде:

«С ним пресмыкается он чрез Польшу, Силезию и вступает в Саксонию. Не стало терпения!»

Нет сомнения, что так и было в исходном тексте уже

в 1828 году. И не «отозван», а «сослан» в главную квартиру, читаем в автобиографии 1832 года.

Когда А. В. Никитенко цензуровал автобиографию для первого тома Собрания сочинений Давыдова — это было в декабре 1837 года, — он оставил «сослан», но, подобно Глинке, убрал «пресмыкается». «С ним идет он чрез Польшу, Силезию...» Оставил он и каламбур, но курсивом выделил только слово «задом». *Sapienti sat.*

Скажем, пользуясь случаем, что в автобиографии 1832 года, как и в стихах этого сборника, осталось довольно много таких мест, которых не пропускали последующие цензоры. Цензуровал эту книжку И. М. Снегирев, профессор латинской словесности, археолог и фольклорист. Он бывал довольно придирчивым цензором, — но время было другое: в начале тридцатых годов в Московском цензурном комитете нравы были более патриархальные, нежели в столице. Как бы то ни было, Снегирев позволил Давыдову несколько порезвиться. «В 1819 году он вступает в брак; а в 1821 бракует себя из списков фрунтовых генералов и поступает в список генералов, состоящих по кавалерии. Но единственное упражнение: застегивать себе поутру и расстегивать к ночи крючки и пуговицы от глотки до лупа надоедает ему до того, что он решается на распашной образ одежды и жизни и, в начале 1823 года, выходит в чистую отставку».

В собрании сочинений осталось:

«В 1819 году он вступает в брак; а в 1821 году бракует себя из списков фрунтовых генералов и поступает в список генералов, состоящих по кавалерии. В начале 1823 года выходит в чистую отставку»⁹⁵.

В первом пассаже — искрящееся остроумие, живость, веселость, аттическая соль.

Во втором — формулярный список.

Купюра была сделана там, где говорилось о бюрократизме, царившем в александровской армии.

Давыдов не увидел этих строк в печати. Он умер за год до выхода их в свет. Он был бы взбешен, прочитав этот пассаж, — и гнев его обрушился бы и на цензора, и на корректора, который не видел разницы между «фронтом» и «фрунтом».

Он никогда добровольно не «браковал» себя из списков «фрунтовых генералов». Напротив, в том же сборнике 1832 года он в затейливом сравнении отдавал предпочтение кагульским и очаковским «инвалидам-героям»

перед «новым поколением Забалканских и Варшавских щеголей-победителей». В 1837 году Никитенко убрал «щеголей» — и то это была смелость: ни слова нельзя было сказать в неодобрение Дибича и Паскевича.

Времена менялись — и не к лучшему. Правда, и в 1832 году Вяземский удивлялся, как были напечатаны все эти «гусарские шалости» — «умора и соблазн великий!» — и выписывал для Жуковского «выходку» о Винценгероде. А В. Д. Комовский, прочитав сборник, писал Языкову, что «оппозиция, т. е. такая, к которой непозволительно придирааться», «уже переходит в литературу»⁹⁶.

В статье «Занятие Дрездена...» «оппозиция» также «переходила в литературу». Прямых «выходок» здесь было немного, — но весь ход повествования, с чисто давыдовским богатством интонаций, то публицистических, то иронических, то лирических, — раскрывал тайные механизмы войны выгод и честолюбий. Молодой партизан, авантюрного склада, с отчаянным риском захватывает военную добычу; аккуратный и осмотрительный генерал из «немецкой партии» подбирается к ней же осторожно и методично, руководимый корыстью и расчетом.

Михайловский-Данилевский не напрасно «морщился», читая эту статью: будущий составитель высочайше утвержденной истории войны 1812 года, он знал официальную версию событий и чутко реагировал на отклонения.

Пушкин не был столь искушен в таинствах военно-цензурной политики, но он знал Давыдова и его взаимоотношения с военными властями. Получив статью, он переслал ее военному министру графу Чернышеву. Чернышев благодарил вежливым письмом; статью же установленным порядком передал в военную цензуру⁹⁷.

Пушкин послал статью Чернышеву лично, видимо, рассчитывая на его заступничество. Расчет, однако, был плох, потому что цензурная машина действовала «по заведенному порядку» и статья проходила те же самые инстанции, обойти которые хотел бы Пушкин: Военно-цензурный комитет, а затем Санктпетербургский цензурный комитет. Чернышев дал это понять Пушкину, позолотив пилюлю необычайной любезностью тона, выражением «своей особой признательности» за «сообщенную» ему рукопись, наконец, обещанием возвратить ее — так же, без чинов, — коль скоро она к нему будет доставлена из

комитета. Но и этого не случилось, в силу «заведенного порядка».

Когда статья пришла из военной цензуры, случилось как раз то, чего опасался Давыдов. Цензорский карандаш убрал не только прямые филиппики против Винценгероде. Он коснулся и общих рассуждений Давыдова, и ставших уже историей документов, которые тот приводил в свое оправдание.

Цензурная рукопись «Занятия Дрездена...» до нас не дошла, — однако ранняя рукописная редакция очерка сохранилась и, сравнивая ее с печатным текстом, мы можем убедиться, что в печать не попало около четверти написанной Давыдовым статьи⁹⁸.

Единственное, что осталось от памфлетного портрета старинного врага Давыдова — небольшое примечание, эпически излагавшее данные его формулярного списка. Здесь сообщалось, что генерал Винценгероде служил майором в гессен-кассельском войске, в 1797 году был принят в русскую службу адъютантом к великому князю Константину Павловичу (это был другой заклятый враг Давыдова), в 1799-м был исключен из русской службы и немедленно вступил в австрийскую, в 1801 году снова принят в русскую службу с назначением в генерал-лейтенанты, после Аустерлица опять перешел из российской службы в австрийскую, «но в начале 1812 года обратно перешел в российскую службу»; «был взят в плен в Москве, куда он выехал один, без конвоя, в середину неприятельских войск, которых он полагал уже вне столицы; отослан во Францию и на пути, в окрестностях Молодечно, выручен из плена полковником Чернышевым (ныне военным министром) ...»⁹⁹

Это был венец памфлетного мастерства. Сухой перечень служебных перемещений создавал гротескный портрет безнадежно неспособного австрийского майора, неизвестно за какие заслуги получавшего в России высшие воинские чины. И все было основано на официальных документах.

Давыдов сумел пустить парфянскую стрелу в российскую военную администрацию. Но это мало его утешало. Известие о цензурных купюрах в «Занятии Дрездена...» поразило его, хотя он и был к нему подготовлен. Он написал Пушкину бодрое письмо, но бодрость была какая-то деланая. Он не без юмора вспоминал, как Чернышев уже один раз отбил Винценгероде у французов, —

и вот теперь вновь спасает его от «анафемы», воспетой Давыдовым «поганой его памяти». Как обычно, немного бравирюя своим партизанским прошлым, он просит Пушкина позаботиться о потрепанном в цензурных боях «эскадроне», — привести его в порядок и соединить разорванные части, что бы можно было с новыми силами «врубиться в паршивую колонну [Цензуры]». Но он явно уже начинает терять интерес к статье, которая теперь, как ему кажется, утратила «связь, узел, единство» и вряд ли приобретет их вновь. У Давыдова уже созревает новый журнальный замысел — такой «Эскадрон», «который пройдет через военную цензуру нос кверху, фуражка набекрень и с сигаркою в зубах»¹⁰⁰.

Пушкин убеждал Давыдова не отказываться от напечатания «Занятия Дрездена». Но мысль взять статью обратно все больше овладевает Давыдовым. Он просит, чтобы прежде «Занятия Дрездена» была напечатана другая статья, которую он теперь спешно заканчивает, и прозрачно намекает, что Дрезден без Винценгероде будет плох, что это уже не статья собственно, а «оставшиеся строки», рассказ голый и бескрасочный. Но Пушкин настаивает. Строго говоря, ему нужна была не столько оправдательная записка Давыдова, сколько превосходное и достоверное повествование живого участника событий. Давыдов нехотя соглашается, а тем временем готовит другую статью, которую хочет печатать первой.

Эту вторую статью, которая должна была занять место «Дрездена», он посылает Пушкину 3 июня¹⁰¹.

Статья называлась «О партизанской войне» и была отрывком из большого и любимого сочинения Давыдова «Опыт теории партизанских действий», над которым он продолжал работать. Эта-то статья, где Давыдов, пользуясь личным опытом, излагал основы партизанской войны, обосновывая ее роль и значение в условиях России, и должна была пройти «с сигаркой в зубах» мимо цензурного комитета, в чем Давыдов был совершенно уверен¹⁰². Однако уверенность его была преждевременна.

Как мы помним, 16 июля 1836 года А. Крылов подал записку с предложением отправить статью в военную цензуру¹⁰³.

И сочинение Давыдова решением Петербургского комитета от 14 июля (рапорт цензора был написан задним числом) отправилось уже знакомым путем, которым

шли злополучные воспоминания о взятии Дрездена¹⁰⁴.

24 июля Дондуков-Корсаков отправил его при отношении за № 145 в Главное управление цензуры.

Министр Уваров препроводил его к управляющему военным министерством генерал-адъютанту Адлербергу.

Военное министерство вернуло его 5 августа при отношении за № 5367 в Главное управление цензуры¹⁰⁵.

Уваров переслал его Дондукову-Корсакову при сопроводительной за № 261 от 8 августа 1836 года.

В сопроводительной значилось:

«Ныне г. военный министр, согласно с заключением Военно-цензурного комитета, уведомил меня, что рукопись сия может быть допущена к напечатанию с следующими изменениями, которые означены красными чернилами и сделаны в тех местах, где сочинитель заблуждается или употребляет неприличные выражения»¹⁰⁶.

Забегая вперед, скажем, что статья была напечатана в «Современнике» с предписанными купюрами и рукопись ее не сохранилась. Часть статьи знаменитого поэта и военного писателя, казалось, утеряна безвозвратно.

Однако это не так. Дело в том, что военные цензоры иной раз с педантической аккуратностью выписывали в своем заключении подлежащие изъятию места. Так случилось и на этот раз. Вот текст заключения, содержащий эти неизвестные в печати строки Давыдова.

«<...> 1. В рукописи сказано: «в 1812 году, недостаток времени к обдуманию и изобретению иных мер, кроме усилий в отражении неразрывных приступов несметного ополчения, напиравшего на грудь России, отвлекал нас от мер, считаемых недостойными внимания всеми военными писателями и наставниками, по сочинениям коих мы учились. До сего не умели мы постигнуть, что и писатели, и наставники наши были не русские, что они излагали законы военного искусства не для русских». Комитет полагает выпустить сие место, *во-первых*, потому, что несправедливо и не свойственно говорить, будто бы у нас не имели времени обдумать средства к сопротивлению неприятелю, а *во-вторых*, что при начале войны 1812, в глазной, или так называвшейся первой армии, не по неумению употреблять легкие войска, но по недостатку конницы, особенно казаков, была невозможность отряжать партии на сообщение неприятелей и что тогда, как известно, дело шло не о раздроблении или ослабле-

нии армий отрядами, но о том, чтоб по возможности стянуть все наши силы вместе.

2. «В первой половине войны 1812 года некогда было заниматься нам изобретениями, а еще менее покорением предрассудков, посеянных в нас чужеземными писателями. Невнимание России к употреблению легких войск продолжалось до Бородинского сражения. Тогда только ощупали то оружие, которого нет в Европе и которого употребление не было в России замечаемо».

Это мнение вымарано по той же причине, как и первое, и сверх того по несправедливому показанию, вновь здесь повторяемому, что русские действовали исключительно по внушениям каких-то иностранных писателей.

3. Комитет сделал несколько небольших перемен, где сочинитель изображает иррегулярные русские войска в виде гуннов и грозит Европе нашествием их.

4. Наконец, по совершенному неприличию уничтожены последние строки статьи, где сказано, что «силы России стесняются чужеземною одеждою, и что горе европейским государствам, если такая одежда когда-нибудь лопнет по швам и по целому, разлетится в лохмотья».

Заключение было подписано военным министром графом Чернышевым.

10 августа рукопись вернулась в Петербургский комитет¹⁰⁷.

Взглянув на рукопись, Пушкин написал Давыдову письмо, в котором звучит почти отчаяние.

«Тяжело, нечего сказать. И с одною цензурою напляшешься, каково же зависеть от целых четырех?»

В последние годы царствования Александра вся литература «сделалась рукописною» из-за бессмысленной придирчивости Красовского и Бирукова — двух цензоров, одни имена которых наводили страх. Но сейчас журналисты вспоминали об этом времени с элегическим сожалением, потому что кольцо запретов было плотнее и сжималось с бездушной методичностью. «Цензура, дело земское; от нее отделили опричнину, а опричники руководствуются не уставом, а своим крайним разумением»¹⁰⁸.

Земщина — общие для всех единые правила печати.

Опричнина — удельные владения военной цензуры, цензуры двора, III Отделения, министерства финансов, духовной цензуры — имя им легион. Для них нет общего закона. В каждом «княжестве» свои порядки. Сколь-

ко усилий, чтобы добиться выхода книжки журнала в срок, — сколько просьб, писем официальных и неофициальных, протестов и жалоб, сколько ночей бессонных над редактированием искалеченных любимых произведений — своих и чужих... По отчаянной безнадежности это напоминало ночную борьбу с призраком — но здесь борьба шла днем, а призраки имели голос и власть и были облечены в ведомственные мундиры.

Статью о партизанской войне, очищенную от «заблуждений и неприличных выражений», набирали для третьего номера «Современника». А в четвертом номере появилось — также очищенное — «Занятие Дрездена».



«Полководец»

Вместе со статьей Давыдова в третий номер назначено было стихотворение Пушкина «Полководец».

Когда-то Пушкин посвятил проникновенные строки памяти Кутузова, заставив своих читателей склонить голову перед «гробницею святой» «гения северных дружин». Ныне он обратился к образу Барклая-де-Толли не потому, что облик Кутузова поблек в его глазах, а потому что фигура непонятого вождя, со стоическим спокойствием принявшего на себя бремя обвинения чуть ли не в измене, отрекшегося от славы, признания, успеха во имя неколебимого внутреннего убеждения, была в это время как нельзя более созвучна его настроениям.

«Не знаю, можно ли вполне оправдать его в отношении военного искусства, — писал Пушкин, — но его характер останется вечно достоин удивления и поклонения»¹⁰⁹. С полотна Доу в военной галерее Зимнего дворца смотрело на поэта спокойное и угрюмое лицо оклеветанного полководца, и Пушкин читал на нем великую грусть и, может быть, презрение.

О вождь несчастливый! Суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле тебе чужой.

Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шел один ты с мыслию великой,
И в имени твоём звук чуждый не влюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою.

И с тем же скорбным мужеством, с той же самоотверженностью, с какой герой нес свой нелегкий крест, он передает своим более счастливым преемникам все:

и лавровый венец,
И власть, и замысел, обдуманый глубоко,—

и ищет смерти, как простой воин, затерявшись среди полковых рядов.

«Полководец» был написан вовсе не для сравнения Барклая и Кутузова и не для оценки военных заслуг Барклая. Образ гения, отверженного веком слепым и буйным, где царствует заблуждение или низкий расчет, как бы накладывался у Пушкина в эти годы на его собственную судьбу.

Впрочем, дело было не только в этом. Уже не в первый раз в его поэтическом сознании возникает эта параллель: два человека, быть может, и не равно великих, но имеющих свои права на благодарность потомков,— но один прославлен и почтен, а другой оставлен в неизвестности и незаслуженном забвении.

Этому второму всегда принадлежали его симпатии. Когда-то он отказался воспеть Байрона, чтобы вызвать из исторического небытия страдальца Андрея Шенье:

Меж тем, как удивленный мир
На урну Байрона взирает
И хору восхищенных лир
Близ Данте тень его внимает,—
Совет меня другая тень...

Призыв «другой тени» он услышал и теперь.

Что знал Пушкин о Барклае? Сейчас мы уже не можем судить об этом с достоверностью, как не можем назвать и всех тех, кто знал полководца лично и мог рассказывать о нем Пушкину. Между тем, следы этих рассказов есть в тексте стихотворения. Исследователи называют возможные источники информации: А. П. Ермолов, Н. Н. Раевский, П. Х. Граббе, Д. В. Давыдов...

Л. И. Голенищев-Кутузов, о котором далее пойдет речь, особо оспаривал нарисованный Пушкиным портрет: «презрительная дума» не была свойственна полководцу, он отличался «особенною мерностью и кротостию нрава».

Денис Давыдов, также знавший Баркляя, напротив, описывал его буквально пушкинскими словами: «сумрачный, постоянно угрюмый, хотя и скромный», «холодный, как мраморная статуя»; «мужественный и хладнокровный до невероятия, Барклай, на высоком челе которого изображалась глубокая скорбь...». Он писал так задолго до появления пушкинских стихов: «холодный», «всегда величавый», «вечно угрюмый, молчаливый, не умевший сказать ласкового и приветливого слова...». Это было напечатано в 1832 году в «Замечаниях на некрологию Н. Н. Раевского», которые Пушкин хорошо знал, — и там же он мог прочитать и о конфликтах Баркляя и Багратиона, и о взаимной нелюбви его с Ермоловым, — и, наконец, о непопулярности Баркляя в войсках, — из-за его характера, чужеземного происхождения, плохого знания русского языка и более всего из-за принятой им тактики, создававшей ему чуть что не репутацию изменника.

О судьбе Баркляя Пушкин знал, конечно, и помимо «Замечаний» Давыдова, — но в них история представляла «домашним образом», и она была вдвойне драматична. Она говорила голосом «ермоловца», бывшего к тому же преданным почитателем памяти Багратиона. И тень давних разногласий — личных и профессиональных — ложилась на них, хотя Давыдов хотел и пытался соблюсти объективность.

В «Полководце» есть отзвуки устных преданий, идущих из ермоловского круга.

«Глубоко огорченный всем тем, что он видел и слышал, Барклай искал смерти в Бородинском сражении; он в этом со слезами на глазах признался Ермолову», — вспоминал впоследствии Давыдов¹¹⁰.

Пользуясь преданием, Пушкин давал ему, однако, свое освещение. Он не верил Ермолову до конца. Ни львиный облик старого военачальника, ни героическая его биография, ни легенда, сопутствовавшая ему, не заслонили в его глазах теневых сторон личности Ермолова. В 1834 году он записывал в дневнике: «3-го июня обедали мы у Вяз.<емского>: Жук.<овский>, Давы-

дов и Киселев. <...> Он, может быть, самый замечательный из наших государственных людей, не исключая Ермолова, великого шарлатана»¹¹¹.

«И тот, чей острый ум тебя и постигал, В угоду им тебя лукаво порицал...» Почти нет сомнения, что этот упрек был обращен и к «великому шарлатану». На совете в Филях, когда Барклай высказался за оставление Москвы, Ермолов был убежден его доводами. Он говорил потом, что все, сказанное там Барклаем, следовало отпечатать золотыми буквами. Он сознавал, что «новое сражение бесполезно и невозможно», — и тем не менее подал голос в его пользу.

Об этом тоже вспоминал Денис Давыдов, пытаясь не столько оправдать, сколько извинить Ермолова, который покривил душой, «дорожа популярностью, приобретенною им в армии»¹¹². Но именно это и было для Пушкина «шарлатанством», угодничеством перед общим мнением. Так, между прочим, считал и Киселев, другой участник обеда у Вяземского; через тридцать лет он записывал в свой дневник, что Ермолов, при всем своем достоинстве, более всего считался с «безрассудными крикунами», — и замечал при этом, что Давыдов с братьями в 1812 году также не упускал случая напасть на благоразумную осторожность Барклая¹¹³. Борясь с «немецкой партией», «ермоловцы» тогда, кажется, вели себя не лучшим образом, и Давыдову пришлось посвятить несколько страниц своих поздних мемуаров оправданиям Ермолова от обвинений в прямых военных и дворцовых интригах. Он рассказывал, что Ермолов, вследствие «особого повеления» царя и чрезвычайных обстоятельств, писал его величеству письма, содержавшие «довольно резкие указания на некоторые ошибки Барклая, на малое доверие, внушенное им к себе войскам», что указания эти были, к несчастью, справедливы и что Барклай, позднее познакомившийся с письмами Ермолова, сделался его врагом и невыгодно отозвался о нем в своем «Изображении военных действий I-й армии», — но что, вообще говоря, письма эти не дают повода считать Ермолова интриганом¹¹⁴. Так это было или не так, до Пушкина, видимо, доходили о них какие-то слухи, — а может быть, и сам Давыдов упомянул о них во время одной из бесед. Все это отражалось в «Полководце» не прямо, а косвенно, образуя некий исторический подтекст, на который остро реагировали заинтересованные современники.

Первым из них оказался цензор А. Л. Крылов, которому стихотворение попало в руки вместе с прочими материалами третьей книжки «Современника». Цензора смутили «некоторые мысли о главнокомандующем российских войсками в 12-м году, Барклай де Толли (так!), выраженные в таком виде», что он почел себя «не вправе допустить их без разрешения начальства»¹¹⁵.

Характерна здесь неопределенность формулировок: «некоторые мысли», «выраженные в таком виде, что...». Вряд ли Крылов мог выразиться точнее. Перед ним было произведение, не дававшее никаких оснований к цензурному запрету, — и которое вместе с тем было нежелательно разрешать.

Комитет переслал стихи Уварову, и тот, не найдя препятствий к их опубликованию, предписанием от 26 августа позволил печатать. 1 сентября разрешение было прочтено в комитете, и Крылов подписал одобрение. В начале октября книжка журнала вышла в свет.

Литературный и окололитературный мир пришел в волнение. Имена Кутузова и Барклая были достоянием истории современной, политической, государственной; еще живы были друзья, родственники, сослуживцы обоих полководцев, участники героической эпопеи двенадцатого года, знавшие и ее тайную историю; еще не затихли дальние отголоски принципиальных споров и личных, человеческих страстей.

В светских салонах и дружеских кружках спорили о «Полководце».

Поистине необычайной была смелость поэта, решившегося напечатать эти животрепещущие стихи. Под ними не было имени, — но авторство было известно всем.

Александр Тургенев с восторгом писал о «Полководце» Вяземскому. Даже «Северная пчела» 15 октября напечатала восторженную заметку, где был приведен полностью текст стихотворения и сказано при этом, что гений Пушкина «не слабеет, не вянет, а мужается и растет» и что «Россия должна ждать от него много прекрасного и великого». Несомненно, автором заметки был Н. И. Греч, который тремя днями ранее обратился к Пушкину с письмом. «Не могу удержаться от изливания пред вами от полноты сердца искренних чувств глубокого уважения и признательности к вашему таланту и благороднейшему его употреблению. Этим стихотворением, образцовым и по наружной отделке, вы доказали свету,

что Россия имеет в вас истинного поэта, ревнителя чести, жреца правды, благородного поборника добродетели <...> Честь вам, слава и благодарение!»¹¹⁶

Эти восторги разделяли далеко не все. Многие видели в «Полководце» попытку умалить славу Кутузова, — и даже Елизавета Михайловна Хитрово, дочь Кутузова и давний друг Пушкина, на мгновение поддалась чувству обиды. Вскоре последовало и печатное «опровержение».

Оно вышло из-под пера Логгина Ивановича Голенищева-Кутузова, племянника великого полководца, доживавшего свой век почтенным старцем, флота генерал-казначеем, председателем ученого комитета Морского министерства и членом Российской Академии. Когда-то он сочинял по мере сил, переводил и печатался, и, вступая с Пушкиным в спор в защиту, как ему казалось, поправленной истины и «любимого дядюшки», он был движим и некоторым затаенным авторским честолюбием. Он написал три страницы опровержения и решил напечатать отдельной брошюрой, приложив к «Северной пчеле»; подумав, однако, заключил, что «Пчела» печатать не станет и что лучше приложить к «Санктпетербургским ведомостям». 3 ноября 1836 года он принес рукопись в цензурный комитет Гаевскому¹¹⁷.

Так вновь фигура Павла Ивановича Гаевского выросла на пушкинском горизонте.

Нам известно уже, что он не был бесстрастным исполнителем предначертаний устава, но считал долгом своим содействовать пользе словесности. Как он понимал эту пользу, мы тоже имели случай заметить. Он поэтому не только «одобрил» брошюру по долгу службы, но по старой привычке и прорецензировал, выразив автору свое удовлетворение. После этого брошюру прочитал Уваров. Он также пришел в восхищение, и честолюбивый автор отметил это в своем дневнике.

Утром 3 ноября труд Голенищева-Кутузова был одобрен, к вечеру он печатался, 5 ноября тираж был готов, а 8 ноября молниеносно вышедшая брошюра уже раздавалась подписчикам «Санктпетербургских ведомостей».

Создавалась совершенно необычная ситуация.

Цензура брала на себя не свойственные ей функции: не контроля за произведением, а его поддержки и даже пропаганды. Глава цензурного ведомства по собственной инициативе читал не сомнительное произведение, судьбу

которого предстояло ему решить, — так было с «Полководцем», — а произведение, безусловно пропущенное и поддержанное цензором, судьба которого не вызывала сомнений.

«Опровержение» Голенищева-Кутузова оказывалось фактом идеологической политики.

Он напоминал, что заслуги Барклая официально признаны, что он получил «все возможные награды» от монарших щедрот: высшую степень по службе, титул графа, князя, имение и памятник в столице.

Эту официальную репутацию оберегала и военная цензура. Еще в 1828 году военный министр граф Чернышев потребовал изменений в рукописи стихотворца Н. Грамматина, где были «неприличные выражения сочинителя относительно к генерал-фельдмаршалу князю Барклаю-де-Толли»¹¹⁸.

В заключении об «Очерках военных сцен 1812 — 1813 гг.» военный министр уведомлял, что рукопись может быть пропущена не иначе как по изъятии «мест, где упоминается о каком-то духе армии в 1812 году при отступлении оной из Смоленска, о всеобщем неудовольствии против главнокомандовавшего князя Барклая-де-Толли, которое побудило будто бы многих офицеров, служивших в штабе его, перейти к князю Багратиону; о московском пожаре и других событиях, ничем не доказанных и даже несправедливых». Министр особо отмечал, что «Очерки» назначаются для журнала и, следовательно, для всеобщего чтения¹¹⁹.

С другой стороны, в 1835 году в «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара была напечатана статья С. А. Маркевича «Барклай-де-Толли», где упоминалось о «несправедливости современников», обвинявших главнокомандующего в «бедствиях отечества».

Нужно было искать ориентиры в разноголосице мнений — официальных и неофициальных.

Ксенофонт Полевой в статье о книге В. Скотта «Взгляд на историю Наполеона» в «Московском телеграфе» назвал Барклая «хранителем России», совершившим ради нее «великий подвиг». Это тоже было не вполне уместно. Как известно, Уваров хотел запретить журнал за эту статью, но Николай I счел ее более «глупой», чем «неблагонамеренной». Но Уваров не забыл о ней: она вызывающе противоречила идее «самодержавия, православия, народности».

Вся художественная концепция «Полководца» также противоречила уваровской доктрине¹²⁰.

Голенищев-Кутузов, напротив, говорил именно то, что нужно. Он оспорил мысль о разобщенности народа и вождя, коснулся «в нужном духе» вопроса о патриотизме и отдал предпочтение Кутузову. Так будет делать позднее А. И. Михайловский-Данилевский, составляя официальную историю Отечественной войны.

Уваров понимал, что нет прямых оснований запрещать стихи Пушкина; что запрет этот может вызвать нежелательные толки о своеволии цензуры; что — как знать? — может быть, их помимо него разрешит августейший цензор и что выгоднее прибегнуть не к насилию, а к противоядию. Брошюра Голенищева-Кутузова давала к тому удобный повод. И здесь нам нужно вспомнить об одном весьма любопытном споре, который касался именно цензурного статуса «Полководца» и развернулся уже в последние годы, когда был найден новый автограф стихотворения.

Он был обнаружен в ноябре 1969 года И. Т. Трофимовым в альбоме высокопоставленной почитательницы Пушкина — великой княгини Елены Павловны. Альбомный текст был полнее печатного. В нем были — с некоторыми изменениями — восстановлены стихи, известные нам ранее по беловому автографу:

Там устарелый вождь, как ратник молодой,
Искал ты умереть средь сечи боевой;
Вотще! Соперник твой стяжал успех, сокрытый
В главе твоей; а ты, оставленный, забытый,
Винovníк торжества, почил — и в смертный час,
С презреньем, может быть, воспоминал о нас.

В печатном тексте было иначе:

Там, устарелый вождь! как ратник молодой,
Свинца веселый свист заслышавший впервой,
Бросался ты в огонь, ища желанной смерти.
Вотще! —

Далее следовали две строки точек.

Есть основания считать, что альбомный автограф был записан уже после выхода печатного текста. Тогда заново возникает вопрос: как печатать «Полководца»? Если Пушкин в «Современнике» сделал уступку цензурным требованиям, — нам нужно восстановить купюру по

новонайденному автографу. Если же журнальный текст есть результат изменившегося художественного замысла, — следует предпочесть его.

И. Т. Трофимов придерживается первой точки зрения; на второй, выдвинутой в свое время Ю. Н. Тыняновым, настаивает Н. Н. Петрунина, посвятившая «Полководцу» две специальные работы¹²¹.

Скажем сразу же, что творческий характер изменений в журнальном тексте настолько очевиден, что оспаривать его почти невозможно. Нельзя считать, вслед за И. Т. Трофимовым, что отточия, паузы, графические эквиваленты строф и оставшийся нерифмованным стих «нарушают художественную целостность текста» и что читатель непременно будет стараться узнать, «а что же скрыто за отточиями»¹²². Напротив, любой читатель, знакомый с поэзией Пушкина и пушкинской поры, знает, что и Пушкин, и его современники постоянно прибегали к этому художественному приему, описанному Ю. Н. Тыняновым. Он даже пародировался как неременная принадлежность романтической поэзии. Нерифмованным стихом (с отточиями) оканчивается «Осень. (Отрывок)», «Когда за городом, задумчив, я брожу...», «Из Пиндемонти»; строфы «XXIX. XL. XLI» первой главы «Онегина» соединены в одну и обозначены отточиями. Все это общеизвестно.

Более того, в нашем случае именно нерифмованный стих указывает на изменившееся художественное задание. Его не было в первоначальном тексте; он придуман заново, и в соседнем — также переделанном — стихе явилось читателю блестящее сопоставление старого вождя и молодого ратника. Если бы Пушкин хотел просто обозначить цензурную купюру, все это было бы излишним: ему ничего не стоило, как в «Анджело», просто вычеркнуть непропущенные строчки. Собиратели потаенной поэзии потом нередко вписывали их от руки; так, Пушкин сам записал для А. Тургенева вычеркнутые императором строки «Медного всадника». Но здесь вписывать было нечего: «пропущенных строк» для этой новой редакции не существовало.

И цензор Крылов не знал, что было на этом месте в автографе, и ничего не вычеркивал. Пушкин подал ему рукопись, которая была потом точно воспроизведена в печати.

Здесь была не цензура, а *автоцензура*, как правиль-

но заметили уже ранние исследователи этого стихотворения¹²³. И учитывала она не только и даже не столько возможную реакцию Петербургского цензурного комитета, сколько реакцию публики.

Нет никаких сомнений, что Пушкин не хотел видеть эти стихи напечатанными.

Автор стихов «Перед гробницею святой», на которые он потом ссылался в своем «Объяснении» Голенищеву, Кутузову, писавший о Кутузове как «спасителе» России, — мог ли он в полемическом задоре заявить публично, что спаситель этот был «соперником» другого, несчастливого вождя, и «стяжал успех», по праву принадлежавший этому другому? Он убрал «соперника», убрал вообще всякие намеки на Кутузова; они были не нужны для художественной концепции стихотворения, где речь шла не о двоих, а об одном полководце, — не о соперничестве, не об интригах, но о трагедии вождя, не понятого народом. Но даже и это не спасло его от нареканий: Голенищев-Кутузов специально обратил внимание на это место, объявив его «совершенно неприличным вымыслом». Когда великая княгиня Елена Павловна просила его записать стихи в свой альбом и записать, конечно, в первоначальном виде, он сделал это, зная, что по альбомному тексту они печататься не будут. Адресатом его был небольшой кружок любопытствующих, — адресатом журнала была вся читающая Россия. Пушкин обращался к ней и рассчитывал, как мы бы теперь сказали, на «обратную связь».

Он говорил, что его не интересует мнение о «Полководце» светского общества, но он хотел бы знать, как относятся к нему в кругу военной молодежи¹²⁴.

Поэтому он произвел автоцензуру или, если угодно, авторедактуру, — и это был творческий акт и его последняя воля.

А теперь нам нужно досказать своеобразную цензурную историю «Полководца», — своеобразную уже потому, что она не окончилась, а только началась в стенах Петербургского цензурного комитета и Главного управления цензуры и продолжалась за их пределами.

Пушкину преподавался урок «самодержавия, православия и народности».

«Все в жертву ты принес стране, тебе чужой», — писал Голенищев-Кутузов, — всякое слово в этой строке противно истине. Воспеваемый полководец был лифлян-

дец, следовательно для него Россия не чужая земля, лифляндцы для нас не иностранцы, и они и мы должны удивляться сему изречению».

С этим упреком был согласен даже либеральный Граббе. И он выражал официальную точку зрения.

В 1839 году в «Северной пчеле» стали печататься воспоминания Греча «Начало „Сына отечества“», относящиеся к 1812—1814 годам. Тогда-то и получил продолжение спор Голенищева-Кутузова с Пушкиным. Греч упрекал уроженцев немецких провинций, что им был в сущности чужд патриотический и монархический дух, который охватил в описываемые годы самого мемуариста. Упрек был благонамерен, — но опровержение его пришло из самого III Отделения. Анонимный автор возражал, что остзейцы 150 лет служат в русской службе на военном и гражданском поприщах и «в высших должностях» всегда отличались и теперь отличаются преданностью престолу. <...> Любя же русского монарха, нельзя не любить России, ибо в нашем понятии государь и Россия одно нераздельное...» К этой статье была приложена вежливая записка Дубельта: «Граф Александр Христофорович просит вас, любезный Николай Иванович, ежели можно, напечатать эту статью в „Северной пчеле“».

Греч оправдывался, поясняя, что он не имел в виду эстляндских и курляндских дворян, чья преданность престолу не вызывает у него ни малейшего сомнения. Эту оговорку он сделал и в отдельном издании своих мемуаров. Здесь была «большая политика», к тому же затрагивавшая лично уроженца Эстляндии графа Бенкендорфа, лифляндца графа Ливена, Остен-Сакенов и других приближенных царя¹²⁵.

Греч не остерегся; Булгарин, соратник его, был осторожнее. В «Петре Ивановиче Выжигине» (1831) он коснулся судьбы Баркляя и сказал о нем почти теми же словами, какими через восемь лет анонимный оппонент Греча будет излагать точку зрения III Отделения:

«Полно тебе, Выжигин, защищать немцев! Послушал бы ты, как чествуют твоего Баркляя-де-Толли не только в армии, но и в целой России!.. Весь народ просит и молит, чтоб дали русского вождя!»

Это слова добросовестно заблуждающихся штаб-ротмистра и поручика, жаждущих немедленно вступить в бой за царя и отечество.

«...Жаль, что вы, люди образованные, не почитаете русским того, кто трудится для России и проливает за нее кровь свою. Барклай-де-Толли русский, а не немец. Мало того, что он родился в наших русских провинциях, преданных России, но он служит от самой юности, покрыт ранами и доказал в Финляндии, что он столь же искусен в наступательных действиях, сколько теперь в оборонительных»¹²⁶.

Это голос просвещенного патриота и монархиста, исправляющего заблуждения.

«Прозаики и поэты запутали дело своими возгласами, восторгами, неправильными употреблениями эпитетов и даже искажениями самих событий», — писал Булгарин в январе 1837 года, явно имея в виду Пушкина, а может быть, и Греча, с которым его не всегда связывало единомыслие. Спасители России — «император Александр и верный ему народ русский», а отнюдь не Кутузов и не Барклай, которые «велики величием царя и русского народа»¹²⁷.

Наконец, все было досказано до конца.

«Полководец» пушкинскими стихами должен был излагать идеи «Руки всевышнего...».



«Два демона»

Почти все произведения, вынесенные Крыловым на суд комитета в «донесении» 19 июля, имели нелегкую судьбу, и все — по разным причинам.

Статья «Александр Радищев» была запрещена вовсе.

История статей Дениса Давыдова только что прошла перед читателем.

Остается сказать несколько слов о «стихотворениях, присланных из Германии».

Автором этих стихов был мало кому известный в то время «Ф. Т.» — будущий великий поэт Федор Иванович Тютчев. Он переслал для «Современника» тетрадь стихотворений, и Пушкин отобрал из них шестнадцать или

семнадцать в третий том, а другие оставил до четвертого.

Если не спеша присмотреться к тем страницам третьего тома, на которых впервые напечатаны эти стихи, внимание будет привлечено несколькими обстоятельствами.

Две страницы журнала аккуратно подклеены на узкие полоски бумаги, оставшиеся от вырезанных листов. В стихотворении «Не то, что мните вы, природа» три строфы заменены точками, а нумерация стихов спутана. Два последних стихотворения имеют один и тот же — пятнадцатый — номер.

Историк цензуры и журналистики, — быть может, единственный читатель, у которого журнальные опечатки вызывают не досаду, а нечто вроде профессионального интереса. Типографские ошибки иной раз имеют биографию, уводящую исследователя в глубины истории и литературы.

Когда-то известный советский библиограф заинтересовался биографией опечаток в тютчевских стихах и рассказал увлекательную историю, связав путаницу в их нумерации с цензурными затруднениями, которые им пришлось испытать ¹²⁸.

Мы расскажем ее заново и иначе, попытаемся определить, что здесь имеет отношение к деятельности цензора и что не имеет.

Эта история начинается 13 июля 1836 года, когда Пушкин представляет цензору Крылову для одобрения стихотворение Тютчева «Два демона ему служили», записанное на отдельном листке. Листок этот сохранился; на нем стоит порядковый номер XIV, зачеркнутый и переправленный на XV, а внизу — подпись цензора Крылова, вымаранная так тщательно, что бумага в этом месте порвалась ¹²⁹.

Стихотворение это, как нам известно теперь, посвященное Наполеону, хорошо знакомо всем любителям русской поэзии. Вот оно:

Два демона ему служили,
Две силы дивно в нем срослись:
В его главе орлы парили,
В его груди змии вились —
Ширококрылых вдохновений
Орлиный дерзостный полет —
Но в самом буйстве дерзновений
Змииной мудрости расчет.

Под этим текстом Крылов подписал свое разрешение и вернул листок Пушкину.

Когда стихотворение ушло из рук Крылова, его стали обуревать сомнения. Ему начало казаться, что он поступил поспешно и опрометчиво. Мысль мюнхенского сочинителя была неясна; не таилось ли за ней какого-либо умысла? Кому служили «два демона»? Позволительна ли такая служба? Не противоречит ли она основам христианской религии и нравственности? Какую мораль из всего этого может извлечь читатель?

Мучимый неясными, но ощутимыми подозрениями, цензор берется за следующее стихотворение неизвестного Ф. Т. из Мюнхена, — и подозрения превращаются в уверенность. Это было стихотворение «Не то, что мните вы, природа...»:

Не то, что мните вы, природа,—
Не слепок, не бездушный лик:
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык.

Призрак богопротивного немецкого пантеизма — учения об одушевленности природы — вставал перед цензором. В дни его молодости за это самое печальной участи подвергся профессор Галич, ныне отвергнутый и скитающийся, не искупивший вину свою даже чистосердечным раскаянием. А не далее как в 1832 году, накануне своего назначения министром, Уваров заявил, что намерен усмирять «бурные порывы к чужеземному, к неизвестному, к отвлеченному в туманной области политики и философии»¹³⁰.

Крылов исключил из этого — шестнадцатого по счету — стихотворения две средние строфы¹³¹. Это было записано в журнале комитета за 14 июля 1836 года и скреплено подписью Дондукова-Корсакова.

Через много лет литератор Н. В. Сушков просил Тютчева вспомнить вычеркнутые строфы. Поэт не смог¹³². Восемь стихов его маленького шедевра погибли безвозвратно.

Тем временем беспокойство цензора по поводу пропущенного им стихотворения за номером пятнадцать возрастает до высшей степени — и он решает востребовать его обратно. Посоветовавшись с Дондуковым-Корсаковым, он задним числом, 16 июля, составляет «донесение» — уже не об одном, а о двух стихотворениях Тютче-

ва, где указывает, что в «№ XV» он «не мог усмотреть действительной мысли автора» и затрудняется в одобрении¹³³. С Пушкиным, однако же, иметь дело не так просто — и для верности он почитает нужным опереться на авторитет председателя цензурного комитета. 25 июля он отправляет редактору «Современника» записку следующего содержания:

• «Милостивый государь Александр Сергеевич!

<...> Из статей, возвращенных вам прежде за подписью Цензуры, князь Михаил Александрович желает видеть №№ XV и XVI мелких стихотворений, принадлежащих автору в Мюнхене; ибо обе сии статьи пропущены комитетом в его отсутствие. Поэтому прошу вас всепокорнейше доставить эти №№ или прямо к его сиятельству, или прислать их для доставления на мое имя».

Цензор явно покривил душой. Стихотворение «Два демона ему служили» пропустил он лично, вовсе не вынося его на заседание комитета, и ответственность лежала теперь на нем. Угроза служебных неприятностей приобретала зримые черты.

Что же до второго стихотворения, то его пересмотреть нужно было просто ради вящего спокойствия, ибо мысль автора опять же была темна и неизвестно, что за собой скрывала. Рациональный ум петербургских цензоров не любил излишней темноты в выражении, особенно когда дело касалось общих вопросов бытия. В этих случаях духовная цензура ревниво оберегала свои права, следя, чтобы фантазия сочинителей держалась в строгих рамках православного канона. Цензор Крылов не был искушен в тонкостях богословской казуистики, но ощущение какого-то «нарушения» у него оставалось, хотя было неясно, в чем, собственно, оно заключается. Ссылка на отсутствие «князя Михаила Александровича» была нехитрым камуфляжем, так как он никуда не отлучался и председательствовал на заседании 14 июля собственной персоной.

Пушкин без особого удовольствия выполнил настойчивую просьбу своего «усерднейшего слуги Ал. Крылова» и оставил вещественные знаки своего негодования, о которых речь пойдет далее.

* * *

А сейчас сделаем маленькое отступление, чтобы объяснить путаницу в нумерации и больше к ней не возвра-

щаться, ибо она с цензурованием стихов прямо не связана.

Если мы просмотрим разные экземпляры «Современника», мы убедимся, что они несколько отличаются друг от друга, потому что тираж печатался не весь сразу и в некоторые его части можно было внести исправления.

Есть экземпляры, где два стихотворения: «О чем ты воешь, ветер ночной» и «Поток сгустился и темнеет» были напечатаны как одно, за номером XIII. За ними шло стихотворение «Сон на море» (№ XIV), а далее интересующее нас стихотворение «Не то, что мните вы, природа» (№ XV)¹³⁴.

Существует отлично сохранившийся экземпляр журнала из коллекции цензурного комитета¹³⁵, где видно, что вырезаны были страницы с № XIII и XIV; текст под № XIII был разделен на два стихотворения, как ему и полагалось быть, и нумерация передвинулась на один номер вправо. Получилось два пятнадцатых номера. В части тиража успели исправить и эту ошибку, подставив к знаку XV литеру I; так как она подставлена была в уже сверстанную страницу, то во всех экземплярах немного сместилась.

Стихи же «О чем ты воешь, ветер ночной» и «Поток сгустился и темнеет» оказались объединенными, вероятно, потому, что редакторы — может быть, даже сам Пушкин — располагали стихи в определенном порядке друг за другом. Так, стихотворение «Два демона» имело вначале № XIV, затем перед ним было вставлено какое-то другое стихотворение и XIV исправлено на XV. Крылов в первом своем письме так и обозначает его номером пятнадцатым, а «Не то, что мните вы, природа» — шестнадцатым. 28 июля он пользуется уже новой нумерацией — на номер больше (XVI и XVII); очевидно, перед ними стало еще одно новое стихотворение. Когда же он исключил из рукописи «Двух демонов», остались те самые шестнадцать стихотворений, которые и стали набирать для книжки, и, набирая, сделали ошибку, в которой он, цензор Крылов, повинен уже не был.

* * *

Теперь можно вновь вернуться к Крылову, который получил назад стихотворение «Два демона» и густо зачеркнул свою подпись, прорвав бумагу.

Второе же стихотворение — «Не то, что мните вы,

природа...» он вернул, исключив две строфы. Тогда Пушкин, скрепя сердце, заменил их точками, как делал всегда с собственными произведениями. Замене этой Крылов воспротивился.

Отказ Крылова допустить точки в стихотворении Тютчева вызвал у Пушкина реакцию, подобную той, которая когда-то последовала на вычерки в «Анджело». По-видимому, он написал Крылову письмо, нам неизвестное, из которого мы знаем одну лишь, но поистине драгоценную строчку, сохраненную в ответном письме Крылова от 28 июля:

«Относительно замечания вашего на предполагаемые в № XVII-м точки, «что цензура не тайком вымарывает и в том не прячется», долгом полагаю присоединить, с своей стороны, что цензура не вправе сама публиковать о своих действиях; тем более она не вправе допустить посторонние на это намеки, в которых смысл может быть не одинаков. По крайней мере я не могу убедиться ни в позволительности отмечать точками ценсурные исключения, ни в том, чтобы такие точки могли быть нужны для сбережения литературного достоинства»¹³⁶.

Крылов не напрасно защищал престиж цензуры. Было весьма желательно, чтобы она меньше напоминала о себе. «Неблагонамеренных» авторов официально не существовало. Все они были отлично преданы престолу и православию; они могли быть лишь недостаточно осторожны — и тогда их нужно было направить на путь истинный, но лучше всего незримой рукой. Точки давали повод полагать, что сочинитель упорствует в заблуждении и потому подвергся некоему насилию. Возникал соблазн.

Это была та же политика, во имя которой Чаадаева удобнее было объявить сумасшедшим, чем подвергнуть политическому преследованию.

Еще в 1825 году Плетнев писал Пушкину: «Если цензор что вычеркнет из твоих пьес, я буду печатать с пропусками, прибавив на конце, что они сделаны самим автором: без того нельзя»¹³⁷.

О наивная ложь патриархальной эпохи, когда объявляли публично, что никто иной, помимо автора, не вторгся в его текст, хотя имел такую возможность!

Пушкин обманывал себя: времена Красовского не возвращались. Все совершенствовалось, в том числе и цензура, — и письмо Крылова было знамением этого мрач-

ного прогресса. Но оно говорило не только о силе, но и о слабости.

Николаевское правительство начинало бояться общественного мнения.

Пушкин требовал, чтобы государственные институты от общественного мнения не прятались. За это он и получил наизидание от чиновника департамента изящной словесности, который по официальной своей должности имел суждение и о литературных достоинствах усекаемых им сочинений.

В ответе Крылова Пушкину был известный резон: литературное достоинство стихотворения Тютчева значительно пострадало, и «сберечь» его можно было разве восстановив выпущенные места. Но все же было небезразлично — печатать ли обесмысленное стихотворение, без согласования лежащих рядом строк, или обозначить в тексте вынужденный пропуск.

Точки в тексте тютчевского стихотворения остаются красноречивым напоминанием о борьбе великого русского поэта за «сбережение литературного достоинства» стихов другого великого поэта и об одержанной им печальной победе.



***«Литератор лучших,
не нынешних времен»***

23 июня 1836 года Пушкин закончил «Капитанскую дочку» и, вернувшись в Петербург, стал переписывать ее для печати.

Пушкин отлично сознавал, что цензурная история этого романа — о дворянине, нарушившем долг присяги и вступившем в общение с разбойниками и бунтовщиками, — будет не из легких. К тому же и сам Пугачев — изверг, самозванец, преданный анафеме, выглядел в романе очень привлекательным — человеческим и героичным — куда более, чем в «Истории пугачевского бунта».

Пушкин хотел издавать роман отдельной книгой¹³⁸,

и это давало ему некоторую свободу. Ему принадлежало теперь право выбрать цензора и ускользнуть из-под опеки Крылова и навязанного ему Гаевского.

Около 27 сентября, переписав набело первую часть романа, он посылает следующее письмо:

«Милостивый государь Петр Александрович.

Некогда, при первых моих шагах на поприще литературы, Вы подали мне дружескую руку. Ныне осмеливаюсь прибегнуть снова к Вашему снисходительному покровительству.

Вы один у нас умели сочетать щекотливую должность цензора с чувством литератора (лучших, не нынешних времен). Знаю, как Вы обременены занятиями: мне совестно Вас утруждать; но к Вам одному можем мы прибегать с полной доверенностью, и с искренним уважением к Вашему окончательному решению. Пеняйте ж сами на себя»¹³⁹.

Здесь мы прервем чтение письма, чтобы задержаться несколько на личности его адресата.

* * *

Петр Александрович Корсаков был братом председателя цензурного комитета, который вначале тоже был просто Корсаковым, а потом унаследовал княжеский титул и фамилию «Дондуков» от своего тестя.

Петр Александрович же остался лицом не титулованным.

Биография его, однако, имеет самостоятельный интерес¹⁴⁰.

Он родился в 1790 году; с раннего детства вспыхнувшая страсть к морю заставила его заняться морскими науками, и четырнадцатилетним гардемаринном он готов был уже отправиться в кругосветное плавание, но отец почел за благо удержать его при себе. Через три года он, однако, осуществил свою мечту; мы находим его в составе русской миссии в Голландии. Молодой офицер становится невольным участником европейской политической жизни в ее тревожные годы — 1808—1810; он принят при дворе, но столь же охотно посещает дома амстердамских негодяев. Дочь одного из них становится его женой. Он привязывается к Голландии, изучает язык и литературу страны и не порывает связи с ней до конца дней своих. Первым наставником его в голландской словесности был крестьянин Херрит, са-

довник замка Оудмеэрстеэн, из уст которого он впервые услышал стихи «отца Катса» — великого поэта Голландии; через тридцать лет Корсаков отдаст дань уважения поэту и добрым словом помянет «садовника-филолога» в большой монографии о Катсе¹⁴¹.

Политические интересы Корсакова растут вместе с литературными и театральными.

В 1811 году Корсаков — в России, а через год — уходит в ополчение.

Еще до своего отъезда в Голландию он становится страстным театралом и любителем литературы. Он принят у Шишкова, Державина¹⁴²; вообще его тянет к «старой школе»; печать классицизма лежит на собственных его сочинениях¹⁴³. В октябре 1813 года в Петербурге ставят его трагедию «Маккавей». Трагедия была героична, патриотична и пронизана либеральными веяниями; она шла с большим успехом. А в 1816 году он оставляет Петербург и уезжает в деревню, в село Буриги, Псковской губернии, и пишет там стихи о блаженстве жить в кругу родных вдалеке от соблазнительного света. В Петербурге у него были какие-то неприятности, семейные — развод с женой, — а может быть, и другие.

Как бы то ни было, он уединяется в деревне и с головой уходит в литературные занятия. В 1817 году выходят его журналы — «Русский пустынный, или Наблюдатель отечественных нравов» и потом — с июля — «Северный наблюдатель», которые он издает совместно с М. Н. Загоскиным, известным романистом и театралом — таким же, как он, — давним его другом.

У Корсакова был еще один брат, Николай Александрович, моложе его на десять лет. Это известный по пушкинским стихам лицейский его товарищ, постоянный издатель рукописных лицейских журналов, поэт, музыкант, композитор. Он скончался от чахотки во Флоренции в 1820 году, и Пушкин написал тогда стихотворение «Гроб юноши», а затем вспомнил о «кудрявом певце, с огнем в очах, с гитарой сладкогласной» в элегии «Роняет лес багряный свой убор...»

Через Николая Корсакова лиценсты поддерживали связь с его братом. Первый поэт лицейский, «Олосинька» Илличевский, собирався, воспользовавшись этой протекцией, поставить в Петербурге свою пьесу. Это было в 1815 году. Пьесу он не поставил, но в журналах Корсакова мы находим постоянно стихи и эпиграммы Илличев-

ского. И не только Илличевского — в первом номере «Северного наблюдателя» отдел «Стихотворения» открылся романсом «Певец» с полной подписью: Александр Пушкин.

Так Пушкин становится постоянным «вкладчиком» журнала Корсакова; там помещено четыре его лицейских стихотворения и эпиграмма.

Впрочем, этот счет неточен: всего Корсаков напечатал шесть лицейских стихотворений Пушкина.

Шестое он поместил через двадцать три года в журнале «Маяк», соиздателем которого был. Стихи эти сообщил ему бывший лицеист барон Гревениц; они назывались «Mon portrait» и были написаны по-французски. Корсаков напечатал их с подстрочным переводом и снабдил маленькими примечаниями, вероятно, по личным воспоминаниям.

«Я свеж лицом, волосы мои белокуры», — пишет Пушкин. «В молодости Пушкина волосы его были почти светлорусы», — замечает Корсаков¹⁴⁴.

Вряд ли их встречи были часты. Корсаков почти все время жил в деревне или в уездном городе Порхове. Вероятно, больше всего он слышал о Пушкине от брата.

«Пушкин был душой общества, а веселость его неистощимая, как истинный гений, — писал он в примечаниях к поэтическому автопортрету Пушкина. — Таков именно был Пушкин, когда присылал мне первые стихи свои для печати. И теперь еще храню я, как клейнод, собственно-ручное письмо его, в котором он напоминал мне о том за два месяца до своей смерти»¹⁴⁵.

Так он и отвечал Пушкину на это письмо: «Не одна дружба Ваша к покойному брату Николаю, — сознание гениальности Вашей — заставляла меня радоваться Вашим успехам»¹⁴⁶.

Корсаков писал Пушкину, как он гордился тем, что поэт, «долженствовавший прославить имя свое и русскую словесность», избрал его журнал для общения с читателями. Конечно, он смотрел на Пушкина уже ретроспективно, хотя основания для гордости у него действительно были. С другой стороны, мы можем предположить, что сотрудничество в «Северном наблюдателе» оказалось небесполезным и для Пушкина, ибо журнал был явлением примечательным и может кое-что объяснить в деятельности Корсакова-цензора.

«Северный наблюдатель» был журнал примечательный, и не только потому, что Корсаков печатал в нем отрывки из трагедий, звучавших как тираноборческие, — в том числе и свой перевод «Макбета», не допущенный цензурой к полному изданию и постановке на сцене¹⁴⁷, — но и потому, что он несколько раз высказывался на его страницах как смелый антидеспотический публицист. Он заявлял прямо, что безнравственна та земля, где одному человеку воздают божеские почести, что жалок и сам этот человек, не ведающий ни истины, ни дружбы, которому никто не покажет при жизни его, прославился он или посрамился¹⁴⁸. С первого же номера своего журнала Корсаков стал проповедовать свободу мыслей, в которой он видел условие политического благополучия¹⁴⁹. А с номера шестого он начинает печатать свой обширный трактат «Краткая история свободы тиснения во Франции»¹⁵⁰.

Корсаков начинает с якобинской диктатуры и заявляет себя непримиримым ее противником. Для него это — деспотизм, которому неизбежно сопутствует ограничение свободы печати. За ним следует деспотизм Наполеона, сохраняющий «внешний вид республики наук при покорении Республики французской под иго первого ее консула».

Главы о Наполеоне у Корсакова написаны с истинной политической проницательностью. Он показывает тлетворное влияние императорской власти на литературу: создание официозов и сравнительная свобода точных наук при угнетении наук исторических, философии и поэзии, учреждение верховной полиции над делами литературы. Он подробно прослеживает, как авторы гимнов в честь республики становились придворными поэтами, и в тоне его звучит негодование и презрение. А далее он касается таких щекотливых тем, что невольно удивляешься, как прошло через цензуру собственное его сочинение.

«Ничто столько не доказывает присутствия деспотизма, — пишет он, — как беспрестанные применения»¹⁵¹. Это пишется в период, когда раннедекабристская трагедия начинает переполняться «применениями», намеками на «тиранию» в России.

Рассказывая о дискуссии в парламенте в 1814 году о

предварительной цензуре, Корсаков приводит мнение Ренуара, резко возражавшего против предварительного одобрения королем новых периодических сочинений. Счастье, что никто не напомнил об этом Корсакову в 1836 году.

Он закончил свое сочинение следующим пассажем:

«Где же та *неограниченная свобода тиснения*, которою Франция столько думает величаться?.. Может быть, она существует в одной только Англии; может быть, одна только конституция сего государства совместна с нею...»¹⁵²

Таков был журнал, издатель которого подал восемнадцатилетнему Пушкину «дружескую руку».

* * *

Корсаков возвращается в Петербург в 1835 году; вечно стесненные обстоятельства побуждают его искать службы. Он становится цензором Санктпетербургского комитета и ради заработка сотрудничает в «Энциклопедическом лексиконе» Плюшара; одна из статей — о 18 брюмера, — представленная им, привела к длительному конфликту с редактором издания Гречем, который написал донос Дондукову-Корсакову. Греч находил статью наполненной революционными выходками; Корсаков стоял на своем. В первый раз, вероятно, писатель и цензор менялись местами.

Началась тяжба; статья была все же напечатана, а Греч отказался от издания¹⁵³.

Все это время Корсаков не изменяет своим давним увлечениям. Он собирается издать свой перевод «Макбета», который он печатал когда-то частями в «Северном наблюдателе», а затем — в 1821 году — переработал. В 1836 году перевод этот был запрещен¹⁵⁴. Он продолжает писать и переводить для себя со своего любимого голландского языка, время от времени помещая свои переводы в «Сыне отечества» и «Библиотеке для чтения», он готовит две монографии — о Иакове Катсе и Иосте фан дер Фонделе, пишет «Очерки голландской литературы», а через восемь лет издает и «Опыт нидерландской антологии», включающий произведения более тридцати поэтов — от средневековья до XIX века; пишет оригинальные повести по своим голландским впечатлениям... Он был небольшой писатель, но образованный филолог, знавший восемь языков. Интересы его ле-

жали в области западного средневековья, раннего и позднего.

Время шло; Корсаков старел; либеральный дух, которому он отдал дань в дни своей молодости, все более выветривался. Место его заступала консервативность, религиозный квиетизм, к которому он был склонен и ранее. Его филологические занятия поддерживали в нем эту склонность, или, может быть, наоборот — эта склонность диктовала ему выбор тем, образов, сюжетов. Его идеал — Иаков Катс, поэт и моралист, государственный муж и проповедник. Корсаков все дальше уходил в глубины христианской мистики: в легендах о Теофиле, о святом Брандане он искал религиозного нравственного идеала и патриархального «народного духа». Их он противопоставлял современной литературе. Писатель истинно религиозный, изучая течение веков, говорил он, видит требования своего века; он вдохновлен стремлением отвести волны от потопления его родимого пепелища...¹⁵⁵ Через несколько лет после смерти Пушкина он будет проповедовать христианскую любовь, самодержавие, православие и народность со страниц воинствующего обскурантного «Маяка». Он будет писать о водворении истины и здравого вкуса, о любви к ближнему в этом странном журнале, где кликушествовал «сотоварищ» его, Степан Онисимович Бурачок, полубезумный святоша, слогом литературного гаера поучавший Лермонтова и провозглашавший, что Пушкин отбросил русскую словесность на три десятилетия назад. Конечно, была разница между Корсаковым и Бурачком — разница в позиции, в литературном опыте, в знаниях и культуре; но имена их оказались связанными в сознании современников:

Просвещения Маяк
Издает большой дурак,
По прозвищу Корсак;
Помогает дурачок,
По прозванью Бурачок.

Так мимоходом оценил деятельность Корсакова в 40-е годы С. А. Соболевский¹⁵⁶.

* * *

И все же по своему духовному облику Корсаков выделялся среди прочих членов комитета. Современники единодушно вспоминали о его доброжелательности,

спокойствию и непамятозлобии. «П<етр> А<лександрович>, как обязанный врач, считал долгом во всякое время, пору, погоду, при каких бы то ни было обстоятельствах, поспешить на помощь ближнему, — вспоминал о нем Нестор Кукольник, хорошо знавший его в последние годы. — Никогда не скучал он и не тяготился работой. Литература наша, в которой так мало писателей, но зато бесчисленное множество пишущих, отнимала у него по наружности все время; несмотря на то, срочные и бессрочные издания ценсоровались с удивительной быстротою, охотно и беспристрастно. По естественному чину природы, любя одних более нежели других, он не стеснялся своими привязанностями. Ни один из лучших писателей наших не имел ничтожного случая пожаловаться на его несправедливость. О других не знаю; но уверен, что то же можно сказать и в отношении ко всему пишущему миру. Ценсурные занятия, казалось, должны были поглощать всю его деятельность; правда, случались дни, когда из угождения своему нежно любимому семейству и вместе исполняя долг светской учтивости, он иногда садился в карету с корректурным листом журнала, иногда в гостях улучал минуту, чтобы уединиться в чужом кабинете и просмотреть ценсурные корректуры; но все это делалось без жалоб, без ропота, незаметно, тихо, спокойно»¹⁵⁷.

Но дело было не только в индивидуальных чертах характера самого Корсакова. На его отношении к службе и поведению лежал явственный отблеск уже ушедшей эпохи — первых либеральных лет александровского царствования, с их освободительным патриотическим пафосом; он был свидетелем и участником преддекабристского брожения идей; в нем не угасло преклонение перед высотами человеческой духовной культуры, к которой он прикоснулся еще в ранней молодости. Он чем-то напоминал Сергея Николаевича Глинку — житейской непрактичностью, одержимостью литературой, даже своим несколько старомодным этическим пафосом, хотя и не принимавшим столь экстравагантных форм. Оба они писали о свободе печати во Франции и оба на посту цензоров оставались больше всего литераторами и меньше всего чиновниками, не приобретя ни карьеры, ни житейского благополучия.

И так ли уж случайно это сходство? Не порождено ли оно во многом духовным строем поколения, прошед-

шего сквозь горнило двенадцатого года и последующих за ним лет?

Когда-то Корсаков писал, что откровенное и чистосердечное суждение всегда полезно, даже если идет вразрез с намерениями правительства. С того времени утекло много воды, и теперь цензор Корсаков, вероятно, высказывался бы с нужными оговорками, но существо его мыслей не переменялось полностью. В 1836 году, представляя в комитет немецкую рукопись Эрнста Неймана, с резкой критикой крепостнических отношений в экономике Белоруссии, он вносит в нее серьезные изменения, но настаивает на разрешении, ибо автор «всегда праводушен и благонамерен»¹⁵⁸. Правкой Корсакова автор остался удовлетворен. И это не единственный пример, подтверждающий слова Кукольника, что у Корсакова обычно не было конфликтов с писателями: через несколько лет он подает мнение о драме Великопольского «Янетерский», — мнение, перерастающее в критический разбор, — и автор сохранил благодарную память о добросовестности своего неожиданного рецензента, хотя тот и не допускал рукопись к печати¹⁵⁹.

Конечно, и он не мог, да и не всегда хотел противостоять требованиям цензурной политики; в июле 1837 года он запретил статью Одоевского о «Современнике» и Пушкине, памятуя рекомендации министра воздерживаться от сочувственных упоминаний в печати имени поэта¹⁶⁰. Но при жизни Пушкина писатели его круга предпочитали обращаться именно к Корсакову: Вяземский отдает ему на цензурование своего «Фонвизина», Гоголь — «Ревизора», Дурова — через комиссионера — свои «Записки кавалерист-девицы».

Около 27 сентября 1836 года к Корсакову обращается и Пушкин, прося его принять под свое покровительство первую половину романа «Капитанская дочка» и при этом сохранить в тайне имя автора¹⁶¹.

Мы не знаем точно, какие соображения заставляли Пушкина выпускать свой роман анонимно. Вероятно, тому был целый ряд причин, в том числе и литературных. Повествование Гринева, стилизованное под старинные семейные записки, должно было создавать у читателя ощущение реальности, достоверности выведенных в нем лиц. Рассказчиком повести и ее автором выступал Гринев, настоящий же автор скромно принимал на себя титул «издателя» — ему попала в руки эта правдивая

повесть и он напечатал ее, позволив себе написать лишь эпиграфы и переменить некоторые имена.

Это был обычный в прошлом веке литературный прием. Он развился из литературных мистификаций, пышным цветом расцветавших еще в двадцатые годы. Но искушенные читатели знали, что это прием, и в «издателе» часто угадывали истинного автора. Пушкин сам приучал их к этому, — например, «Повестями Белкина», где истинным автором был якобы Иван Петрович Белкин, персонаж уже совершенно литературный, а издателем значился некто «А. П.». Прошло некоторое время, и читатели узнали, что «Повести Белкина» принадлежат Пушкину.

Может статься, что Пушкин собирался вновь прибегнуть к этому приему, который, между прочим, сулил выгоду не только литературную. Когда в 1831 году Пушкин издавал «Повести Белкина», он писал Плетневу с неподражаемым лукавством: «На днях отправил я тебе через Эслинга повести покойного Белкина, моего приятеля. <...> Отдай их в цензуру земскую, не удельную»¹⁶². Скрывшись за спиной Белкина, истинный автор получал таким образом возможность избежать «удельной» цензуры императора.

Пушкин имел основание опасаться за роман о дворянине-пугачевце куда больше, чем за новеллы Белкина. Издавая «Капитанскую дочку» отдельно, он должен был подумать и о том, как миновать «удельную» цензуру. Избранная им литературная форма позволяла это сделать, но нужно было найти «земского» цензора, который бы посмотрел сквозь пальцы на сокрытие имени.

Здесь-то Пушкин и обратился к Корсакову, напомнив ему о давнем знакомстве.

* * *

Пушкин мог быть вполне удовлетворен своими переговорами с Корсаковым. Петр Александрович ничего не выносил на заседание комитета; он предпочитал решать мелкие вопросы прямо с автором. Он сразу же предложил Пушкину встречу дома — у себя или у него — и сумел обойти некоторые формальности. В «Капитанской дочке» действующим лицом была Екатерина II, и потому начинал действовать § 9 цензурного устава о рассмотрении сочинений, касающихся двора. В 1831 году было разослано дополнение к этому параг-

рафу, где было сказано, что «анекдоты» (бытовые сцены) о государях представляются на разрешение министру двора¹⁶³. Дополнение действовало, когда речь шла о здравствовавших членах августейшей фамилии. В этих случаях автору обычно предлагалось сослаться на какой-либо официальный документ в подтверждение справедливости его «анекдота». По отношению к августейшим особам, в бозе почившим, проформы соблюдались меньше; о допустимости «анекдота» мог в иных случаях судить и цензурный комитет. Корсаков свел на нет и эту формальность: он доложил о заключительных сценах «Капитанской дочки» председателю комитета, по-видимому, устно, так как в протоколах о докладе его нет ни слова. Надо думать, он представил дело так, как предварительно и договорился в письмах с Пушкиным: происшествие — романический вымысел, основанием к коему служит народная молва; отношение автора к «великой Екатерине» вполне почтительно и благожелательно¹⁶⁴. Цензурование рукописи прошло без инцидентов.

Несколько сложнее было сохранить аноним. Еще в 1830 году было предписано, чтобы ни одна статья не появлялась в печати без имени сочинителя. Среди журналистов началась паника. Невозможно было подписывать все мелкие заметки и объявления. Общий ропот был таков, что запрещение пришлось взять обратно; в январе 1831 года было дополнительно разъяснено: печатать анонимно возможно, но имя автора должно быть известно цензору; если же статья доставлена от неизвестной особы, то сие тоже должно быть объявлено цензору, но тогда вся ответственность падает на издателя, как бы на сочинителя статьи¹⁶⁵.

В 1836 году положение это оставалось в силе. Существовал реестр поступления рукописей, где отмечались даты их поступления, одобрения и обратной выдачи, имя цензора, автора («если он известен») и лица, представившего рукопись; иногда это был сам автор, иногда — издатель журнала, иногда — просто доверенное лицо. В последнем случае представлявший рукопись перекладывал на себя часть ответственности, он должен был объясняться по поводу крамольных мест, а по окончании всей процедуры цензурования забирать рукопись обратно.

Этот порядок и разъяснял Пушкину Корсаков в письме от 28 сентября. Он предупреждал, что цензура,

допуская анонимы и псевдонимы, требует, чтобы представитель рукописи был реальным, а не фиктивным. Тогда Пушкин обращается к Плетневу с просьбой взять на себя попечение над «Капитанской дочкой», но разговор с Плетневым происходит лишь в конце октября, когда Корсаков уже ознакомлен со всем романом. 29 же сентября, т. е. на следующий день после письма Корсакова об анонимах, в «комитетских регистрах» появляется скромная запись, ничем не отличающаяся от других.

Она гласит, что 29 сентября 1836 года от г. Дирина Корсакову была передана рукопись «Русский Декамерон 1831 г.». Далее против этой записи значится, что Корсаков подписал разрешение 10 октября, а 15 октября рукопись была «отдана человеку Петра Александровича», т. е. самого Корсакова¹⁶⁶.

Запись эта заслуживает того, чтобы присмотреться к ней внимательнее.

* * *

«Русский Декамерон 1831 г.» был произведением ссыльного Кюхельбекера и включал в себя любимую его поэму «Зоровавель», о которой он еще в 1832 году писал в своем дневнике: «„Зоровавель“ мой в руках Пушкина. Хотелось бы мне, чтоб его напечатали...»¹⁶⁷

Однако напечатать произведение Кюхельбекера было вовсе не так просто. В течение десяти лет он подавал просьбы о разрешении издавать свои труды, не выставляя на них своего имени. 9 октября 1836 года он писал на имя Бенкендорфа, и Бенкендорф входил с докладом к императору. Последовал отказ.

Он писал еще раз, в 1840 году, шефу жандармов Орлову и Жуковскому, и снова Жуковскому — в 1845 году. Жуковский хлопотал. На все просьбы неизменно следовала запрещающая высочайшая резолюция¹⁶⁸.

Лишь один раз хлопоты увенчались успехом, и в 1835 году Пушкин издал анонимно трагедию «Ижорский». Кроме того, несколько стихотворений удалось напечатать без имени в дельвиговских альманахах — «Подснежник» и «Северные цветы» в 1829 году; кое-что — в «Сыне отечества» и «Библиотеке для чтения», — видимо, тоже через Пушкина¹⁶⁹. Об отдельном издании думать и не приходилось.

Попытки такого рода были чреватые серьезными ос-

ложнениями и для самого Кюхельбекера, который мог быть каждую минуту лишен возможности даже переписываться с родными. В мае 1835 года он пишет Борису Глинке, своему племяннику и посреднику в литературных делах:

«Благодарю тебя, мой друг, что обещаешься хлопотать о моих детищах. Но прошу отложить все старания касательно их до возвращения Александра Сергеевича: у меня много причин, по которым желаю, чтобы никто не знал даже, что Зоровавель написан мною»¹⁷⁰.

Эта-то поэма «Зоровавель» с прозаическим обрамлением и составила книгу «Русский Декамерон 1831 г.», попавшую в сентябре 1836 года в руки цензора Корсакова. Предваряя события, скажем, что она вышла в свет в том же году и была отпечатана в Гутенберговой типографии, в которой печатался и пушкинский «Современник». На титульном листе его стояло: «изд. И. Ивановым», в печатном же объявлении «Современника» Иванов был указан как автор книги¹⁷¹.

Один из экземпляров этого чрезвычайно редкого издания был обнаружен в 1939 году и тогда же привлек к себе внимание. Было высказано предположение, что издатель — Пушкин¹⁷².

Публикация письма Кюхельбекера Б. Глинке и наблюдения Н. П. Смирнова-Сокольского дают дополнительные аргументы в пользу этого предположения.

И еще несколько аргументов мы получим, если внимательно вдумаемся в цензурную запись.

Прежде всего, кто такой Дирин, представлявший книгу в цензуру?

Среди друзей семьи Кюхельбекера, оставшихся верными ей и в несчастье, пожалуй, самыми близкими были сестры Брейткопф. Одна из них — Наталья Федоровна — была замужем за Дириным и имела пасынка Сергея, о котором и идет речь.

Этот С. Н. Дирин был в 1836 году молодым человеком, двадцати двух лет, и только четыре года как кончил Санкт-петербургский благородный пансион. Приятель его, И. И. Панаев, вспоминал о детском благоговении, которое Дирин испытывал перед Пушкиным. Пушкин поощрял начинающего литератора и даже написал отзыв о его переводе «Моих темниц» Сильвио Пеллико, который Дирин перепечатал потом как предисловие к книжке¹⁷³. Дирин носил Пушкину письма от

Кюхельбекера, и Пушкин даже полагал одно время, что он служит в III Отделении, пока Плетнев наконец со смехом не разъяснил ему ошибку¹⁷⁴. Посредником между Пушкиным и Кюхельбекером Дирин был уже несколько лет. В 1834 году Кюхельбекер просил прислать сочинения Пушкина; Дирин отобрал в лавке Смирдина на счет Пушкина нужные книги и отправил их¹⁷⁵. А в конце августа — начале сентября 1836 года он опять пересылает Пушкину письма Кюхельбекера, которые тайком взял у матери, чтобы показать своему кумиру¹⁷⁶.

Если Пушкин хотел скрыть свое имя, представляя рукопись Кюхельбекера в цензуру, он должен был поручить это человеку надежному и проверенному, через которого уже издавна осуществлял связь с Кюхельбекером. Таким именно человеком был Дирин.

Взглянем на запись в последней графе ведомости, где расписывались в получении рукописи авторы или их посыльные и доверенные лица.

Здесь мы найдем росписи Гоголя, 13 марта взявшего назад процenzурованную рукопись «Ревизора», Бутовского, занимавшегося изданием записок Дуровой, Ишимова, представлявшего сочинения А. О. Ишимовой, популярной детской писательницы.

Иногда цензоры брали рукописи сами или присылали за ними, — это делалось тогда, когда они были хорошо знакомы с авторами и издателями, предпочитавшими иметь дело с ними лично. Так, Корсаков берет домой «Фонвизина» Вяземского, а Никитенко — рукописи, представленные Краевским.

Если автор или издатель не являлся и местожительство его не было известно, рукопись оставлялась в комитете, о чем делалась соответствующая запись.

Рукопись «Русского Декамерона 1831 г.» была «отдана человеку Петра Александровича».

Корсаков, занятый сверх меры, берет на себя труд вернуть рукопись — кому? Безвестному молодому человеку, только-только входившему в литературу, с которым он, конечно же, не был знаком домашним образом.

Нужно думать, что Корсаков возвращал рукопись не Дирину.

Он возвращал ее Пушкину — истинному издателю, к которому питал безграничное уважение.

Если наше предположение правильно, то представ-

ления о связи Корсакова и Пушкина в это время следует несколько расширить.

Тогда слова Пушкина в письме к Корсакову: «к Вам одному можем мы прибегать с полной доверенностью» — не обычный комплимент, а истинная правда.

* * *

Следы этой доверенности мы можем уловить и позже. Но вначале закончим о «Капитанской дочке».

Краевскому и Враскому, хозяину Гутенберговой типографии, удалось убедить Пушкина не издавать «Капитанскую дочку» отдельно, а напечатать в «Современнике». Но и сделав это, Пушкин не отказался от мысли об особом издании. Он согласился на предложение книгопродавца Льва Жебелева присоединить роман к непроданным экземплярам «Повестей» 1834 года и выпустить в продажу как «Романы и повести». Издание это в свет не вышло, и сохранился один-единственный его экземпляр. На нем стоит виза цензора П. Корсакова с датой: 8 января 1837 года. Билет на выпуск из типографии Корсаков подписал 5 мая, уже после смерти Пушкина¹⁷⁷.

Итак, Корсакову все же суждено было стать цензором «Капитанской дочки» — и фактическим, и официальным. Быть может, его предварительному разрешению Пушкин был обязан тем, что роман, отданный в «Современник», не пробудил подозрительности цензора Крылова. Литератор «лучших, не нынешних времен» не заставил Пушкина раскаиваться в своем обращении к нему.

Силой исторической случайности Корсакову не довелось поставить свою цензорскую подпись на пушкинских книгах, вышедших при жизни поэта. Его имя оказалось связанным с неосуществленными замыслами Пушкина-издателя.

Впрочем, во всем этом есть и своя закономерность — и в том, что именно Корсаков — литератор старого толка, не чиновник, не коммерсант — оказался невольным участником неудачных издательских предприятий великого русского поэта; и в том, что самые предприятия были неудачны; а главное, в том постоянстве, с которым Пушкин в 1836 году стремится сделать Корсакова своим цензором.

В библиотеке Пушкина сохранились третья и четвер-

тая части «Стихотворений», которые он готовил новым изданием¹⁷⁸.

На них зачеркнуты прежние цензорские визы — Семенова — 1832 года и Никитенко — 1835 года. Вместо них написано: «2-го декабря 1836 г. Цензор П. Корсаков», а на последнем листе его же рукой: «Позволяется» — и подпись.

Итак, вновь Корсаков — вместо Семенова, уже не служившего, минуя Никитенко, к которому нет доверия.

Издание не вышло, как и другие, задуманные Пушкиным накануне гибели¹⁷⁹. Еще два месяца — и связь Пушкина с Корсаковым оборвется так же внезапно, как возобновилась. В руках у Корсакова вещественным напоминанием о ней останутся последние письма Пушкина — семейные реликвии и более чем реликвии — «клейноды», знаки отличия и достоинства, даруемые избранным вельможам запорожского воинства. «Вы один у нас умели сочетать щекотливую должность цензора с чувством литератора (лучших, не нынешних времен)». В самом деле, это был клейнод, и Корсаков сделал многое, чтобы оказаться его достойным.



Заключение



Наша книга подошла к концу. Мы рассказали несколько эпизодов из истории книги и прессы 20—30-х годов прошлого столетия, тех эпизодов, которые прямо или косвенно связаны с «умственными плотинами», стоявшими перед просвещением.

Нам хотелось дать почувствовать читателю, что избранная нами тема сложна и многообразна, что литературная политика царизма имела свои законы, писанные и неписанные, и что законы эти всегда нужно принимать в расчет, когда заходит речь об истории отечественного книгопечатания.

Хотя история книжного дела в России еще не написана, однако и то, что удалось выявить исследователям, работавшим в этой области, проясняет многое в истории русской книги, литературы и журналистики.

Известна неприязнь Николая I к журнальной полемике, которую систематически вытравливали из печатных органов. Это меняло облик журналов; полемика в них становилась скрытой или исчезала вовсе. Иногда кажется, что прекратилась литературная борьба. Но это иллюзия, и рассеять ее может только изучение архивных материалов.

Менялись и самые статьи, и не только потому, что изымались из них какие-то куски, не допускавшиеся к печати. Статьи менялись коренным образом, из них что-то выбрасывали, но что-то и дописывали. Из не пропущен-

ных цензурой статей автор выбирал то, что для него было важным, сокровенным, и помещал свои отвергнутые мысли в новые статьи, иногда даже на другую тему и, конечно, в более завуалированной форме. Тут вступал в силу «эзопов язык», а ведь он почти не изучен на материале 1830-х годов. И здесь тоже нельзя создать правильную картину без учета практики царской цензуры. А она сложна; в ней есть такие тонкости, которые не видны глазу современного человека.

«В департаменте... но лучше не называть в каком департаменте. Ничего нет сердитее всякого рода департаментов, полков, канцелярий и, словом, всякого рода должностных сословий. Теперь уж всякий частный человек считает в лице своем оскорбленным все общество. Говорят, весьма недавно поступила просьба от одного капитана-исправника не помню какого-то города, в которой он излагает ясно, что гибнут государственные постановления и что священное имя его произносится решительно всуе. А в доказательство приложил к просьбе преогромнейший том какого-то романтического сочинения, где, чрез каждые десять страниц, является капитан-исправник, местами даже совершенно в пьяном виде. Итак, во избежание всяких неприятностей, лучше департамент, о котором идет дело, мы назовем одним департаментом. Итак, в одном департаменте служил один чиновник...»

Так начинается гоголевская «Шинель». Прочтем эти строки внимательно и вспомним, что из произведений тщательно вычеркивались сколько-нибудь определенные указания на казенные учреждения. Быть может, лукавый юморист намеренно вел эту игру, ходя по острию ножа, ставя начало своей повести на грань запрещения, но не доводя до него?

Если история литературной политики царского правительства неотделима от истории книжного дела, то еще большее значение имеет она при изучении общественной мысли. В ней ясно отражается движение социальных и политических систем, она является стрелкой, по которой можно делать заключения о ходе государственного механизма. Усиление или ослабление цензурного гнета в самодержавной России свидетельствует об изменении условий классовой борьбы, отражает социальные сдвиги, происходящие в обществе. Понимание этого помогает нам проникнуть в глубины исторической жизни, обнару-

живает такие явления и факты, которые господствующие классы стремились скрыть от современников и потомков.

И, наконец, последнее. Наша книга называется «Сквозь «умственные плотины»».

Нам хотелось показать читателю, что русская прогрессивная мысль никогда не прекращала борьбы и что «плотины», воздвигнутые на ее пути реакцией, не в силах были задержать в конце концов ее поступательный ход. Перед нами прошли драматические эпизоды литературной судьбы писателей-декабристов, «Европейца» Киреевского, «Московского телеграфа» Полевого, нескольких журналов, погубленных еще до своего рождения. В бурном круговороте общественной жизни на сторону просвещения становились иной раз люди, от которых трудно было это ожидать: правительственный чиновник Ивановский и даже сами цензоры. Борьба имела свою логику, тактику и стратегию. Быть может, яснее всего это видно на примере Пушкина. Один из самых ярких и духовно одаренных людей своего времени, он был поистине передовой боец на форпостах русского просвещения, боец, до смерти не выпускавший из рук оружия. Рядом с Пушкиным сражались его друзья и соратники — живые и мертвые — декабристы, Карамзин, Вяземский, Жуковский, Киреевский...

Русское просвещение прорывало «умственные плотины».

Примечания

Вместо предисловия

¹ Либеральный цензурный устав 1804 года стал помехой уже в годы Священного союза и военных поселений. С июня 1820 года по май 1823 года заседал комитет по выработке нового цензурного устава. Между тем оказалось, что некоторые параграфы проекта устава вторгаются в область духовной цензуры. Проект был возвращен обратно в комитет для точного разграничения обязанностей светской и духовной цензуры; устав так и не был утвержден Александром I. За этими внешними бюрократическими выкрутасами скрывалась и более существенная причина. Внутренняя политика Александра I представляла классический образец колебаний от либерализма к аракчеевщине, что в конечном счете и объясняет нежелание императора ускорить введение нового жесткого цензурного устава.

Восстание 14 декабря и следствие по делу декабристов показали Николаю I, какое первостепенное влияние оказывает на общество литература. Уже в начале января 1826 года Николай I отдал повеление министру народного просвещения А. С. Шишкову «о скорейшем приведении к окончанию дела об устройстве цензуры» (ЦГИАЛ, ф. 733, оп. 118, № 557, л. 1). 10 июня 1826 года цензурный устав, который современники нарекли чугунным, был утвержден. Однако подспудные течения внутри правительственной бюрократии тайно бурлили и в первые годы правления Николая I. Под предлогом подготовки проекта цензуры иностранных книг началась длительная борьба за отмену цензурного устава 1826 года. Два года спустя, 22 апреля 1828 года Николай I утвердил новый цензурный устав, который по своим основным положениям напоминал либеральный цензурный устав 1804 года.

Устав 1828 года породил в обществе иллюзию ослабления пра-

вительственного гнета. Между тем, вскоре события показали, что самый дух его противоречит политике Николая I, направленной на ограждение страны от революционных и прогрессивных идей. Под сенью цензурного устава 1828 года выростал бюрократический аппарат, призванный свести его на нет. «Теории» противопоставлялась реальная цензурная практика. На наш взгляд, написание декабристской главы «Евгения Онегина» непосредственно связано с борьбой за отмену цензурного устава 1826 года. Пушкин, вероятно, полагал, что при наступлении эры «разумной» цензуры станет возможным коснуться в романе истории царствования Александра I и трагических событий недавнего прошлого. Однако реальная цензурная политика конца 1820-х и начала 1830-х годов не оправдала надежд поэта; Пушкин был вынужден «урезать» замысел «Евгения Онегина» и сжечь декабристскую главу романа. Подробнее об этом см.: М. И. Гиллельсон. Литературная политика царизма после 14 декабря 1825 г. — Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1978. Т. 8. С. 195—218.

Люди без имени

- ¹ Биографию Ивановского см.: Рус. старина. 1874. № 3. С. 392—393; Письмо к нему военного министра А. И. Татищева (14 августа 1826 г.)//Там же. 1889. № 7. С. 112.
- ² Рассказ об этом Ивановского см.: Там же. 1874. № 2. С. 393—399.
- ³ Письмо от 16 марта 1829 г. — ИРЛИ, ф. 9297/6 Ш673.
- ⁴ Там же, письмо от 26 июня 1831 г.
- ⁵ Рус. старина. 1889. № 6. С. 123 (письмо Ф. Глинки от 27 нояб. 1827 г.).
- ⁶ Там же. С. 125.
- ⁷ ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, № 1886, л. 16—17. Ср.: Рязанцев Г. А. Материалы к цензурной истории сочинений Рылеева//Лит. наследство, 1954. Т. 59. С. 332. Здесь пересказ дан по другому источнику.
- ⁸ Базанов В. Ученая республика. М.; Л., 1964. С. 337, 445.
- ⁹ См. записку Грибоедова к Булгарину после 7 марта 1826 г.//Грибоедов А. С. Сочинения. М., 1956. С. 602—603; записка Булгарина к Ивановскому 9 марта 1826 г.//Рус. старина. 1889. № 7. С. 111.
- ¹⁰ Моск. вестн. 1828. № 2. С. 396.
- ¹¹ Подробно об истории издания поэмы см. комментарий Н. И. Мордовченко к изд.: Бестужев-Марлинский А. Полн. собр. стихотворений. Л., 1961. С. 272—277.
- ¹² Письмо от 25 июля 1832 г. — ИРЛИ, 9297/8 Ш673.
- ¹³ Дело по журналу комитета о различных статьях и сочинениях, в пропуске которых гг. цензоры находили затруднение. (ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 615, л. 31).
- ¹⁴ См. об истории печатания романа: Мейлах Б. Литературная деятельность декабриста Корниловича (по неопубликованным материалам)//Литературный архив. Материалы по истории лит. и обществ. движения. М.; Л., 1938. Т. 1. С. 414—422.
- ¹⁵ См. письма его к брату, М. О. Корниловичу, от 29 ноября, 20 декабря 1832 г. и 14 апреля и 18 мая 1833 г.//Корнилович А. О. Сочинения и письма/Изд. подготовили А. Г. Грумм-Гржимайло, Б. Б. Кафенгауз. М.; Л., 1957. С. 357, 360, 370, 372.
- ¹⁶ Цитаты из протоколов по «Делу о рассмотрении различных со-

- чинений, вызвавших сомнения у цензоров и представленных на окончательное решение министру народного просвещения». Ч. 1, ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 612, л. 64, 65, 66 об., 82 — 82 об., 83, 85, 86.
- ¹⁷ ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 611, л. 1 (прошение Ивановского в Главный цензурный комитет).
- ¹⁸ Грумм-Гржимайло А. Г. Декабрист А. О. Корнилович//Декабристы и их время. М., 1932. Т. 2. С. 351—352; повести эти перепечатаны и в упомянутой выше книге А. О. Корниловича «Сочинения и письма».
- ¹⁹ ИРЛИ, ф. 57, оп. 1, № 332, л. 41 об.
- ²⁰ Султан-Шах М. П. М. Н. Волконская о Пушкине в ее письмах 1830—1832 годов//Пушкин: Исслед. и материалы. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 260. (Подлинник по-французски).
- ²¹ Воспоминания Бестужевых/Ред., ст. и коммент. М. К. Азадовского. М.; Л., 1951. С. 175.
- ²² Лит. наследство, 1956. Т. 60, кн. 1. С. 177.
«Что еще предполагалось включить в «Зарницу» — в точности неизвестно. В отдел поэзии могли, конечно, войти стихи и басни П. С. Бобрищева-Пушкина, А. П. Барятинского, В. Л. Давыдова, Ф. Ф. Вадковского, В. П. Ивашева. А чем могла быть нагружена «подвода с прозой», которую Муханов намеревался послать вслед за стихами? Сведений об этом нет. Но можно не сомневаться, что в отдел прозы прежде всего должны были войти рассказы Николая Бестужева: в культурной жизни Читинского острога он принимал самое активное участие и мимо такой идеи, как попытка выпустить литературный альманах, он никак пройти не мог»; комментарий И. С. Зильберштейна (там же, с. 178).
- ²³ ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 612, л. 2 (27 января 1827 г.).
- ²⁴ Там же, № 613, л. 101. О Глебове см.: Вацуро В. Э. «Северные цветы»: История альманаха Дельвига — Пушкина. М., 1978. С. 85—86.
- ²⁵ ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 613, л. 89—93.

«Подвиг честного человека»

- ¹ Мысли и замечания графа Блудова//Ковалевский Е. Граф Блудов и его время. Спб., 1866. С. 243.
- ² Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.; Л., 1937—1949. Т. 11. С. 59.
- ³ Дельвиг А. И. Полвека русской жизни. М.; Л., 1930. Т. 1. С. 95—96.
- ⁴ ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 294.
- ⁵ ЦГИА, ф. 1661, оп. 1, № 1521, л. 5—5 об.
- ⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 225 (письмо не позднее 14 сентября 1825 г.).
- ⁷ Там же. Т. 12. С. 432.
- ⁸ Северные цветы на 1828 год. Спб., 1827. С. 223—225.
- ⁹ Письмо А. Ф. Малиновскому от 28 февраля 1818 г.//Погодин М. П. Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. Спб., 1866. Ч. 2. С. 197.
- ¹⁰ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. Спб., 1866. С. 235. См. также письмо его к Жуковскому 11 марта 1818 г.//Рус. архив, 1868. № 11. Стлб. 1835.

- ¹¹ Письма Е. А. Энгельгардта А. М. Горчакову от 18 января 1818 г. и В. Л. Пушкина Вяземскому от 30 января 1818 г. // Лит. наследство. 1952. Т. 58. С. 33—34.
- ¹² Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921. Вып. 5. Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816—1824 годы. Т. 3. С. 120.
- ¹³ —ъ<В. В. Измайлов>. Московский бродяга//Сын отечества. 1818. № 23 (8 июня), с. 153—158.
- ¹⁴ См.: Томашевский Б. В. Пушкин: Опыт изучения творческого развития. М.; Л., 1956. Кн. 1. (1813—1824). С. 223.
- ¹⁵ Письмо Вяземскому от 24 декабря 1817 г. — Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому 1810—1826. (Из Остафьевского архива). Спб., 1897. С. 43. О критических замечаниях Голицыной на «Историю» Карамзина сообщал Вяземскому В. Л. Пушкин в июне 1818 г. См.: Михайлова Н. И. Письма В. Л. Пушкина к П. А. Вяземскому//Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1983. Т. 11. С. 220.
- ¹⁶ См. свидетельство В. Л. Пушкина в письме П. А. Вяземскому от 8 июня 1818 г.//Цявловский М. А. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина. М., 1951. Т. 1. С. 156. Полный текст письма см.: Михайлова Н. И. Указ. соч. С. 219—220.
- ¹⁷ См. письмо А. И. Тургенева Вяземскому от 3 декабря 1818 г. — Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1899. Т. 1. С. 160.
- ¹⁸ Письма Пушкина А. И. Тургеневу от 1 декабря 1823 и 14 июля 1824 г. — Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 80 и 103. О Пушкине и Голицыной см. статью И. А. Кубасова в кн.: Пушкин А. С. Собр. соч. Под ред. С. А. Венгерова. Спб., 1907. Т. 1. С. 516—526.
- ¹⁹ «М<илонову> М<арин> здравия желает»//Поэты-сатирики конца XVIII — начала XIX в. Л., 1959. С. 194.
- ²⁰ Карамзин Н. М. История государства Российского. Спб., 1817. Т. 6. С. 329. (Курсив мой. — В. В.).
- ²¹ См.: Томашевский Б. Пушкин. Кн. 1. С. 217—225.
- ²² См. в письме П. А. Катенина Н. И. Бахтину от 9 марта 1823 г. //Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину. (Материалы для истории русской литературы 20-х и 30-х годов XIX века). Спб., 1911. С. 39.
- ²³ ГПБ, ф. 682 (Н. Н. Селифонтова), к. III—VI, «Ж».
- ²⁴ Незданные сочинения и переписка Николая Михайловича Карамзина. Спб., 1862. Ч. 1. С. 195.
- ²⁵ ГПБ, ф. 682 (Н. Н. Селифонтова), к. III—VI, «Ж» (письмо от 25 февраля 1818 г.).
- ²⁶ Письмо от 9 января 1828 г.//Письма П. А. Катенина к Н. И. Бахтину. С. 104; см. также с. 22 (письмо от 15 мая 1821 г.), 31, 40, 141, 152—153, 220.
- ²⁷ См. об этом подробно: Тынянов Ю. Архаисты и новаторы. Л., 1929. С. 162—177.
- ²⁸ Письмо Бибиковым от 8 декабря 1866 г. См.: Волк С. С. Исторические взгляды декабристов. М.; Л., 1958. С. 288.
- ²⁹ Лит. наследство. 1934. Т. 16/18. С. 619—631; см. также: Дружинин Н. М. Декабрист Никита Муравьев. М., 1933. С. 97.
- ³⁰ См. о салоне Муравьевых: Дружинин Н. М. Декабрист Никита Муравьев. С. 62—63; Садиков П. А. М. Муравьев и его записки// Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ 1820-х годов. М., 1931. Т. 1. С. 94—95.
- ³¹ Волк С. С. Указ. соч., С. 288.

- ³² Там же. С. 288—289.
- ³³ Медведева И. Н. Записка Никиты Муравьева «Мысли об «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина//Лит. наследство. 1954. Т. 59. Кн. 1. С. 572.
- ³⁴ Ср. свидетельство М. И. Муравьева-Апостола, приведенное С. С. Волком//Волк С. С. Указ. соч. С. 290.
- ³⁵ Письмо от 30 ноября 1816 г.//Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 203.
- ³⁶ Ланда С. С. О некоторых особенностях формирования революционной идеологии в России. 1816—1821 гг.: (Из полит. деятельности П. А. Вяземского, Н. И. и С. И. Тургеневых, М. Ф. Орлова)//Пушкин и его время. Л., 1962. Вып. 1. С. 101.
- ³⁷ Лит. наследство. 1954. Т. 59. Кн. 1. С. 586.
- ³⁸ Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа: Полит. соч. Письма/Изд. подготовили С. Я. Боровой, М. И. Гиллельсон. М., 1963. С. 57, 58.
- ³⁹ См.: Нечкина М. В. Декабрист Михаил Орлов — критик «Истории» Н. М. Карамзина//Лит. наследство. 1954. Т. 59. Кн. 1. С. 557—568.
- ⁴⁰ Вяземский П. А. Полн. собр. соч. Спб., 1883. Т. 8. С. 384.
- ⁴¹ Орлов М. Ф. Капитуляция Парижа: Полит. соч. Письма. С. 58.
- ⁴² Остафьевский архив... Т. 1. С. 347. Ср.: Нечкина М. В. Указ. соч. С. 568.
- ⁴³ Вяземский П. А. Указ. соч. Т. 8. С. 384.
- ⁴⁴ См.: Нечкина М. В. Новое о Пушкине и декабристах//Лит. наследство. 1952. Т. 58. С. 159.
- ⁴⁵ См. подробно: Гессен С. Лунин и Пушкин//Каторга и ссылка. 1929. Кн. 6. С. 86—94; Его же. Источники десятой главы «Евгения Онегина»//Декабристы и их время. М., 1932. Т. 2. С. 130—135.
- ⁴⁶ Боричевский Ив. Пушкин и «нераскаянные» декабристы//Звезда. 1940. № 8/9. С. 262.
- ⁴⁷ Лит. наследство. 1934. Т. 16/18. С. 631.
- ⁴⁸ Письмо к Бибиковым 14 марта 1866 г. Приведено в статье М. К. Азадовского «Во глубине сибирских руд» (Новые материалы). (Азадовский М. К. Статьи о литературе и фольклоре. М.; Л., 1960. С. 450). Вновь выдвинутую гипотезу о Грибоедове как авторе этой эпиграммы (см.: Фесенко Ю. П. Эпиграмма на Карамзина. Опыт атрибуции//Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1978. Т. 8. С. 293—296) нельзя считать достаточно обоснованной.
- ⁴⁹ Письмо С. И. Тургеневу от 4/16 июня 1816 г.//Декабрист Н. И. Тургенев: Письма к брату С. И. Тургеневу. М.; Л., 1936. С. 182.
- ⁵⁰ См. об этом подробно: Ланда С. С. Указ. соч. С. 99—109.
- ⁵¹ Запись в дневнике 31 декабря 1819 г.//Дневники и письма Николая Ивановича Тургенева за 1816—1824 г. Пг., 1921. Т. 3. С. 221. (Архив братьев Тургеневых; Вып. 5).
- ⁵² Волк С. С. Указ. соч. С. 381. См. подробнее: Лузянина Л. Н. Эпиграмма на Карамзина//Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 260—265, где на основании текстуальных сопоставлений выдвигается гипотеза о принадлежности первой эпиграммы Н. И. Тургеневу.
- ⁵³ Князь Вяземский и Пушкин/С предисл. и примеч. Н. Барсукова. М., 1904. С. 37. (Старина и новизна. Кн. 8. Отд. оттиск).
- ⁵⁴ Вяземский П. А. Указ. соч. Спб., 1882. Т. 7. С. 341. Подробно см.: Томашевский Б. В. Эпиграммы Пушкина на Карамзина//Пушкин: Исслед. и материалы. Т. 1. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 208—215.
- ⁵⁵ Не датировано. ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 5082, л. 81.
- ⁵⁶ См. письмо М. Муравьева-Апостола Бибиковым от 8 декабря

- 1866 г.//Волк С. С. Указ. соч. С. 288; Погодин М. П. Н. М. Карамзин... Ч. 2. С. 203—204.
- ⁵⁷ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 306.
- ⁵⁸ Остафьевский архив... Спб., 1899. Т. 3. С. 117.
- ⁵⁹ Там же. С. 121 (письмо от 4 мая).
- ⁶⁰ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 284 (письмо П. А. Вяземского от 12 июня 1826 г.).
- ⁶¹ Там же. С. 285—286 (письмо от 10 июля 1826 г.).
- ⁶² Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 306.
- ⁶³ Дневники Н. И. Тургенева. С. 225.
- ⁶⁴ Письмо от 23 марта 1820 г.//Письма Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. 1810—1826. Спб., С. 98 (подлинник по-французски).
- ⁶⁵ Письмо А. Ф. Малиновскому 30 января 1821 г. — Погодин М. П. Н. М. Карамзин... Т. 2. С. 257.
- ⁶⁶ Карамзин Н. М. История государства Российского. Спб., 1821. Т. 9. С. 147.
- ⁶⁷ Карамзин Н. М. Соч. Спб., 1848. Т. 1. С. 424.
- ⁶⁸ О Румянцеве и его басне см. статью Л. В. Крестовой «С. П. Румянцев — писатель и публицист (1755—1838)». (Русская литература XVIII века: Эпоха классицизма). М.; Л., 1964. С. 91—128.
- ⁶⁹ Карамзин Н. М. История государства Российского. Т. 9. С. 439.
- ⁷⁰ Письмо Булгарину 20 июня 1821 г.//Рылеев К. Ф. Полн. собр. соч. М.; Л., 1934. С. 458.
- ⁷¹ Подробно см.: Волк С. С. Указ. соч. С. 385—388.
- ⁷² Записка А. И. Тургеневу 14 октября 1816 г.//Рус. архив. 1866. № 11/12. Стлб. 1765—1766.
- ⁷³ Лорер Н. И. Записки декабриста. М., 1931. С. 67.
- ⁷⁴ Переписка Александра Ивановича Тургенева с князем Петром Андреевичем Вяземским. Пг., 1921. Т. 1. 1814—1833 годы. С. 40.
- ⁷⁵ Письмо митрополита Филарета графу Ф. П. Литке 5 мая 1867 г.//Чтения в Имп. обществе истории и древностей российских при Моск. ун-те. 1880. Кн. 4. С. 12 (5-я пагинация).
- ⁷⁶ Письмо 1 августа 1819 г.//Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 270.
- ⁷⁷ Стурдза А. Воспоминания мои о Н. М. Карамзине//Москвитянин. 1846. № 9/10. С. 154.
- ⁷⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 306.
- ⁷⁹ Историю полемики см.: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1889. Кн. 2. С. 234 и след.
- ⁸⁰ См. напр., письмо Н. М. Карамзина к князю П. А. Вяземскому. С. 109.
- ⁸¹ Погодин М. П. Н. М. Карамзин... Т. 2. С. 460—461.
- ⁸² Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. Спб., 1862. Ч. 1. С. 20.
- ⁸³ К истории восстания 14 декабря 1825 г. (из дневника флигель-адъютанта Н. Д. Дурново)/Подготовили И. Козьменко, И. Яшунский. Под ред. М. В. Нечкиной//Зап. отд-ла рукописей/ Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина. 1939. Вып. 3. Декабристы. С. 12—14.
- ⁸⁴ См. письмо к Дмитриеву 19 декабря 1825 г.//Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 411—412; А. И. Тургеневу 18 декабря 1825 г.//Рус. старина. 1899. № 4. С. 233—234; Письмо Жуковского А. И. Тургеневу 16 (28) декабря 1825 г.//Письма В. А. Жуковского к А. И. Тургеневу. М., 1895. С. 204—211.
- ⁸⁵ Погодин М. П. Н. А. Карамзин... Ч. 2. С. 471; см. также с. 468.

- ⁸⁶ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 412.
- ⁸⁷ Там же. С. 413, 414.
- ⁸⁸ Письма Н. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому. С. 169.
- ⁸⁹ Погодин М. П. Н. М. Карамзин... Ч. 2. С. 471. Разговор происходил 26 декабря.
- ⁹⁰ Письма Н. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому. С. 171.
- ⁹¹ Там же. С. 171.
- ⁹² Сербинович К. С. Николай Михайлович Карамзин. Воспоминания//Рус. старина. 1874. № 10. С. 259.
- ⁹³ Там же. С. 263.
- ⁹⁴ Переписка Александра Ивановича Тургенева с кн. Петром Андреевичем Вяземским. П., 1921. Т. 1. 1814—1833 годы. С. 25.
- ⁹⁵ Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 417.
- ⁹⁶ Розен А. Е. Записки декабриста. Спб., 1907. С. 112.
- ⁹⁷ Карамзин Н. М. История государства Российского. Спб., 1816. Т. II. С. 157, 436. Анализ этого места в «Истории...» дан в диссертации Л. Н. Лузяниной «Проблемы истории в русской литературе первой четверти XIX века» (Л., 1972, машинопись).
- ⁹⁸ Слонимский А. Л. «Борис Годунов» и драматургия 20-х годов//«Борис Годунов». Сб. ст./Под общ. ред. К. Н. Державина. Л., 1936. С. 70.
- ⁹⁹ Письмо В. А. Жуковского в к. Александру Николаевичу 1 (13) февраля 1845 г.//Рус. архив. 1883. Т. 2. Кн. 4. С. СХI.
- ¹⁰⁰ Письмо А. И. Тургенева А. Н. Нефедьевой 1 февраля 1837 г.//Пушкин и его современники. Спб., 1908. Вып. 6. С. 65.
- ¹⁰¹ Карамзин Н. М. Неизданные сочинения и переписка. Спб., 1862. Ч. 1. С. 130.
- ¹⁰² См., напр.: Трубецкой С. П. Записки. Лейпциг, 1874. С. 37; Басаргин Н. В. Записки. Пг., 1917. С. 55 и др.
- ¹⁰³ Анненкова П. Воспоминания. 2-е изд. М., 1932. С. 77.
- ¹⁰⁴ Ср. Записки А. В. Поджио//Воспоминания и рассказы деятелей тайных обществ. Т. 1. С. 26; Муравьев А. М. Мой журнал//Там же. С. 129.
- ¹⁰⁵ Наставление для образования воспитанников военно-учебных заведений. Спб., 1849; раздел «Законоведение». С. 138.
- ¹⁰⁶ «Черный кабинет»//См.: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. М., 1958. Т. 13. С. 300.
- ¹⁰⁷ Розен А. Е. Записки декабриста. С. 116.
- ¹⁰⁸ Тургенев Н. Россия и русские. М., 1915. Т. 1. Воспоминания изгнанника/Пер. Н. И. Соболевского. Под ред. А. А. Кизеветтера. С. 149.
- ¹⁰⁹ См.: Кутанов Н. С. Н. Дурьлин. Декабрист без декабря//Декабристы и их время. М., 1932. Т. 2. С. 201—290; дополнения: Лотман Ю. М. П. А. Вяземский и движение декабристов//Тр. по рус. и славян. филологии. Тарту, 1960. Т. 3. С. 24—142. (Учен. зап. Тарт. ун-та; вып. 98); Полное издание: Вяземский П. А. Записные книжки (1813—1848). М., 1963.
- ¹¹⁰ Вяземский П. А. Записные книжки. С. 123. См. подробно: Кутанов Н. Декабрист без декабря. С. 248 и след.
- ¹¹¹ Вяземский П. А. Фон-Визин. Спб., 1848. С. 66.
- ¹¹² Вяземский П. А. Записные книжки. С. 129 (запись 20 июля 1826 г.).
- ¹¹³ Письмо Вяземского В. А. Жуковскому, 1826 г.//Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1913. Т. 5. С. 159.
- ¹¹⁴ Рус. инвалид. 1826. 26 мая. С. 507.
- ¹¹⁵ Вестн. Европы. 1826. № 9. С. 69—72.

- 116 Дамский журн. 1826. № 12. С. 239.
- 117 Ср. характерные свидетельства Погодина (Николай Михайлович Карамзин по его сочинениям, письмам и отзывам современников. М., 1866. Ч. 2. С. 168). Интересно отметить, что никто из близко знавших Карамзина людей, консультировавших его работу (Вяземский, Сербинович), ни словом не упоминает об этой версии Греча.
- 118 Письмо Вяземскому от 13 мая 1826 г.//Остафьевский архив князей Вяземских. Спб., 1899. Т. 3. С. 142.
- 119 Сев. пчела. 1826. 29 мая. № 64.
- 120 Отеч. зап. 1826. № 74. С. 446—447.
- 121 Гиллельсон М. И. Письмо А. Х. Бенкендорфа к П. А. Вяземскому о «Московском телеграфе»//Пушкин: Исслед. и материалы. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 422.
- 122 См. материалы об этом: Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд. М.; Л., 1928. С. 168—169.
- 123 Воспроизведение барельефа см. в очерке И. А. Шляпкина «Первый русский историк Н. М. Карамзин (1766—1826)». Пг., 1916. С. 42—43.
- 124 Мейлах Б. С. Из политической биографии Пушкина после востанания декабристов//Проблемы современной филологии. М., 1965. С. 428.
- 125 См. свод материалов об этом: Пушкин А. С. Письма/Под ред. и с примеч. Б. Л. Модзалевского. М.; Л., 1928. Т. 2. 1826—1830. С. 167—169.
- 126 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 286 (письмо от 10 июля 1826 г.).
- 127 Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825—1826 гг.) //Изд. подготовил М. И. Гиллельсон. М.; Л., 1964. С. 22.
- 128 Письмо Н. Д. Иванчину-Писареву от 3 июня 1826 г.//Дмитриев И. И. Соч. и переписка /Ред. и примеч. А. А. Флоридова. Спб., 1895. Т. 2. С. 297. Несколько позднее Дмитриев положительно отозвался о статье Булгарина «Встреча с Карамзиным. (Из литературных воспоминаний)», напечатанной в «Альбоме северных муз», Спб., 1828 (письмо П. П. Свиньину от 15 апреля 1829 г.// Там же. С. 299); о ней см. выше.
- 129 Письмо от 29 января 1828 г.//Письма Александра Ивановича Тургенева к Николаю Ивановичу Тургеневу. Лейпциг, 1872. С. 379.
- 130 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 335.
- 131 См. подробнее: Вацуро В. Э. «Северные цветы»: История альманаха Дельвига — Пушкина. М., 1978. С. 123—124.
- 132 ЦГИА, ф. 1661, оп. 1, № 1521, л. 3.
- 133 ЦГИА, ф. 1661, оп. 1, № 1521, л. 5.
- 134 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 286.
- 135 Lettres de l'abbé Galiani à madame d'Epinau... etc. Т. II. Paris, 1881, p. 152. Ср.: Пушкин А. С. Письма. Т. 2. С. 170.
- 136 Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 270—271 и с. 126. Позднее письмо это было процитировано в газете «Journal des Débats», в извещении о новом издании сочинений Гальяни.
- 137 Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 248—249.
- 138 Наше толкование пушкинских воспоминаний о Карамзине непосредственным образом связано с проблемой их датировки. Вопрос этот довольно сложен. Существуют два отрывка, печатающиеся в современных изданиях один за другим: белой авто-

граф с поправками, на двух тетрадных листах (текст от слов «<...>лины печатью вольномыслия» и до слов «не лучшая черта моей жизни», — ИРЛИ, ф. 244 оп. 1 № 825; далее — № 1) и второй, черновой, на отдельном листке другого формата и качества бумаги, бледными чернилами (от слов «<...>Кстати, замечательная черта» и до «мы оба расхохотались», — ИРЛИ, ф. 244 оп. 1 № 416; далее — № 2). Отрывок № 1 в переработанном виде и был напечатан в «Северных цветах». Оба отрывка в «большом академическом» издании Пушкина (Пушкин, т. 12. С. 471) были датированы предположительно июнем — декабрем 1826 г.; отрывок № 2 датирован 1826 г. и в известном каталоге Л. Б. Модзалевского и Б. В. Томашевского «Рукописи Пушкина, хранящиеся в Пушкинском доме (Научное описание)» (М.; Л., 1937, № 416. С. 165). Эта дата была оспорена И. Л. Фейнбергом: «Содержание этих страниц, вырванных Пушкиным из рукописи «Записок» (а не одно только признание, сделанное поэтом в письме к Вяземскому), показывает, что они являются бесспорно сохранными при сожжении, а не вновь написанными после смерти Крамзина страницами «Записок» Пушкина (Фейнберг И. Л. Незавершенные работы Пушкина. 4-е изд. М., 1964. С. 295). В «Справочном томе» академического издания (1959. С. 63) дана поправка: «<Из автобиографических записок> («<...>лины печатью вольномыслия...») В примечании (с. 471) следует изменить датировку: написано между 1821 и 1825 годами». Из формулировки не вполне ясно, идет ли речь только о первом отрывке, или об обоих вместе. В описании рукописей Пушкина, составленном О. С. Соловьевой (Рукописи Пушкина, поступившие в Пушкинский дом после 1937 года. Краткое описание. М.; Л., 1964. С. 12, 91), еще раз уточнена дата первого отрывка: 1824 — ноябрь 1825 г., на основании даты бумаги (1823), указаний в письмах Пушкина брату (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. № 115, 117) и работы И. Л. Фейнберга (об отрывке № 2, не вошедшем в описание, речь здесь, естественно, не идет).

Все эти передатировки не представляются нам убедительными. Прежде всего, время уничтожения Пушкиным своих записок в новейших исследованиях определяется как 1826 г., что, конечно, правильно; самая мысль о конкретном применении фрагментов о Крамзине могла явиться у Пушкина только после смерти историографа (см.: Левкович Я. Л. Когда Пушкин уничтожил свои записки?//Временник Пушкинской комиссии, 1979. Л., 1982. С. 102—106). Поэтому невозможно утверждать, что верхним хронологическим пределом для них был ноябрь 1825 г. Далее: по своим палеографическим данным (бумага, формат, цвет чернил, наконец, характер автографа — белой и черновой) отрывки № 1 и 2 не могут принадлежать одной тетради. Это обстоятельство учитывал, по-видимому, и сам И. Л. Фейнберг, — однако он совершенно обошел вопрос об автографическом фонде реконструируемых «записок», о возможных разных редакциях отдельных их фрагментов, — в том числе и таких, которые возникали как позднейшая переработка уже ранее написанного, и т. п. Между тем текст их, конечно, не оставался стабильным; возможно, претерпел изменения и самый замысел (см.: Левкович Я. Л. Пушкин в работе над «Записками»// Рус. лит. 1982. № 2. С. 141—148). Но более всего против хронологической гипотезы И. Л. Фейнберга свидетельствует именно содержание обоих отрывков: упо-

минание об эпиграмме на Карамзина, возникшее как реплика на письмо Вяземского от 12 июня 1826 г., указание на освобождение Карамзина от цензуры (автобиографическая ассоциация, возможная только после разговора Пушкина с Николаем в сентябре 1826 г.), эпизод с анненской лентой, постоянно упоминаемой в «некрологиях» Карамзина, и т. д., о чем подробно говорится в тексте нашего очерка. Наконец, самая фраза «Повторяю, что «Ист.<ория> Гос. <ударства> Российского есть не только создание великого писателя, но и подвиг честного человека» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 306. Курсив мой.— В. В.) есть *прямая отсылка* к записке «О народном воспитании», где эта формула сложилась впервые, причем не сразу (см. выше). Записка датирована Пушкиным 15 ноября 1826 г.; итак, известный нам текст воспоминаний о Карамзине мог быть написан только после этого времени. Заметим, что 9 ноября 1826 г. Пушкин писал Вяземскому: «Сей час перечел мои листы о Карамзине — нечего печатать» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 305). Есть все основания утверждать, что мемуарные фрагменты о Карамзине не были механически извлечены из старой рукописи, а представляют собою заново написанный текст, быть может, с опорой на записки начала 1820-х годов, — причем текст, явно рассчитанный на использование в печати.

- ¹³⁹ Цявловский М. Пушкин по документам Погодинского архива// Пушкин и его современники. Пг., 1914. Вып. 19—20. С. 91.
- ¹⁴⁰ Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л. <1934>. С. 279—280.
- ¹⁴¹ Розен А. Е. Записки декабриста. С. 44.
- ¹⁴² Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 298.
- ¹⁴³ Письмо А. Тургеневу и Жуковскому от 29 сентября 1826 г.//Переписка Александра Ивановича Тургенева с князем Петром Андреевичем Вяземским. С. 41.
- ¹⁴⁴ Там же. С. 41.
- ¹⁴⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 298 (письмо Бенкендорфа от 30 сент. 1826 г.).
- ¹⁴⁶ Выписки из писем графа Александра Христофоровича Бенкендорфа к императору Николаю I о Пушкине. Спб., 1903. С. 4 (подлинник по-французски).
- ¹⁴⁷ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 46—47. Ср.: Измайлов Н. В. Вновь найденный автограф Пушкина — записка «О народном воспитании»//Временник Пушкинской комиссии, 1964. Л., 1967. С. 16.
- ¹⁴⁸ Анализ записки «О народном воспитании» см. в статье А. Г. Цейтлина «Записка Пушкина о народном воспитании». (Лит. современник. 1937. № 1. С. 266—291).
- ¹⁴⁹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 314—315. Текст резолюции Николая I, в основной части совпадающий с текстом письма, см.: Дела III Отделения собственной е.и.в. канцелярии об Александре Сергеевиче Пушкине. Спб., 1906. С. 34; Сухомлинов М. И. Император Николай Павлович — критик и цензор сочинений Пушкина//Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Спб., 1889. Т. 2. С. 245.
- ¹⁵⁰ Вульф А. Н. Дневники. М., 1929. С. 137.
- ¹⁵¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 47.
- ¹⁵² Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 299 (письмо от 11 ноября 1820 г.).

- ¹⁵³ Moniteur Universel, 1820, 1 ноября (№ 306). Перепечатано: Письма Н. М. Карамзина к И. И. Дмитриеву. С. 138—139.
- ¹⁵⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 316.
- ¹⁵⁵ См. письмо А. М. Тургенева А. И. Михайловскому-Данилевскому 10 января 1828 г.//Рус. старина. 1890. № 12. С. 747—748; [А. В. Дружинин.] А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений. Ст. первая. — Библиотека для чтения. 1855. № 3/4, отд. 3. С. 46.
- ¹⁵⁶ Письмо П. М. Языкова 20 сентября 1828 г.//Письма Н. М. Языкова к родным за дерптский период его жизни (1822—1829). Спб., 1913. С. 371 (Языковский архив. Вып. 1).
- ¹⁵⁷ Эпиграмма и сатира. Из истории литературной борьбы XIX-го века. М.; Л., 1931. Т. 1. 1800—1840. С. 434.
- ¹⁵⁸ Историю «Записки» Карамзина и его взаимоотношений с Александром в это время см.: Погдин М. П. Карамзин... Т. 2. С. 60—84 и далее, с. 139—156; Об истории находки «Записки» см. также: Грот Я. К. Очерк деятельности и личности Карамзина//Сб. ст., читанных в отделе рус. яз. и словесности Имп. АН. Спб., 1867. Т. 1. С. 55—56 (10-я арабская пагинация).
- ¹⁵⁹ Заседание, бывшее в Императорской Российской Академии 18 января 1836 г. Спб., 1836. С. 43.
- ¹⁶⁰ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 45.
- ¹⁶¹ Временник Пушкинского дома. Пг., 1914. С. 14 (заседание 28 апр.).
- ¹⁶² Анненков П. В. Любопытная тяжба//П. В. Анненков и его друзья: Лит. воспоминания и переписка 1835—1885 гг. Спб., 1892. С. 421.
- ¹⁶³ Переселенков С. Материалы для истории отношений цензуры к А. С. Пушкину//Пушкин и его современники. Спб., 1908. Вып. 6. С. 8—11.
- ¹⁶⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 32—33.
- ¹⁶⁵ Там же. С. 36.
- ¹⁶⁶ Цит. по ст.: Лотман Ю. М. П. А. Вяземский и движение декабристов. С. 66. На связь между записью Вяземского и эпиграфом Пушкина указал Ю. М. Лотман (Источники сведений Пушкина о Радищеве (1819—1822//Пушкин и его время. Л., 1962. Вып. 1. С. 48); об истолковании эпиграфа см. также: Измайлов Н. В. Пушкин и семейство Карамзиных//Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.; Л., 1960. С. 14—15. Цит. далее письмо Ю. А. Нелединского-Мелецкого см.: Хроника недавней старины: Из архива князя Оболенского-Нелединского-Мелецкого. Спб., 1876. С. 108 (подлинник по-французски).
- ¹⁶⁷ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 36, 355—356. Подчеркнуто мною. — В. В. Подробно см.: Новонайденный автограф Пушкина: Заметки на рукописи книги П. А. Вяземского «Биографические и литературные записки о Денисе Ивановиче Фонвизине»/Подгот. текста, ст. и коммент. В. Э. Вацуро и М. И. Гиллерсона. М.; Л., 1968. С. 102—104.
- ¹⁶⁸ Городецкий Б. П. «Путешествие из Москвы в Петербург» А. С. Пушкина//Пушкин: Исслед. и материалы. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 224—225.
- ¹⁶⁹ На это обратил внимание Б. П. Городецкий в статье «Путешествие из Москвы в Петербург» А. С. Пушкина. С. 230.
- ¹⁷⁰ Цензурную историю статьи «Александр Радищев» см.: Сухомлинов М. И. Исследования по русской литературе и просвещению.

СПб., 1889. Т. 1. С. 650—654; также: Пушкин А. С. Соч. Л., 1929. Т. 9. Кн. 2. С. 715—721; Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 793—794 (коммент. Л. Б. Модзалевского).

- ¹⁷¹ Ответ В. В. Капнисту на письмо его об экзаметре//Чтения в Беседе любителей русского слова. Чтение 17-е. СПб., 1815. С. 47—66. По-видимому, ему же принадлежит статья в журнале «Le Conservateur impartial», 1817 г., где говорится о влиянии Радищева на успехи русской словесности//См.: Семенников В. П. Радищев: Очерки и исследования. М.; Пг., 1923. С. 299—300.
- ¹⁷² Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 9. Кн. 2. С. 718. Выделено мною.— В.В.
- ¹⁷³ Тургенев А. И.— письмо Н. И. Тургеневу от 1 марта 1837 года//Пушкин и его современники. СПб., 1908. Вып. 6. С. 91—92.
- ¹⁷⁴ См.: Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1 (1826—1857). С. 195; также: Рус. старина. 1880. № 7. С. 537; отношение С. С. Уварова гр. С. Г. Строганову 1 февраля 1837 г.//Шукинский сб. 1902. Вып. 1. С. 298.
- ¹⁷⁵ Модзалевский В. К истории «Современника». (Письма В. А. Жуковского к С. С. Уварову)//Пушкин и его современники. СПб., 1906. Вып. 4. С. 87—89.
- ¹⁷⁶ Заключение цензора Крылова. Доклад Петербургского цензурного комитета Главному управлению цензуры от 11 октября 1836 г.//Переселенков С. Материалы для истории отношений цензуры к А. С. Пушкину. С. 10.
- ¹⁷⁷ Архив братьев Тургеневых. Пг., 1921. Вып. 6. С. 40.
- ¹⁷⁸ Вычеркнутые места приведены в статье С. Переселенкова (С. 12—18).
- ¹⁷⁹ Там же. С. 10.
- ¹⁸⁰ Там же. С. 11—13.
- ¹⁸¹ ЦГАЛИ, ф. 198, оп. 1, № 71.
- ¹⁸² ЦГАЛИ, ф. 198, оп. 1, № 105.
- ¹⁸³ Тургенев Н. И. Россия и русские. М., 1915. Т. 1. Воспоминания изгнанника/Пер. [с фр.] Н. И. Соболевского; Под ред. А. А. Кизеветтера. С. 339—343.

Судьба «Европейца»

- ¹ ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, № 1905.
- ² Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. Пг., 1922. С. 45. Имя истинного издателя предполагаемой газеты устанавливается на основании секретного донесения московского генерал-губернатора Д. В. Голицына П. А. Толстому от 3 октября 1828 г. за № 135 (ЦГАОР, I экспедиция III Отделения, 1828, № 506, ч. II, л. 11 об.). Этот П. И. Иванов замыслил затем издание «Ежедневного вестника», но снова получил отказ. 30 марта 1829 г. он застрелился, растратив 30 тысяч казенных денег (там же, л. 21, 27).
- ³ Киреевский И. В. Полн. собр. соч. М., 1911. Т. 2. С. 224.
- ⁴ ЦГАЛИ, ф. 236, № 438.
- ⁵ Старина и новизна. 1898. Кн. 2. С. 164.
- ⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 9.
- ⁷ Европейец. 1832. № 1. С. 6—7.
- ⁸ Там же. С. 22—23.

- ⁹ Там же. С. 15.
- ¹⁰ Жуковский писал Киреевскому: «Вот вам и Иван-царевич. «Прощу господина Европейца хорошенько смотреть за корректурой и сохранить то препинание знаков, какое стоит в манускрипте...» (Рукописный отдел ГПБ, ф. 286, оп. 2, № 111). Итак, Жуковский переслал в «Европеец» свою «Сказку о царе Берендее, о сыне его Иване-царевиче, о хитростях Кошея Бессмертного и о премудрой Марье-царевне, Кошесвой дочери»; но Киреевский не успел ее напечатать.
- ¹¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 9. Сохранилась посланная Киреевскому рукописная копия строф XXI—XXV «Домика в Коломне», сделанная рукой Н. Н. Пушкиной, с заглавием «Отрывок из повести», надписанным самим поэтом; она опубликована Т. Г. Цявловской в «Летописях Государственного Литературного музея» (М., 1936. Т. 1).
- ¹² Об отношениях А. И. Тургенева с Киреевским см.: Тургенев А. И. Хроника русского. Дневник (1825—1826). М.; Л., 1964. С. 468—469.
- ¹³ Рус. старина. 1904. № 4. С. 215.
- ¹⁴ ЦГАЛИ, ф. 236, оп. 1, № 104, л. 3.
- ¹⁵ Там же, л. 23.
- ¹⁶ Как орган писателей пушкинского круга воспринимал «Европейца» М. П. Погодин, который писал Шевыреву: «Киреевский издает *Европейца*. Все аристократы у него» (Рус. архив. 1882. № 6. С. 191).
- ¹⁷ Фризман Л. Г. К истории журнала «Европеец» // Рус. лит. 1967. № 2. С. 118—119.
- ¹⁸ Там же. С. 119.
- ¹⁹ Рус. архив. 1896. Кн. 1. С. 112—113.
- ²⁰ Речь идет о письмах Вяземского к жене от 11 и 12 февраля 1832 г. (см.: Звенья. М., 1951. Т. 9. С. 284, 286—287). Исходя из даты этих писем, публикуемое письмо Киреевского к Вяземскому следует отнести ко второй половине февраля 1832 г.
- ²¹ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 2031, л. 13.
- ²² Рус. старина. 1903. Кн. 1. С. 312—313.
- ²³ Там же. С. 313.
- ²⁴ Там же. С. 315.
- ²⁵ Подробнее об этом см.: Машинский С. И. С. Т. Аксаков: Жизнь и творчество. М., 1961. С. 137—139.
- ²⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 26.
- ²⁷ Гиллельсон М. Письма Жуковского о запрещении «Европейца» // Рус. лит. 1965. № 4. С. 114—124. Черновики этих писем см.: Рус. архив. 1896. Кн. 1. С. 109—119.
- ²⁸ Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1891. Кн. 4. С. 10.
- ²⁹ Рус. архив. 1894. Кн. 2. С. 337.
- ³⁰ Рус. лит. 1966. № 4. С. 121—123. Письмо не датировано, но несомненно относится к февралю 1832 г. Французский оригинал опубликован нами в первом издании книги. С. 299—302.
- ³¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 12.
- ³² Там же. С. 14.
- ³³ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 2031, л. 5—10. Полный текст письма И. В. Киреевского см.: Гиллельсон М. И. Неизвестные публицистические выступления П. А. Вяземского и И. В. Киреевского // Рус. лит. 1966. № 4. С. 129—131.

- ¹ Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе. Спб., 1889. Т. 2. С. 382—386.
- ² ЦГАОР, ф. 109, оп. 3, № 584.
- ³ ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 2410, л. 1—4. Впервые это письмо было опубликовано нами по копии, на которой значилось, что автором письма является Бенкендорф//См.: Гиллельсон М. И. Письмо А. Х. Бенкендорфа к П. А. Вяземскому о «Московском телеграфе»//Пушкин: Исслед. и материалы. Т. 3. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 418—429. Позднее нами был разыскан подлинник этого письма, писанный рукой Д. Н. Блудова (ЦГАЛИ, ф. 195, оп. 1, № 1467, л. 12—14). Оно почти не имеет отличий от опубликованной копии; в начале письма обозначена дата «30 августа 1827», а в конце дописано: «Весь ваш Блудов». По-видимому, Бенкендорф передал Блудову записки фон Фока о «Московском телеграфе» с просьбой написать Вяземскому «увещательное» письмо, что и было исполнено.
- ⁴ Моск. телеграф. 1827. Ч. 13. Отд. 1. № 1. С. 6—7.
- ⁵ Там же. С. 9.
- ⁶ Там же. Ч. 14. Отд. 1. № 7. С. 195—196.
- ⁷ ЦГАОР, I экспедиция III Отделения, 1829 года, № 131, л. 1—2.
- ⁸ Там же, л. 3.
- ⁹ Там же, л. 4—5.
- ¹⁰ Глинка С. Н. Записки. Спб., 1895. С. 76.
- ¹¹ Там же. С. 349.
- ¹² Там же. С. 351.
- ¹³ Там же. С. 351.
- ¹⁴ Там же. С. 358.
- ¹⁵ Николай Полевой. Материалы по истории русской литературы и журналистики тридцатых годов. Л., 1934. С. 255.
- ¹⁶ Там же. С. 256.
- ¹⁷ Глинка С. Н. Записки. Спб., 1895. С. 356—357.
- ¹⁸ Николай Полевой. Указ. соч. С. 478.
- ¹⁹ Сухомлинов М. И. Исследования и статьи по русской литературе и просвещению. Спб., 1889. Т. 2. С. 415—420, 422, 428.
- ²⁰ Николай Полевой. Указ. соч. С. 316.
- ²¹ ИРЛИ, ф. 322, № 2, л. 1—2.
- ²² Там же, ф. 348, шифр 19.4.122.
- ²³ Николай Полевой. Указ. соч. С. 316—317.
- ²⁴ Там же. С. 323.
- ²⁵ ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1243, л. 5.
- ²⁶ Рус. архив. 1910. № 7. С. 365.
- ²⁷ Отдел письменных источников Государственного Исторического музея, ф. 17, № 71, л. 141 об.
- ²⁸ В. Г. Березина опубликовала новые интересные материалы о конце «Московского телеграфа». См.: Березина В. Г. Из цензурной истории журнала «Московский телеграф». 1. Неизвестный номер «Московского телеграфа» за 1833 год; 2. К рецензии Н. А. Полевого на пьесу Н. В. Кукольника «Рука всевышнего отечество спасла»//Рус. лит. 1982. № 4. С. 164—173.

Славная смерть «Телескопа»

- ¹ Герцен А. И. Полн. собр. соч.: В 30 т. М., 1956. Т. 7. С. 221—223. Подлинник по-французски.
«Специальным постановлением Комитета иностранной цензуры в октябре 1851 г. французское издание книги Герцена «О развитии революционных идей в России» подлежало безусловному запрещению. В русском переводе впервые издана в Москве нелегально, литографским способом, под названием: «Историческое развитие рев<олюционн>ых идей в России А. Герцена. Издание первое в переводе. Посвящается студентам Московского университета». Издание было осуществлено московским студенческим кружком П. Г. Заичневского и П. Э. Аргиропуло.
- ² Там же. М., 1956. Т. 9. С. 243.
- ³ Временник Пушкинской комиссии, 1967—1968. Л., 1970. С. 25—26. Подлинник по-французски. Имя переводчика «Философического письма» до сего времени вызывает споры. Имелась предположения, что перевод был сделан Белинским, однако большинство мемуарных источников указывает на Н. Х. Кетчера, друга Герцена. В последнее время была предпринята попытка доказать, что переводчиком является Александр Норов (см.: Эльзон М. Д. Кем переведено «Философическое письмо»? (К истории закрытия «Телескопа»)//Рус. лит. 1982. № 1. С. 168—176). Известно, что Чаадаев разрешил снимать копии с «Философических писем». Не исключено, что А. Норов делал перевод первого письма, но никаких доказательств, что именно этот перевод был напечатан в «Телескопе», автор не приводит.
- ⁴ Вестн. Европы. 1871. № 7. С. 181.
- ⁵ Неизданные «Философические письма» П. Я. Чаадаева/Вступ. ст. В. Асмуса, Д. Шаховского; Публ.; пер. и коммент. Д. Шаховского//Лит. наследство. 1935. Т. 22/24. С. 1—78.
- ⁶ Переписка А. С. Пушкина. М., 1982. Т. 2. С. 275. Подлинник по-французски.
- ⁷ Лемке М. Николаевские жандармы и литература 1826—1855 гг. 2-е изд. Слб., 1909. С. 402.
- ⁸ ИРЛИ, ф. 309, № 2442. Письмо А. И. Тургенева Чаадаеву от 22.VIII/3. IX/1835 г.
- ⁹ Чаадаев П. Я. Соч. и письма. М., 1914. Т. 2. С. 194. Подлинник по-французски.
- ¹⁰ Кукольник Н. Князь Михаил Васильевич Скопин-Шуйский. Слб., 1835. С. 57. Слова Ляпунова из второго акта пьесы.
- ¹¹ Чаадаев П. Я. Указ. соч. Т. 2. С. 205. Подлинник по-французски.
- ¹² ИРЛИ, ф. 93, оп. 3, № 63, с. 3—22.
- ¹³ Рус. архив. 1868. Кн. 6. Стб. 985—986.
- ¹⁴ Вестн. Европы. 1871. № 9. С. 31.
- ¹⁵ Остафьевский архив. Т. 3. С. 336.
- ¹⁶ Там же. С. 337.
- ¹⁷ Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники... М.; Л., 1964. С. 486—487.
- ¹⁸ Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.; Л., 1960. С. 128. Подлинник по-французски.
- ¹⁹ Там же. С. 130.
- ²⁰ Пушкин А. С. Письма последних лет, 1834—1837. Л., 1969. С. 155—156. Подлинник по-французски.

- ²¹ Там же. С. 156. Подлинник по-французски. Подробнее о спорах по проблеме «Россия и Запад», о соотношении «Философического письма» с взглядами Пушкина, Жуковского, И. В. Киреевского, Д. В. Давыдова см.: Гиллельсон М. И. От арзамасского братства к пушкинскому кругу писателей. Л., 1977. С. 44—64. Литературу последних лет о Чаадаеве см.: Движение декабристов. Указ. лит. 1960—1976. М., 1983. С. 161.
- ²² Герцен А. И. Указ. соч. Т. 9. С. 139—140.
- ²³ Отдел письменных источников Гос. Исторического музея, ф. 17, № 39, л. 14—19.
- ²⁴ Рус. архив. 1910. Кн. 2. С. 361—362.
Слышал ли К. Н. Лебедев о докладной записке С. С. Уварова или самостоятельно пришел к аналогичному выводу, не столь существенно. Главное заключается в том, что эта версия отражала точку зрения многих противников либеральных идей. Подобная интерпретация «Философического письма» консерваторами вполне понятна. Вспомним, что в декабре 1835 года на московской сцене шла памфлетная пьеса М. Н. Загоскина «Недовольные», в которой, по наущению правительства, были выведены в окарикатуренном виде Чаадаев, М. Ф. Орлов, Н. Ф. Павлов. В обзоре В. Ф. Одоевского «О вражде к просвещению, замечаемой в новейшей литературе» (Современник, 1836. Т. 2) дана резкая отповедь этой пьесе. Подробнее об этом см.: Усакина Т. И. Памфлет М. Н. Загоскина на П. Я. Чаадаева и М. Ф. Орлова//Декабристы в Москве. М., 1963. С. 162—184.
- ²⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 178.
- ²⁶ Там же. С. 211.
- ²⁷ Вяземский П. А. Соч. Спб., 1879. Т. 2. С. 221.

Между Сциллой и Харибдой

Некоторые из документов, приведенных в настоящей главе и далее («Вокруг «Современника»), опубликованы нами в выдержках в комментариях в изд.: Пушкин А. С. Письма последних лет (1834—1837). Л., 1969. Частичная публикация в дальнейшем специально не оговаривается.

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 15. С. 10.

² Там же.

³ Там же. Т. 13. С. 307 (письмо Погодину 29 ноября 1826 г.).

⁴ Там же. С. 350.

⁵ Там же. Т. 15. С. 14 и 217 (письмо от 14—28 февраля 1832 г.).

⁶ Там же. С. 98 (письмо от 6 декабря 1833 г.).

⁷ Там же. С. 270.

⁸ Дела III Отделения собственной е.и.в. канцелярии об Александре Сергеевиче Пушкине. Спб., 1906. С. 137.

⁹ Никитенко А. В. Дневник: В 3 т. М., 1955. Т. 1. 1826—1857. С. 130.

¹⁰ Там же. С. 140.

¹¹ Там же. С. 141—142.

¹² Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей П. И. Бартевым в 1851—1860 годах/Вступ. ст. и примеч. М. Цявловского. М., 1925. С. 47.

¹³ См. о проблематике «Анджело»: Мейлах Б. С. Талисман: Кн. о Пушкине. М., 1975. С. 141—153; Лотман Ю. М. Идеальная структу-

- ра поэмы Пушкина «Анджело»//Пушкинский сборник. Псков, 1973. С. 3—23. Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы (1833—1836). Л., 1982. С. 98—122.
- ¹⁴ См.: Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962. С. 372.
- ¹⁵ ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 199. — Журнал поступления рукописей, № 22 и 23. Книги были представлены Смирдиным в цензуру 15 января, одобрены и получены обратно 22 января. Дата цензурного разрешения на печатное издание — 12 января — фиктивная.
- ¹⁶ ИРЛИ, ф. 244, оп. 16, № 53, л. 15 (исх. № 29; вх. № 93, 25 января 1835 г.). Частично опубликовано//Временник Пушкинского дома, 1914. Пб., 1914. С. 13.
- ¹⁷ Модзалевский Л. Б. Новые материалы об изданиях Пушкина (1831—1837)//Звенья, 1933. Т. 2. С. 244.
- ¹⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 18.
- ¹⁹ См. резюме полемики: Черняев Н. И. Критические статьи и заметки о Пушкине. Харьков, 1900. С. 365—375.
- ²⁰ Левкович Я. Л. К цензурной истории «Путешествия в Арзрум»//Временник Пушкинской комиссии, 1964. М.; Л., 1967. С. 35.
- ²¹ См.: [Тынянов Ю.] Фонтань//Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 6 т. М.; Л., 1931. Т. 6. Путеводитель по Пушкину. С. 361—362.
- ²² См.: Тынянов Ю. О «Путешествии в Арзрум»//Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т. 2. М.; Л., 1936. С. 57—73. Важные коррективы к этой статье см.: Шадури В. С. Декабристская литература и грузинская общественность. Тбилиси, 1958. С. 366, 390 и др.) и Макогоненко Г. П. Творчество А. С. Пушкина в 1830-е годы. С. 300 и след.
- ²³ О намерении Пушкина предпринять отдельное издание «Путешествия в Арзрум» см. заметку Ю. Тынянова «Путешествие в Арзрум...» (Путеводитель по Пушкину. С. 297—298); Рукою Пушкина. Несобранные и неопубликованные тексты. М.; Л., 1935. С. 880 (коммент. М. А. Цявловского); Пушкин/Ред. М. Цявловского. М., 1936. С. 318—320 (коммент. Т. Г. Зенгер-Цявловской). (Летопись Гослитмузея; Кн. 1.)
- ²⁴ Это — наиболее существенные купюры в первопечатном тексте «Путешествия в Арзрум». Эпизод с Ермоловым был изъят еще из первой публикации главы «Военно-грузинская дорога» в «Лит. газ.» 1830 г. (№ 8, 5 февр. С. 57—59). Этот последний текст сохранился в виде цензурной рукописи, где есть карандашные пометы об исключениях (Бенкендорфа или Николая I). Остальная часть «Путешествия» была впервые напечатана в «Современнике» (1836. Т. 1. С. 17—84); часть купюр в этом тексте, вероятно, принадлежит цензору Семенову; одно исключение — анонимная цитация Рылеева — возможно, результат автоцензуры.
- ²⁵ Вигель Ф. Ф. Записки. М., 1928. Т. 2. С. 50—60.
- ²⁶ Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 702.
- ²⁷ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 434. (Подлинник по-французски).
- ²⁸ Там же. С. 232. Ср.: Щеголев П. Е. Пушкин: исслед., ст., материалы. М.; Л., 1931. Т. 2. Из жизни и творчества Пушкина. С. 352—357.
- ²⁹ Рус. архив, 1897. Кн. 1. С. 655, 657 (второй отрывок по-французски).
- ³⁰ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 337.
- ³¹ Там же. Т. 16. С. 29 и 370. О датировке этого письма и последо-

- вательности обращений Пушкина к Бенкендорфу в апреле 1835 года см.: Левкович Я. Л. К цензурной истории «Путешествия в Арзрум». С. 34—37.
- ³² Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 18.
- ³³ Письмо А. Н. Мордвинова Пушкину от 15 апреля 1835 г.//Там же. С. 19.
- ³⁴ Автограф эпиграммы не сохранился. Черновик ее был записан на обороте стихотворения «Туча», которое Пушкин передал Краевскому для опубликования сначала в «Московском наблюдателе» (см.: Рус. архив, 1892. № 8. С. 490). «Туча» датируется 13 апреля (Пушкин А. С. Соч. Спб.: Изд. П. В. Анненкова, 1885. Т. 3. С. 61.); можно думать, что эпиграмма написана немногим позже, т. е. к концу апреля, а не в мае — июне 1835 г., как датировано в Соч. Т. 3. С. 1259. Такая датировка поддерживается и дополнительными соображениями, приведенными выше. См. также: Петрунина Н. Н. «На выздоровление Лукулла»//Стихотворения Пушкина 1820-х—1830-х годов. Л., 1974. С. 323—361.
- ³⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 22.
- ³⁶ Ср. свидетельство Соболевского в письме М. Н. Лонгинову 1855 г. //Пушкин и его современники. Л., 1927. Вып. 31/32. С. 39.
- ³⁷ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 229—230.
- ³⁸ Там же. С. 47—48, 48—49, 51—52, 55—56.
- ³⁹ Там же. С. 57.
- ⁴⁰ Рус. архив. 1904. № 4. С. 582.
- ⁴¹ Там же. 1906. № 10. С. 225—226.
- ⁴² Письмо это датировано во всех изданиях: «около (не ранее) 23 октября 1835 г.». Если полагать, что письмо написано в Петербурге, датировка не вызывает сомнений, т. к. Пушкин вернулся, действительно, 23 октября (Пушкин и его современники. Вып. 17/18. С. 184). Однако все изложенные соображения заставляют предполагать, что оно написано именно в Михайловском, ранее 23 октября, и всего вероятнее сразу вслед за письмом Плетневу. Вернувшись в Петербург, Пушкин должен был получить сразу же ответ из Главного управления цензуры, и тогда отправка такого письма лишалась смысла. Возможно, впрочем, что о решении Главного управления ему стало известно уже в Михайловском, т. к. письмо Бенкендорфу, очевидно, не было отослано.
- ⁴³ ИРЛИ, ф. 244, оп. 16, № 66. Л. 5. Ср.: Пушкин А. С. Письма последних лет, 1834—1837. Л., 1969. С. 273—274.
- ⁴⁴ Соображения о датировке этого стихотворения (около 3 ноября 1835 года) см.: Петрунина Н. Н. Два замысла Пушкина для «Современника»: (К спору между Пушкиным и Лажечниковым по поводу «Ледяного дома»)//Рус. лит. 1966. № 4. С. 157.
- ⁴⁵ Булгаков А. Воспоминания и современные записки. Ч. 8. 1836-й год. М., ЦГАЛИ, ф. 79 (Булгаковых), оп. 1, № 10, л. 7 об. — 8 об.
- ⁴⁶ См. письмо А. Н. Карамзина брату от 31 августа 1836 г.//Пушкин в письмах Карамзиных 1836—1837 годов. М.; Л., 1960. С. 96.
- ⁴⁷ Лит. наследство. 1952. Т. 58. С. 123.
- ⁴⁸ Письмо от 30 сентября 1826 г. — Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 13. С. 298.
- ⁴⁹ ИРЛИ, ф. 244, оп. 18, № 185. Копия — в ЦГАЛИ, ф. 198, оп. 1, № 80, л. 4. «Записки» появились в шестом томе «Современника», цензурное разрешение на который получено 2 мая. Жуковский выехал вместе с наследником Александром Николаевичем в путешествие по России тоже 2 мая (Дневники В. А. Жуковского/

- С примеч. И. А. Бычкова. Спб., 1903. С. 314); по-видимому, письмо и резолюция относятся к концу апреля 1837 года.
- ⁵⁰ Щеголев П. Е. Дуэль и смерть Пушкина. 3-е изд. М.; Л., 1928. С. 247—249, 252.
- ⁵¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 337.
- ⁵² Там же. Т. 16. С. 160.
- ⁵³ Никитенко А. В. Записки и дневник (1826—1877). Спб., 1893. Т. 1. С. 112 и след.
- ⁵⁴ Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 36. Все последующие цитаты — по этому изд.; в тех случаях, когда в тексте указана дата записи, ссылка на страницу опускается.
- ⁵⁵ Там же. С. 58—60.
- ⁵⁶ Там же. С. 82.
- ⁵⁷ Рус. Архив. 1886. Кн. 3. С. 412; см. подробный разбор этого дела в кн.: Порудоминский В. Даль. М., 1971. С. 116—127.
- ⁵⁸ Письмо В. Д. Комовского Н. М. Языкову 8 ноября 1832 г. — Лит. наследство, 1935. Т. 19/21. С. 90.
- ⁵⁹ Лемке М. Николаевские жандармы и литература. С. 62; Порох И. В. История в человеке. Н. А. Мордвинов — деятель общественного движения в России 40—80 годов XIX в. Саратов, 1971. С. 7—8.
- ⁶⁰ Кропотков Д. А. Жизнь графа М. Н. Муравьева, в связи с событиями его времени и до назначения его губернатором в Гродно. Спб., 1874. С. 14—15, 43. Корнилов А. А. Молодые годы Михаила Бакунина. Из истории русского романтизма. М., 1915. С. 55, 566.
- ⁶¹ См. данные формулярного списка в статье: Модзалевский Б. Л. Смерть Пушкина. (Пять писем 1837 года)//Пушкин и его современники. Спб., 1908. Вып. 6. С. 110—113.
- ⁶² Из эпистолярного наследия декабристов. Письма к Н. Н. Муравьеву-Карскому. М., 1975. Т. 1, по указ.
- ⁶³ Рус. архив. 1902. Кн. 1. С. 86.
- ⁶⁴ Рус. старина. 1889. № 11. С. 501.
- ⁶⁵ Эйдельман Н. Я. Твой девятнадцатый век. М., 1980. С. 119.
- ⁶⁶ См.: Семенова А. В. Временное революционное правительство. в планах декабристов. М., 1982. С. 95 и след.
- ⁶⁷ Штрайх С. Кающийся декабрист//Красная новь, 1925. Кн. 10. С. 143—169.
- ⁶⁸ Из эпистолярного наследия декабристов. С. 254.
- ⁶⁹ Там же. С. 259.
- ⁷⁰ Штрайх С. Я. Роман Медокс: Похождения русского авантюриста XIX века. М., 1929. С. 90.
- ⁷¹ См.: Рус. старина. 1899. № 7. С. 8; Алексеев М. П. Этюды о Марлинском. Иркутск, 1928. С. 12; Левкович Я. Л. К цензурной истории сочинений А. А. Бестужева//Литературное наследие декабристов. Л., 1975. С. 301.
- ⁷² Эйдельман Н. Я. Твой девятнадцатый век. С. 129—130.
- ⁷³ Рус. архив. 1886. Кн. 3. С. 418.
- ⁷⁴ Бакунин М. А. Собр. соч. и писем. 1828—1876. М., 1934. Т. 2. С. 258.
- ⁷⁵ См.: Порох И. В. История в человеке. С. 30 и след.; Черных В. А. Письмо А. А. Слепцова А. С. Корсакову от 21 мая 1861 г.//Революционная ситуация в России 1859—1861 гг. М., 1965. С. 420—425.
- ⁷⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 335; Рус. архив. 1869. Стлб. 073—074; Рус. старина. 1891. № 6. С. 668—669.

77. Петров А. П. Михаил Данилович Деларю//Рус. старина. 1880. № 10. С. 423—424; Бобров Е. М. Д. Деларю и его перевод из Гюго//Рус. филол. вестн. 1905. № 2. С. 188—189.
78. Рус. старина. 1880. № 9. С. 217; ср. поправку: Рус. старина. 1880. № 10. С. 426.
79. См.: Вацуро В. Э. Литературные альбомы в собрании Пушкинского дома (1750—1840-е годы)//Ежегодник рукописного отдела Пушкинского дома на 1977 год. Л., 1979. С. 48—49, 51.
80. Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 198.
81. Дела III Отделения. С. 176—179.
82. ИРЛИ, 18516/СХХIIб. 4, № 7.
83. ЦГИА, ф. 772, оп. 1, № 1255. Ср.: Котович А. Духовная цензура в России. (1799—1855 гг.). Спб., 1909. С. 488—489.
84. ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 33, л. 35 об. — 36 об.
85. См.: Вацуро В. Э. К цензурной истории «Демона»//М. Ю. Лермонтов: Исслед. и материалы. Л., 1979. С. 413—414.
86. Бюл. рукопис. отд. Пушкинского дома. 1956. Вып. 6. С. 89—90.
87. Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 240.

Не родившиеся на свет

1. Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 11. С. 264.
2. ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 709, л. 18, 23. Сведения о журнальных проектах В. С. Филимонова см.: Станько А. И. Русские газеты первой половины XIX века. Ростов н/Д, 1969. С. 42—44.
3. Геннади Г. Н. «Tutti fruttii», № 1 (Записная книжка). ГИИБ, ф. 178, л. 43 (запись от 3 декабря 1845 г.), л. 49 об., 50 (запись от 21 мая 1846 г.).
4. Неведов Ю. Б. Секретное дознание о В. С. Филимонове. — Лит. наследство. 1956. Т. 60, кн. 1. С. 572—574.
5. Там же. С. 576.
6. ЦГАОР, I экспедиция III Отделения, 1828, № 506, ч. 1, л. 1—4.
7. ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 716, л. 8.
8. Рус. лит., 1965. № 4. С. 118.
9. Неосуществленным осталось и еще одно журнальное начинание Жуковского, которое также относится к 1830-м годам. Среди его бумаг имеется лист, на верху которого надписано В. Ф. Одоевским: «Проект педагогического журнала, писанный рукою В. А. Жуковского». В педагогической части журнала для воспитателей предполагалось печатать «рассуждения о главных предметах теории воспитания», а также библиографию современных и прежних сочинений о воспитании. Для преподавателей в домашнем быту должен был печататься «курс систематический с таблицами и планами» и «выбор лучших систем для учащихся». Кроме того, в журнале был намечен отдел для детей: в нем предполагалось печатать лучшие сочинения как из русских книг для детей, так и из иностранных. Издателями журнала были намечены сам Жуковский, В. Ф. Одоевский и А. А. Краевский, а сотрудниками А. И. Вейдемейер, А. П. Елагина, А. П. Зонтаг, А. О. Ишимова, Л. А. Яриева (ГПБ, ф. 286, оп. 2, № 48).
- По другим наметкам, хранящимся среди бумаг Жуковского в рукописном отделе ИРЛИ, к сотрудничеству в педагогическом журнале предполагалось привлечь И. В. и П. В. Киреевских, А. С. Хомякова, С. П. Шевырева, Е. Л. Милькеева, Г. П. Пав-

ского, А. П. Елагину, А. П. Зонтаг, В. Ф. Одоевского, П. А. Плетнева, М. П. Погодина, К. С. Сербиновича, Е. А. Энгельгардта (ИРЛИ, шифр 27844/ССБ1, л. 12—13).

Если не считать кратковременного издания Е. О. Гугеля «Педагогический журнал» (1833—1834), в России того времени не было подобных журналов. Правда, статьи на педагогические темы изредка встречались в журналах министерства народного просвещения. Однако они не восполняли отсутствия педагогического журнала. Именно такой журнал с широкой просветительской программой предполагал издавать Жуковский: В списке произведений, намеченных к опубликованию, значатся труды Фенелона, Жан-Жака Руссо, Жан-Поля Рихтера, Песталотци и др.

- ¹⁰ Рус. лит. 1966. № 4. С. 125—127. Французский оригинал опубликован нами в первом издании настоящей книги. С. 307—311.
- ¹¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 14. С. 283—284.
- ¹² Рус. архив. 1897. № 4. С. 657.
- ¹³ ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, № 1926.
- ¹⁴ Там же, л. 9 об. — 12.
- ¹⁵ Там же, л. 14.
- ¹⁶ Там же, л. 18 об. — 20.
- ¹⁷ Моск. вестн., 1828. № 8. С. 399—400. О полемике 1828 года между «Московским вестником» и «Северной пчелой» см.: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Спб., 1889. Кн. 2. С. 166—171.
- ¹⁸ Моск. вестн., 1828. № 8. С. 403.
- ¹⁹ ЦГАОР, ф. 109, оп. 1, № 1926, л. 1.
- ²⁰ Рукописный отдел ГПБ, архив С. П. Шевырева.
- ²¹ Сводку журнальных замыслов Герцена и его друзей (М. М. Иваненко, Н. П. Огарева, В. В. Пассека), а также сведения о цензурных вето на эти издания см.: Перкаль М. К. А. И. Герцен и цензура 30—40-х гг.//XXII Герценовские чтения: Ист. науки. Л., 1969. С. 59—61.

- ²² В этой записке С. П. Шевырев, в частности, писал: «Великую пользу принесло бы России учреждение в обеих столицах двух журналов, которые, будучи издаваемы в духе истинно русском, служили бы средоточием для всех ученых и литераторов России, и с тем вместе и предлагали бы читающей публике здравые и основательные сведения о ходе наук и словесности у нас в Отечестве и в других странах Европы, в противоположность действиям частных издателей, которых журналы не могут всегда быть, по личным их отношениям, общими средоточиями отечественной словесности. К тому же, торговые их виды берут иногда совершенный верх над видами нравственного образования соотечественников, и в сем последнем случае все мнения читающей публики приходят в зависимость от личности журналистов так, что часто непризванный может давать свое направление отечественному просвещению.

Предполагаемые журналы, будучи издаваемы в одном духе и соревнуя друг друга только в одном достоинстве, должны служить общим вместилищем учености и литературы Русской так, что всякий писатель, известный публике, мог бы в них под своим именем помещать статьи и получать вознаграждение. Таким образом, журналы сии представляли бы собою полное выражение успехов русского просвещения в словесности, и ход сей последней совершался бы на глазах бдительного нашего правительства, под его августейшим и беспристрастным покровом, для всех рав-

но милостивым и доступным». (Рукописный отдел ГПБ, фонд С. П. Шевырева).

²³ Котович А. Л. Духовная цензура в России (1799—1855). Спб., 1909. С. 300—301.

²⁴ Рукописный отдел ГПБ, фонд министерства народного просвещения. Выписка из цензурных дел. Т. 15, л. 262—263.

²⁵ Отдел письменных источников Государственного Исторического музея, ф. 17, № 62, л. 18. Ср.: Гиллельсон М. И. П. А. Вяземский: Жизнь и творчество. Л., 1969. С. 257. Письмо В. Ф. Одоевского Уварову о «Русском сборнике» датировано 16 августа 1836 года (Могилянский А. П. А. С. Пушкин и В. Ф. Одоевский как создатели обновленных «Отечественных записок»//Изв. АН СССР. Сер. истории и философии. 1949. Т. 6. № 3. С. 217—218). Это позволяет датировать публикуемое нами письмо Жуковского к Уварову серединой августа 1836 года.

В специальной литературе высказывалось мнение, что Пушкин не одобрял журнальное начинание В. Ф. Одоевского и А. А. Краевского. Вряд ли это справедливо. Просьба оказать поддержку «Русскому сборнику», Жуковский утверждал, что Уваров тем самым «будет покровительствовать и весь еще пишущий Арзамас, ибо все наши сочлены, еще не отказавшиеся от пера гусяного, готовы им содействовать...». Кто же составлял в эти годы «пишущий Арзамас»? Таких арзамасцев можно пересчитать по пальцам: Пушкин, Вяземский, Жуковский, Денис Давыдов. Последний не жил в столице, и неизвестно, знал ли он об этом журнальном замысле. Между тем о мнении Пушкина и Вяземского Жуковский должен был быть безусловно осведомлен: в противном случае он бы не стал писать, что «пишущий Арзамас» готов содействовать «Русскому сборнику». Касаясь позиции Пушкина, надо отметить, что «Современник» был ему разрешен только на один год. Пушкин не знал, получит ли он разрешение на следующий год. Надеялся, но не был уверен. В случае отказа на продолжение «Современника», «Русский сборник», равно как и задуманный Вяземским сборник «Старина и новизна», могли быть для Пушкина надежными прибежищами.

Подробный анализ ситуации, создавшейся вокруг «Русского сборника», см. ст.: Турьян М. А. Из истории взаимоотношений Пушкина и В. Ф. Одоевского//Пушкин: Исслед. и материалы. Л., 1983. Т. 11. С. 174—183. Версия о конфликте Пушкина и Одоевского здесь подвергнута аргументированной критике.

Вокруг «Современника»

¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 69.

² Там же. С. 72; Дела III Отделения. С. 171.

³ Дела III Отделения. С. 172.

⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 56.

⁵ Лемке М. Николаевские жандармы и литература. С. 482; Дела III Отделения. С. 260—261; Томашевский Б. Мелочи о Пушкине// Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1936. Т. 2. С. 294—296; Лемке М. Чаадаев и Надеждин//Мир Божий, 1905. № 10. С. 128—130; Черейский Л. А. История одной виньетки// Временник Пушкинской комиссии, 1973. Л., 1975. С. 83.

⁶ ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 28, л. 45.

- 7 См.: Исторические сведения о цензуре в России. Спб., 1862. С. 43; Сборник постановлений и распоряжений о цензуре в России с 1740 по 1862 год. Спб., 1862. С. 220.
- 8 См. об определении понятия «альманах» в XIX веке и ныне: Смирнов-Сокольский Н. П. О русских альманахах и сборниках XVIII—XIX вв.//Смирнов-Сокольский Н. П. Русские литературные альманахи и сборники XVIII—XIX вв. М., 1965. С. 5—30.
- 9 ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1619.
- 10 Отеч. зап. 1839. Т. 2. Отд. VI (Современная библиографическая критика). С. 7. Обзор литературы о форме «Современника» см.: Пушкин. Итоги и проблемы изучения. М.; Л., 1966. С. 228—229.
- 11 Рус. архив. 1864. № 7/8. Стлб. 156; Переписка Я. К. Грота с П. А. Плетневым. Спб., 1896. Т. 1. С. 616.
- 12 Дела III Отделения. С. 176.
- 13 Егоркин А. Пушкин и цензура//Пушкин и его современники. Спб., 1910. Вып. 13. С. 178—179.
- 14 См.: Грот К. Я. Василий Николаевич Семенов, литератор и цензор: К литературной истории 1830-х годов//Пушкин и его современники. Л., 1928. Вып. 27. С. 185—187.
- 15 ИРЛИ, ф. 244, оп. 27, № 23, л. 4.
- 16 Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 180.
- 17 С.-Петербургский университет в первое столетие его деятельности. 1819—1919. Материалы по истории С.-Петербургского университета. Пг., 1919. Т. 1. 1819—1835. С. 146.
- 18 Греч Н. И. Записки о моей жизни. М.; Л., 1930. С. 369, 377; см. также Устрялов Н. Воспоминания о моей жизни//Древняя и новая Россия. 1880. Т. 2. С. 767.
- 19 Яков Васильевич Толмачев, ординарный профессор Спб. университета... Автобиографическая записка//Рус. старина. 1892. № 9. С. 718—719.
- 20 Материалы по истории С.-Петербургского университета. Т. 1. С. 166.
- 21 Сухомлинов М. И. Исследования по русской литературе и просвещению. Спб., 1889. Т. 1. С. 258—397.
- 22 Материалы по истории С.-Петербургского университета. Т. 1. С. 173.
- 23 Там же.
- 24 Там же. С. 249 и след.
- 25 Там же. С. 307, 314.
- 26 Там же. С. 347; см. также: Рус. архив. 1871. Стлб. 1728—1729.
- 27 Сборник постановлений по министерству народного просвещения. Спб., 1864. Т. 1. Стлб. 1199—1200. Инструкция, введенная в 1820 г. в Казанском университете, была в 1821 г. распространена на Петербургский университет. Сухомлинов, Т. 1. С. 217—219.
- 28 Григорьев В. В. Императорский С.-Петербургский университет в течение первых пятидесяти лет его существования: Ист. записка... Спб., 1870. С. 43.
- 29 Библиографию учебников А. Крылова см.: Григорьев В. В. Указ. соч. С. 64—65, 95; отрицательный отзыв на «Исторические записки» Крылова//Там же. Ссылки, примечания и дополнения. С. 24.
- 30 См. материалы формулярных списков Крылова (ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1110).
- 31 Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 180, 186, 199.
- 32 Письмо Н. А. Добролюбову от 1 янв. 1861 г.//Некрасов Н. А. Полн. собр. соч. и писем. 1952. Т. 10. С. 438. Отзывы Булгарина,

- чрезвычайно раздраженные, о «первых членах санта-германдады» — Крылове и Фрейганге — см. в его письме А. В. Никитенко от 30 апр. 1844 г.; см. также письма от 28 и 29 октября 1845 г.// Рус. старина. 1900. № 1. С. 176, 179.
- ³³ Зотов В. Петербург в 40-х годах//Ист. вестн. 1890. № 5. С. 310.
- ³⁴ Чумиков А. Мои цензурные мытарства//Рус. старина. 1899. № 512. С. 584.
- ³⁵ См. об этом: Каверин В. А. Барон Брамбеус. История О. Сенковского, журналиста, редактора «Библ-ки для чтения». М., 1966. С. 185.
- ³⁶ «Всеподданнейший доклад» Уварова (от 6 января 1841 г.) цитируется по выпискам из цензурных дел архива министерства народного просвещения//ГПБ, 1/II, л. 29 об. — 30.
- ³⁷ Пушкин и его современники. Спб., 1878. Т. 6. С. 22. 1910. Вып. 13. С. 35—36.
- ³⁸ Жуковский В. А. Соч. Спб., 1878. Т. 6. С. 22.
- ³⁹ См.: Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 301; Дела III Отделения... С. 170.
- ⁴⁰ ИРЛИ, ф. 244, оп. 27, № 23, л. 3.
- ⁴¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 72—73.
- ⁴² Остафьевский архив. Т. 3. С. 281.
- ⁴³ Там же. С. 286.
- ⁴⁴ ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1321, л. 11.
- ⁴⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 92—93.
- ⁴⁶ Там же. С. 93.
- ⁴⁷ Лит. наследство. 1934. Т. 16/18. С. 548; ИРЛИ, ф. 244, оп. 16. № 130, л. 2—2 об.
- ⁴⁸ Там же.
- ⁴⁹ Тургенев А. И. Хроника русского: Дневники (1825—1826). М.; Л., 1964. С. 514—516.
- ⁵⁰ ИРЛИ, ф. 309, № 1217. Слова из речи Фиески и некоторые другие выражения в оригинале письма по-французски; нами дан перевод.
- ⁵¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 94.
- ⁵² Остафьевский архив... Т. 3. С. 312—313.
- ⁵³ Лит. наследство. 1952. Т. 58. С. 122—123.
- ⁵⁴ Рус. старина. 1899. № 10. С. 318.
- ⁵⁵ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 101.
- ⁵⁶ ИРЛИ, ф. 244, оп. 27, № 23, л. 9, 12, 13.
- ⁵⁷ Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. 182.
- ⁵⁸ Остафьевский архив. Т. 3. С. 312.
- ⁵⁹ Пушкин и его современники. Пг., 1915. Вып. 21/22. С. 395.
- ⁶⁰ См. подробно: Айзеншток И. Дневник А. В. Никитенко//Никитенко А. В. Дневник. Т. 1. С. XXXIX—XLIV
- ⁶¹ Биографические сведения см.: Мухарский А. Гаевский Павел Иванович//Русский биографический словарь. М. 1914. Т. Гаа-Гербель. С. 110.
- ⁶² ЦГИА, ф. 1661, оп. 1, № 978, л. 9.
- ⁶³ <Гаевский П. И.> Выписки из статей о достопамятнейших внутренних происшествиях в 1825 и 1826 годах, кои Академия наук предполагает внести в обыкновенный месяцеслов на 1827 год. Автограф//ГПБ, архив министерства народного просвещения, № 3, л. 1—1 об. О «предыстории» цензурования месяцеслова см.: Красный архив. 1925. Т. 13. С. 314—320.
- ⁶⁴ Там же, л. 1—1 об. Выделено мною. — В. В.

- ⁶⁵ Там же, л. 1 об.
- ⁶⁶ Там же, л. 3.
- ⁶⁷ ЦГИА, ф. 1661, оп. 1, № 978, л. 18—18 об.
- ⁶⁸ См.: Отчет Публичной библиотеки за 1892 г. Спб., 1895. Прилож. С. 63—65.
- ⁶⁹ Там же. С. 72 (письмо Гаевскому от 29 авг. 1830 г.).
- ⁷⁰ Там же. С. 73 (письмо от 4 сент. 1830 г.).
- ⁷¹ См. письмо Гаевского жене. ИРЛИ, 17926а/СХИ161, л. 99—109; Дело по отношению генерал-адъютанта Бенкендорфа о цензоре Санктпетербургского цензурного комитета Гаевском (20.III.1829—13.II. — 1833)//ЦГИА, ф. 735, оп. 10, № 56.
- ⁷² ГПБ, Архив МНП, № 3, л. 31 об. (Донесение председателю Спб. цензурного комитета 22 марта 1838 г.).
- ⁷³ Там же, л. 26 (рапорт от 16 нояб. 1837 г.).
- ⁷⁴ Письмо М. Е. Гаевской от 11 ноября 1839 г.//ИРЛИ, 17928/СХИ161, л. 67.
- ⁷⁵ ГПБ, архив МНП, № 3, л. 2 (рапорт от 8 окт. 1829 г.).
- ⁷⁶ Там же, л. 17 об. (рапорт от 11 июня 1836 г.).
- ⁷⁷ Там же, л. 18 (донесение от 17 авг. 1836 г.).
- ⁷⁸ Письмо В. П. Гаевскому от 10—23 сентября 1857 г. (Гаевский писал письма по неделям, приписывая ежедневно несколько строк). Запись от 22 сент. ГПБ, ф. 171 (В. П. Гаевского). № 76, л. 15.
- ⁷⁹ ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 612, л. 6.
- ⁸⁰ Письмо Гаевского в Спб. цензурный комитет 17 сент. 1829 г.//ИРЛИ, ф. 244, оп. 16, № 50, л. 1.
- ⁸¹ Протокол заседания от 17 сентября 1829 г.//Там же, л. 2—4 (отношение от 2 октября 1829 г.).
- ⁸² Переселенков С. Материалы для истории отношения цензуры к А. С. Пушкину//Пушкин и его современники. Спб., 1908. Вып. 6. С. 2—3.
- ⁸³ Протокол заседания Спб. цензурного комитета 3 декабря 1828 г.//ИРЛИ, ф. 244, оп. 16, № 51, л. 5.
- ⁸⁴ Егоркин А. Пушкин и цензура//Пушкин и его современники. Спб., 1910. Вып. 13. С. 177.
- ⁸⁵ ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1011, л. 26. Реестр статьям, одобренным цензором Гаевским.
- ⁸⁶ Корнилов А. Молодые годы Михаила Бакунина. Спб., 1915. С. 47.
- ⁸⁷ ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1321, л. 22—23.
- ⁸⁸ Рус. старина. 1870. № 3. С. 291.
- ⁸⁹ См. подробно об этом: Скабичевский А. Очерки истории русской цензуры (1700—1863). Спб., 1892. С. 222—223, 249—252.
- ⁹⁰ Сборник постановлений по цензуре... Спб., 1862. С. 223.
- ⁹¹ ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 29, л. 66—68 (заседание от 15 окт.).
- ⁹² Там же, л. 5—5 об. (журнал заседания от 14 янв. 1836 г.).
- ⁹³ Ср., напр., на протяжении только 1836 года, частичные изъятия в сочинении Платона Зубова «Подвиги русских воинов» (заседание комитета 23 июня 1836 г.//ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 29, л. 37 об.), в третьей части рукописи «Souvenirs et impressions pendant les campagnes de 1812, 13 et 14» и русском переводе ее «Очерки военных сцен 1812—1813 гг.» (заседание 17 марта 1836 г.//Там же, л. 16 об.), запрещение рукописи «Воспоминания армейского офицера» (заседание 16 июня 1836 г.//Там же, л. 85 об.).

- ⁹⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 88 (письмо от 2 марта 1836 г.).
- ⁹⁵ См.: Рус. зритель. 1828. № 1/2. С. 49; Давыдов Д. В. Стихотворения. М., 1832. С. ; Давыдов Д. В. Сочинения в стихах и прозе: В 3 ч. 2-е изд., испр. и доп. Спб., 1840. Ч. 1. С.
- ⁹⁶ Рус. архив. 1900. Кн. 1. С. 365—366; Лит. наследство, т. 19/21. М., 1935. С. 91.
- ⁹⁷ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 90.
- ⁹⁸ См. полный текст: Давыдов Д. В. Военные записки. М., 1940.
- ⁹⁹ Современник. 1836. Т. 4. С. 7. Это важное место статьи Давыдова не было принято нами во внимание в первом издании книги, на что справедливо указал М. П. Еремин (Пушкин-публицист. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1976. С. 451).
- ¹⁰⁰ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 118—119.
- ¹⁰¹ См. письма его к Пушкину от 7 июля, 20 июля, 10 авг. и 23 нояб. 1836 года//Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 135—136, 142—143, 151—152, 194—195.
- ¹⁰² Там же. С. 119; см. также письмо Давыдова к Н. М. Языкову от 14 июня 1836 г.//Рус. старина. 1884. № 6. С. 135.
- ¹⁰³ ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1321, л. 22—22 об.
- ¹⁰⁴ Временник Пушкинского дома. Пг., 1914. С. 14.
- ¹⁰⁵ ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1321, л. 25. На тексте отношения дата 23 июля. Там же, ф. 772, оп. 1, № 848. Дело канцелярии Главного управления цензуры по представлениям С.-Петербургского цензурного комитета о рукописях, заключающих в себе описание современных военных событий, л. 32, 34.
- ¹⁰⁶ ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1321, л. 26—26 об.
- ¹⁰⁷ Там же, ф. 777, оп. 27, № 29, л. 45 об.
- ¹⁰⁸ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 160.
- ¹⁰⁹ Там же. С. 164 (письмо Н. И. Гречу от 13 окт. 1836 г.); см.: Кока Г. Пушкин о полководцах двенадцатого года//Прометей. 1969. № 7. С. 17—37.
- ¹¹⁰ Давыдов Д. В. Соч. Спб., 1893. Т. 1. С. 138; Т. 2. С. 34, 111.
- ¹¹¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 12. С. 330. Давыдов — Дмитрий Александрович (не Денне!).
- ¹¹² Давыдов Д. В. Соч. Т. 2. С. 138; Его же. Военные записки. С. 200.
- ¹¹³ Заблочкий-Десятковский А. П. Граф П. Д. Киселев и его время. Спб., 1882. Т. 3. С. 362.
- ¹¹⁴ Давыдов Д. В. Соч. Т. 2. С. 153—155.
- ¹¹⁵ Донесение от 18 августа 1836 г. Подлинник. — ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1321, л. 28. См.: Сухомлинов М. И. Исследования и статьи... Спб., 1889. Т. 2. С. 400; Пушкин и его современники. Спб., 1908. Вып. 6. С. 7; Временник Пушкинского дома. Пг., 1914. С. 15—16.
- ¹¹⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 163.
- ¹¹⁷ Об истории публикации брошюры Л. И. Голенищева-Кутузова см.: Мануйлов В. А., Модзалевский Л. Б. «Полководец» Пушкина//Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. М.; Л., 1939. 4/5. С. 150—162 (здесь приведены и обширные выдержки из дневников Голенищева-Кутузова); Черейский Л. А. К стихотворению Пушкина «Полководец»//Временник Пушкинской комиссии, 1963. М.; Л., 1966. С. 56—58.
- ¹¹⁸ ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 614, л. 2.
- ¹¹⁹ Заседание комитета 21 января 1836 г. — ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 29, л. 8.

- 120 Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. М., 1980. С. 195—196.
- 121 Трофимов И. Т. «Полководец»//Прометей. 1975. № 10. С. 186—200; Вошло в книгу: Трофимов И. Т. Поиски и находки в московских архивах. М., 1979. С. 85—116; Петрунина Н. Н. 1) Новый автограф «Полководца»//Временник Пушкинской комиссии, 1970. Л., 1972. С. 14—23; 2) «Полководец»//Стихотворения Пушкина 1820—1830-х годов. Л., 1974. С. 278—305.
- 122 Трофимов И. Т. Поиски и находки в московских архивах. С. 91.
- 123 Лернер Н. О. «Полководец»//Пушкин А. С. Соч./Под ред. С. А. Венгерова. Пг., 1915. Т. 6. С.; Мануйлов В. А., Модзалевский Л. Б. Указ. соч. С. 140.
- 124 Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 2. С. 313—314.
- 125 Сев. пчела. 1839. № 28 (7 февр.). С. 112; Греч Н. И. Записки о моей жизни. С. 352—353; Лемке М. Николаевские жандармы и литература. С. 127—129.
- 126 Булгарин Ф. Петр Иванович Выжигин, нравоописательный сатирический роман XIX века. Спб., 1831. Ч. 3. С. 74, 75. Ср.: Кока Г. Указ. соч. С. 17—37.
- 127 Сев. пчела. 1837. № 7. 11 янв.; ср.: Кока Г. Указ. соч. С. 27—28; Тартаковский А. Г. 1812 год и русская мемуаристика. С. 198.
- 128 Рыскин Е. Из истории «Современника». Стихи Тютчева в третьей книге «Современника»//Рус. лит. 1961. № 2. С. 199.
- 129 ИРЛИ, ф. 244, оп. 16, № 77, л. 5.
- 130 Лемке М. Николаевские жандармы и литература. С. 84.
- 131 Журнал заседания Спб. цензурного комитета от 14 июля 1836 г.—ИРЛИ, ф. 244, оп. 16, № 78, л. 1 об.
- 132 Лит. наследство. 1935. Т. 19/21. С. 377.
- 133 ЦГИА, ф. 777, оп. 1, № 1321, л. 22 об.
- 134 Ср., напр., экземпляр Кабинета пушкиноведения ИРЛИ (шифр II жур/41).
- 135 Экземпляр Научной библиотеки Ленинградского университета (шифр II 94).
- 136 Письмо Пушкину от 28 июля 1836 г.—Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 144.
- 137 Письмо от 26 сент. 1825 г.//Там же. Т. 13. С. 236.
- 138 См. Записки И. П. Сахарова//Рус. архив. 1873. Кн. 1. Стлб. 974.
- 139 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 161—162.
- 140 Биографические сведения о Корсакове//Русский биографический словарь. Т. Кнаппе — Кюхельбекер. Спб., 1903. С. 273; подробная биография и библиография: Гастфрейнд Н. Товарищи Пушкина по имп. Царкосельскому лицей. Материалы для словаря лицейстов первого курса 1811—1817 гг. Т. 1. Спб., 1912. С. 440—450.
- 141 Корсаков П. Иаков Катс, поэт, мыслитель и муж совета. Спб., 1839 гг. С. 4—7.
- 142 См.: Жихарев С. П. Записки современника. М.; Л., 1955. С. 348, 435.
- 143 Бочкарев В. А. Русская историческая драматургия начала XIX века (1800—1815)//Учен. зап./Куйбышев. пед. ин-т, 1959. Вып. 25. С. 336—344.
- 144 См.: В.<енгеров>. Mon portrait//Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Спб.: Изд. Брокгауза — Ефрона, 1907. Т. 1. С. 168—169.
- 145 Маяк современного просвещения и образованности//Труды уче-

- ных и литераторов, русских и иностранных. Спб., 1840. Ч. 3. Словесность. Стихотворения. С. 135.
- ¹⁴⁶ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 162.
- ¹⁴⁷ См.: Шекспир и русская культура//Под ред. М. П. Алексеева. М.; Л., 1965. С. 95—97.
- ¹⁴⁸ См.: Русс<кий> Пуст<ынный>. (П. А. Корсаков). Наследники, или Безымянная земля//Сев. наблюдатель. 1817. № 22. С. 264.
- ¹⁴⁹ Крскв Птр (Корсаков). Голос русского, или Мысли вслух в июне месяце 1817 года//Сев. наблюдатель. 1817. № 2. С. 78.
- ¹⁵⁰ Сев. наблюдатель. 1817. № 6. С. 199—208; № 9. С. 295—305; № 11. С. 362—366; № 13. С. 421—426; № 15. С. 55—60; № 16. С. 79—86; № 17. С. 121—126; № 18. С. 144—146.
- ¹⁵¹ Там же. № 11. С. 366.
- ¹⁵² Там же. 118. С. 145—146.
- ¹⁵³ Эпизод этот рассказан Гречем (Записки о моей жизни. С. 604—611; 823—824).
- ¹⁵⁴ См.: Левин Ю. В. Кюхельбекер — автор «Мыслей о Макбете»//Рус. лит., 1961. № 4. С. 192.
- ¹⁵⁵ Маяк, 1841. Ч. 14, гл. 3. С. 47.
- ¹⁵⁶ Эпиграмма и сатира. Из истории литературной борьбы XIX века. М.; Л., 1931. Т. 1. С. 461.
- ¹⁵⁷ Иллюстрация. 1846. Т. 2. № 6. С. 84.
- ¹⁵⁸ ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 29, л. 34—35 об. (заседания 19 и 26 мая).
- ¹⁵⁹ Модзалевский Б. Л. И. Е. Великопольский (1797—1868). Спб., 1902. С. 70—71. См. также положительные отзывы о Корсакове Булгарина, вообще известного своими скандалами с цензорами//Рус. старина. 1900. № 1. С. 176.
- ¹⁶⁰ Заборова Р. Б. Неизданные статьи В. Ф. Одоевского о Пушкине//Пушкин: Исслед. и материалы. М.; Л., 1956. Т. 1. С. 327.
- ¹⁶¹ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 162.
- ¹⁶² Там же. Т. 14. С. 189. (Письмо Плетневу около 11 июля 1831 г.).
- ¹⁶³ Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. Спб., 1862. С. 316.
- ¹⁶⁴ Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 177—178 (письмо Корсакова и ответ Пушкина 25 окт. 1836 г.).
- ¹⁶⁵ Лемке М. Николаевские жандармы и литература... С. 59.
- ¹⁶⁶ ЦГИА, ф. 777, оп. 27, № 200. Реестр рукописей и книг по Санкт-Петербургскому цензурному комитету 1836 года. № 403.
- ¹⁶⁷ Дневник В. К. Кюхельбекера. Л., 1929. С. 67; см. также: Кюхельбекер В. К. Лирика и поэмы//Вступ. ст., ред. и примеч. Ю. Тынянова. Л., 1939. Т. 1. С.
- ¹⁶⁸ См.: Дубровин Н. Василий Андреевич Жуковский и его отношения с декабристами//Рус. старина. 1902. № 4. С. 95—96, 105—111.
- ¹⁶⁹ Лит. наследство. 1954. Т. 59. С. 449. Орлов В. Н. В. К. Кюхельбекер в крепостях и в ссылке//Декабристы и их время: Материалы и сообщения. М.; Л., 1951. С. 41. Забытый отрывок из «Аргиян» Кюхельбекера//Публ. Б. В. Томашевского//Там же. С. 89—96.
- ¹⁷⁰ Лит. наследство. 1954. Т. 59. С. 458.
- ¹⁷¹ См. об этом: Смирнов-Сокольский Н. П. Рассказы о прижизненных изданиях Пушкина. М., 1962. С. 427—429.
- ¹⁷² Русский Декамерон//Ленингр. правда, 1939. 22 мая. С. 4; Десниц-

- кий В. Пушкин и его время//А. С. Пушкин. 1799—1949. Материалы юбилейных торжеств. М.; Л., 1951. С. 255.
- 173 См. об этом: Лит. наследство, 1934. Т. 16/18. С. 572—574; Kauchtschischwili N. Silvio Pellico e la Russia. Un capitolo sui rapporti culturali russo-italiani. Milano, 1963. С. 28; Гиллельсон М. Из истории итальянско-русских литературных связей//Рус. лит. 1966. № 2. С. 247.
- 174 Панаев И. И. Литературные воспоминания. М., 1950. С. 39—40.
- 175 Оксман Ю. Г. К истории библиотеки Пушкина//Сборник статей к сорокалетию ученой деятельности академика А. С. Орлова. Л., 1934. С. 445—447.
- 176 Пушкин А. С. Полн. собр. соч. Т. 16. С. 160.
- 177 Модзалевский Л. Б. Новые материалы об изданиях Пушкина (1831—1837)//Звенья. 1933. Кн. 2. С. 247—253.
- 178 Модзалевский Л. Б. Библиотека А. С. Пушкина//Пушкин и его современники. Спб., 1910. Вып. 9/10. С. 83.
- 179 Об этом новом издании см.: Модзалевский Л. Б. Архив опеки над детьми и имуществом Пушкина в музее А. А. Бахрушина//Пушкин и его современники. Спб., 1910. Вып. 13. С. 109; Модзалевский Л. Б. Новое о неосуществленном издании стихотворений Пушкина 1836 г.//Кн. новости. 1936. № 7. С. 19—21; Измайлов Н. В. Лирические циклы в поэзии Пушкина 30-х годов//Пушкин: Исслед. и материалы. М.; Л., 1958. Т. 2. С. 44; Заборова Р. Б. Автограф письма А. С. Пушкина к А. А. Плюшару// Там же. С. 224—228.

Оглавление

Вместо предисловия	3
Люди без имени	7
Чиновник следственной комиссии	9
«Под небом гранитным и в каторжных норах»	21
«Подвиг честного человека»	29
Мысли разных лиц	29
Отрывок из уничтоженных записок	34
Первые читатели и критики «Истории госу- дарства Российского»	37
Незванные пародисты	41
«Молодые якобинцы»	45
«Одна из лучших русских эпиграмм»	59
«Опровергнутые верным рассказом событий» Ложная развязка, или Истина в первом при- ближении	64
Карамзин уходит	67
Судьи и подсудимые	76
Верноподданный его императорского вели- чества	81
Карамзин возвращается	85
Вослед Карамзину	96
Эпилог	109
Судьба «Европейца»	114
Что заставило бить тревогу?	114
«Просвещение есть синоним свободы»	120
Издателю не до шуток	123
С поднятым забралом	127
Исторический бумеранг	135
«Рука всевышнего Отечество спасла»	140
Угрозы и увещевания	140
Казанский держиморда	147
Цензор без страха и упрека	151
Конец «Московского телеграфа»	158

<i>Славная смерть «Телескопа» *</i>	165
<i>Оно упало, как бомба...</i>	165
<i>«Он в Риме был бы Брут...»</i>	167
<i>Первые неудачи</i>	170
<i>Пятнадцатая книжка «Телескопа»</i>	174
<i>Версия неофициальная</i>	179
<i>Между Сциллой и Харибдой</i>	184
<i>Милость и право</i>	184
<i>«Андрелож»</i>	186
<i>Уваров и Дондуков</i>	192
<i>Дневник цензора *</i>	210
<i>Начальник канцелярии Бенкендорфа *</i>	218
<i>Никитенко против Никитенко *</i>	233
<i>Не родившиеся на свет</i>	241
<i>«Под осторожным колпаком»</i>	242
<i>Наследник графа Хвостова</i>	246
<i>Непрошенные опекуны</i>	250
<i>В поисках анонима</i>	258
<i>«И без того много»</i>	263
<i>Вокруг «Современника»</i>	266
<i>У истока</i>	266
<i>Петербургские «гасители»</i>	272
<i>«Хроника русского»</i>	282
<i>Цензор Гаевский</i>	291
<i>О цензуре земской и удельной и партизанском рейде Дениса Давыдова</i>	306
<i>«Полководец»</i>	316
<i>«Два демона»</i>	327
<i>«Литератор лучших, не нынешних времен»</i>	333
<i>Заключение</i>	349
<i>Примечания</i>	352

*Вацуро Вадим Эразмович,
Гиллельсон Максим Исаакович*

СКВОЗЬ
«УМСТВЕННЫЕ ПЛОТИНЫ»

Зав. редакцией *Т. В. Громова*
Редактор *Н. В. Дашковская*
Художник *М. В. Думанян*
Художественный редактор *Н. Г. Пескова*
Технический редактор *А. Э. Коган*
Корректор *Т. И. Томашевская*

ИБ 1298

Сдано в набор 13.08.85. Подписано к печати 10.03.86.
А 11354. Формат 84×108/32. Бум. кн.-журн. 60 гр. Гар-
нитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ.
л. 20,16. Усл. кр.-отт. 20,58. Уч.-изд. л. 21,01. Тираж
55 000 экз. Заказ № 631. Изд. № 4093. Цена 1 р. 50 к.

Издательство «Книга»,
125047, Москва, ул. Горького, 50.

Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при
Государственном комитете СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли.
150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Вацура В. Э., Гиллельсон М. И.

В 22 Сквозь «умственные плотины». — 2-е изд.,
доп. — М.: Книга, 1986.

Художественные очерки рассказывают о деятельности А. С. Пушкина на ниве прогрессивной журналистики, об истории борьбы передовой русской журналистики — пушкинского «Современника», «Московского телеграфа» и других изданий — с царской цензурой. Первое издание (1972) получило хорошие отзывы читателей и прессы. Новое издание дополнено главой о судьбе «Телескопа» и другими материалами.

Для широкого круга читателей.

В 4702010200-039 74-86
002(01)-86

ББК 84Р7